

Тасбиа и Ҷосефи

№1 (3), 2009



№1 (3), 2009

Тасбиа и Россия

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ,
ИЗДАВАЕМЫЙ
СЕРГЕЕМ ЯКОВЛЕВЫМ

при участии
*Льва Аннинского,
Андрея Битова,
Михаила Кураева,
Валентина Курбатова,
Владимира Леоновича.*

Корреспонденты:
*Роман Всеволодов (Санкт-Петербург),
Елена Зайцева (Владивосток),
Елена Романенко (Челябинск),
Геннадий Сафронов (Иркутск),
Виталий Тепикин (Кинешма),
Светлана Тремасова (Саранск),
Сергей Филатов (Бийск).*

Директор издательства
Леонид Слуцкий.

ВЫХОДИТ
ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД

МОСКВА
«Знак»

Журнал «Письма из России»
выпускается на благотворительные
пожертвования.
Авторы и постоянные сотрудники
денежного вознаграждения не
получают.

Макет: Александр Архутик

Верстка: Марина Кузнецова

Корректор: Светлана Терещенкова

В оформлении использованы
автографы Владимира Леоновича

При перепечатке ссылка на журнал
«Письма из России» обязательна.

© С.А. Яковлев, 2008

Редактор-издатель не всегда разделяет
убеждения и вкусы авторов.
Слова «Бог» и «бог» сохраняются в
авторском написании.

Рукописи и предложения принимаются
в электронном виде по адресу:
sayakovlev@yandex.ru

Издательство «Знак»
101000, Москва, а/я 648
тел.: (095) 361-93-77
e-mail: znack1993@rambler.ru

Отпечатано в ПЦ МЭИ,
Москва, Красноказарменная ул., 13
тираж 500 экз.
заказ №

Содержание

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- 5 Михаил Кураев**
(Санкт-Петербург)
СОЛЖЕНИЦЫН И МЫ

ПЕРЕПИСКА РЕДАКТОРА

- 13 Елена Зайцева**
(Владивосток)
«ВСЕ – СОЛНЦЕ»

ПОВЕСТЬ

- 38 Алексей Королёв**
(Санкт-Петербург)
КАПЛИ СЧАСТЬЯ
Безымянная история

ПОЭЗИЯ

- 62 Евгений Пирадов**
(Санкт-Петербург)
Я НЕ ПОМНЮ ТО ЛЕТО...

ПРИМЕТЫ

- 69 Елена Сыромятникова**
(Новосибирск)
БАНЬШИ

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

- 77 Лев Аннинский**
(Москва)
ГОРНИСТ ИЗ НАШЕЙ ГЛУХОМАНИ

ПОДВИЖНИКИ

- 82 Виктор Подлипчук**
(Москва)
СЛОВО ОБ ОТЦЕ

ПРОСТЫЕ ПИСЬМА

88 **Сергей Филатов**
(Бийск)
ПРИМЕТЫ МИРА

95 **Валентина Шафронская**
(Псков)
ПРОСТО ВЕРИТЬ

ПРЕМЬЕРА

102 **Евгений Боушев**
(Вязьма)
ДВА РАССКАЗА

ПРОШУ ПРИНЯТЬ

109 **Булат Безгоднов**
(Казань — Цивильск)
ДУХОВНАЯ ОБОРОНА
Из романа «Влюбленные в Бога»

ПРОКАЗЫ

131 **Александр Сёмочкин**
(д. Выра Ленинградской обл.)
НУ ДА...

139 **Сергей Гузев**
(Таганрог)
1998 ГОД

ПРИТЧА

142 **Екатерина Челпанова**
(Санкт-Петербург)
ВРЕМЯ КУСТОВ
ДВЕРИ

182 **ПОСТСКРИПТУМ**
Владимир Яковлев
(Вологда)
МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ

Михаил Кураев

СОЛЖЕНИЦЫН И МЫ

Все люди, во всяком случае большинство, прекрасно знают, как нужно жить. Однако, руководствуясь этим знанием, живут очень немногие. А те, кто всё-таки считает для себя непреложным следовать вечным истинам человеческого сосуществования, возвышаются столь значимо, что становятся вождями, пророками, святыми.

Странное дело: они, берущие на себя груз, непосильный большинству, вызывают, как правило, сначала восхищение, едва ли не поклонение, но довольно скоро становятся неудобными, нежелательными, а то и враждебными этому же большинству. И происходит так из века в век.

Вот и здесь: разноголосица, а то и мстительное молчание, поджатые губы давно уже пришли на смену дружному и восторженному хору, встретившему сорок шесть лет назад появление на достойнейшем подиуме русской литературы, в журнале «Новый мир», нового долгожданного имени – Александр Солженицын. Почему долгожданного? Да потому, что тайных любовников свободы и строгих евнухов свободы, шептунов и певцов свободы было множество, не хватало лишь действительно *свободного* человека. Именно таким пришел к нам автор «Одного дня Ивана Денисовича». И мы не ошиблись. Пройдет время, и можно будет смело сказать, что такие исключительные явления русской жизни, как Пушкин, Герцен, Чехов, Солженицын, стали для нас школой духовной свободы, той единственной, быть может, школой, где экзамен на аттестат зрелости держат каждый день.

Отчего же так сильно и счастливо соединившая всех нас личность оказалась такой неудобной? Для властей – понятно. Но и для борцов с властью неудобен, и для левых, и для правых, и для почитающих себя свободными, и для дорожащих самодержавной крепью, выступающей в разных обличьях... Солженицыну, одному из немногих, довелось услышать обвинения в юдофильстве и антисемитизме, в западничестве и российском шовинизме, в угодничестве все тому же Западу и в неблагодарности ему же...

Где же корень столь многообразных и даже неожиданных противостояний? Могут только догадываться, но догадка небезосновательна, как мне кажется.

«Там, где вместо преодоления трагедии происходит примирение, неизменно воцаряется мещанство», – писал Сергей Булгаков. Солженицын расколол скорлупу нашего мещанского благополучия, быть может, в самые мирные и потому единственно возможные для освобождения годы Советской власти. Мы даже не заметили, как треснула эта скорлупа. Кто-то не смог, а кто-то не захотел этого увидеть, находя скорлупу мещанской благонадёжности гарантией житейского благополучия.

«Мещанство победит и должно победить. Да, любезный друг, пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что *мещанство – окончательная форма западной цивилизации*», – свидетельствует свою солидарность с Дж. Ст. Миллем Герцен в статье «Концы и начала». «*Мещанство – это та самодержавная толпа сплочённой посредственности... толпа без невежества, но и без образования*». Суживание ума, стёртость личности, мельчание жизни, исключаяющей общечеловеческие интересы, сведение всех интересов к торговой конторе – вот что обожгло на Западе душу Герцена, вырвавшегося из российской несвободы. Как свежо и знакомо звучат его слова: «Христианство обмелело и успокоилось в покойной и каменистой гавани реформации; обмелела и революция в покойной и песчаной гавани либерализма... С такой снисходительной церковью, с такой ручной революцией – западный мир стал отстаиваться, уравниваться». Да разве это плохо – уравнишенность, устойчивость? «Лимит революций исчерпан! Ура, товарищи!» Но почему-то и Герцену, и даже отдельным нашим современникам не по душе эта «уравнишенность».

«Где та могучая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, довести душу до судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений и твёрдым шагом идет на плаху, на костёр?» – спрашивал Герцен.

Не эти ли слова, не этот ли голос, обращенный к живым, отозвался словом и делом Солженицына? Не та же ли сплочённая толпа «без невежества, но и без образования» была заклеяна Солженицыным его словом – *образованщина*? В этом последовательном, твёрдом противостоянии и нашему домашнему, и всемирному мещанству, как мне видится, и лежит объяснение природы конфликта художника Солженицына и политика Солженицына со своими современниками.

Нынче только ленивый не повторяет услышанные из чужих уст пушкинские слова о бунте «бессмысленном и беспощадном», служащие почти уже доказательством исчерпанности «лимита революций». Опасное самоуспокоение. И слова одного из умнейших и совестливых современников Пушкина, декабриста Михаила Сергеевича Лунина, может быть, тоже следовало бы повторять столь же часто: «Крайность бед, достигнув высшей степени, пробудила дух народный, без которого не совершается коренных переворотов».

«Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся», – писал апостол Павел в Первом послании к коринфянам. Чуть не все мы «воспользовались» в лёгкий час, но так свободными и не стали: кто – цепляясь за бесплодное благополучие, кто – за право жить в «свободном мире», а кто – упражняясь в бесстрашном сведении счетов со своим успешным партийно-коммунистическим прошлым.

Не те ли, кто ещё недавно возводили автора «Ивана Денисовича» в ранг пророка, сегодня с особым, почти мстительным тщанием покаявшихся высчитывают несбывшиеся пророчества?

Зачем людям пророки, если их или не слышат, или избивают? Наверное,

пророчества – это лекарство от неведомого, это утешение и освобождение от ответственности перед лицом как бы неотвратимого. Но значимость художника вовсе не в предугадывании будущего, а в его предуготовлении. Нравственная позиция в творчестве, недвусмысленная, без уловок и компромиссов, позиция в общественной и политической жизни несут в себе заразительную энергию. Вот что готовит нацию к утверждению и защите человеческого достоинства. Не схемы и проекты, не рецепты и социальные программы, но прежде всего жизненный опыт, личный пример и творчество способны утверждать моральные принципы человеческого общежития. Программы и рецепты обладают соблазнительной приманчивостью кратчайшего пути. Но строить можно толь-

МИХАИЛ КУРАЕВ

Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург

Путевые заметки

*Сергей Акимович -
спасибо за
интересное и по-
вежливое общение*

*Завтра
М. Кураев*

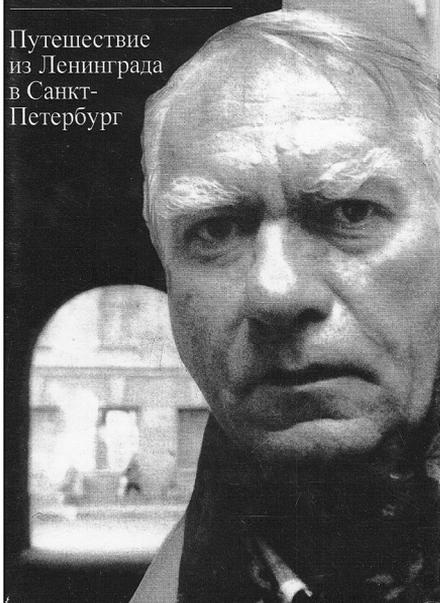
21.12.96.



Русско-Балтийский информационный центр
Б Л И Ц
Санкт-Петербург - 1996

МИХАИЛ КУРАЕВ

Путешествие
из Ленинграда
в Санкт-
Петербург



ко из соответствующего замыслу постройки материала, а этот «материал» – люди. Сам Солженицын, к примеру, различал церковь как организацию и как духовное тело. Так же можно различать и социально-политическое устройство общества и его *духовное тело*. И дело писателя, художника – пестовать и крепить в первую очередь духовные силы нации, а уже нация, крепкая духом, или не позволит надеть на себя чуждое ей политическое ярмо, или, однажды обманувшись, сумеет его с себя скинуть.

Отцы Зарубежной Русской Церкви едва ли рассчитывали услышать столько горьких слов в свой адрес, приглашая Солженицына высказаться на Третьем Соборе ЗРЦ. Убеждённый в поддержке прямого, беском-

Михаил КУРАЕВ

ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ

Исторический телевизионный роман

*Дорогой Грегю
Аманвесику Яковичу
с сердечной благодар-
ностью и уважением
своих друзей и добрых
слов об этой работе.
Ваш
М. Кураев*

АСТ • Астрель
Москва

промиссного человека, только что оказавшегося на Западе и ничем в слове не стеснённого, митрополит Филарет предложил Солженицыну поделиться своими мыслями о том, как «неугнетённая часть русской православной Церкви», то есть Западная, катакомбная, может помочь её «пленённой части», то есть существующей в Советском Союзе. Поддержка столь авторитетного и популярного лица, как Солженицын, безусловно, укрепила бы позиции ЗРЦ.

И вот ответ. «...Хотел бы предостеречь деятелей Зарубежной Церкви от ошибок дальнего зрения: считать эту многомиллионную нашу Церковь – “падшей”, а ей противопоставлять некую “истинную”, “потаённую”, “катакомбную”». «Не надо сегодня образом катакомбной церкви подменять реальный русский православный народ. Не надо, как я вижу в некоторых ваших публикациях, игнорировать, обходить умозрением – само-

возникший и самокрепнувший в нашей стране православный мир».

Не ждали отцы Зарубежной Церкви убийственных слов о её «бестелесности». Но православный писатель не пощадил церковных водителей и другой стороны. «Если бы грехи иерархов перекладывались на верующих, то не была бы вечна и непобедима Христова Церковь, а всецело зависела бы от случайностей характеров и поведений». До сих пор мы слышали, что лишь внешние силы угрожают Церкви, и вдруг – одни лишь грехи иерархов способны обрушить «вечную и непобедимую». Противопоставление греховных пастырей, несущих угрозу Церкви, и паствы, Церковь спасающей, – это ли хотели услышать устроители Собора? Не знаю, предполагает ли каноническое право возможность лицам, не возведенным в сан, судить поставленных над ними священнослужителей, едва ли...

В ту пору, когда революцию в России старались изобразить делом чуть ли не кучки заговорщиков, а то и немецких шпионов, Солженицын бросает упрек, граничащий с обвинением: состояние русской Церкви к началу XX века («вековое униженное положение священства, пригнетённость от государства и слитие с ним, утеря духовной независимости») – «явилось одной из главных причин необратимости революционных событий» (курсив А.С.).

В своей исторической критике русской Церкви Солженицын пошел ещё дальше, в полный голос сказав по поводу раскола о «дальнем, трехсотлетнем грехе русской Церкви». «...Я осмеливаюсь, – говорит он, – полнозвучно повторить это слово – **грехе**, ещё чтоб избежать употребить более тяжкое, – грехе, в котором Церковь наша – и весь православный народ! – *никогда не раскаялись* (курсив А.С.), а значит, грехе, тяготевшем над нами в 17-м году, тяготеющем поныне и, по пониманию нашей веры, могущем быть причиною кары Божьей над нами, неизбытой причиною постигнувших нас бед».

Нет, не случайно образ негибавшего огнепального Аввакума вспоминается чаще других, когда думаешь о подвижничестве Солженицына.

Он безжалостно призывает нас увидеть «нашу собственную вину в том, что постигло Россию». Подняться до этого могут не многие, быть может, поэтому так быстро «устали от Солженицына в России», как писала в дни прощания с писателем итальянская пресса. Но кто ещё из современников был способен так тревожить совесть, так будить общественную мысль, так широко и полно чувствовать пространство истории, на котором совершается жизнь России?

Все минувшие годы, все сорок шесть лет имя Солженицына не уходило за горизонт ни литературный, ни общественный, ни политический, все значимые события его жизни становились тут же предметом всеобщего внимания, суда и, как водится, пересудов.

Ещё бы, он всё время поступал не так, как от него ожидали. Характерны, казалось бы, и частности. Появившись в редакции «Нового мира» в день выхода в свет журнала с «Одним днем Ивана Денисовича», Солженицын, к удивлению Твардовского, не проявил никакого интереса к хвалебной статье Константина Симонова, опубликованной в этот же день в газете «Известия». Вторая по весу газета в стране! Приветствует сам Симонов, любимец богов!.. Для дебютанта в литературе поведение, по крайней мере, странное. Окажись мы на его месте... Но мы по многим причинам не можем не только оказаться на его месте, но и осознать это *место* – не можем или не хотим. Если признать, что литературное дело для Солженицына не существовало само по себе, если это был скорее обет и послушание в служении Отечеству во всей полноте осознания национальной трагедии, тогда становится ясно, что речь не идет о литературном дебюте. В минуту триумфа его мысль была занята проблемой нерешенных задач: «...Надо бить по Союзу писателей, бить по ЦК, бить по системе». Нам трудно было в те дни и месяцы, ощущая, как это ни странно, даже свою причастность к этой победе, представить, как последовательно и непреклонно он будет отстаивать непреложное право художника на критическое, оппозиционное отношение к власти, к обществу, к действительности. Косная и вздорная человеческая натура, желание жить по инерции, «как все», разумный и неразумный эгоизм определяют мироощущение большинства. Нужно быть Гёте, чтобы сказать: «С высоты разума вся жизнь представляется злым недугом, а мир – сумасшедшим домом». И нужно быть Солженицыным, чтобы не отступить перед этими тотальными болезнями.

Тем от нас и отличался этот вступивший на литературную арену рязанский учитель, что его стратегическое сознание, ясно рисовавшее перспективы предстоящей борьбы, не позволяло излишне отвлекаться на личный успех, словно его и не было вовсе. Это был успех, создававший пусть временный, но прочный плацдарм для нового шага в борьбе пока ещё с «домашним» безумием, а придет час – и Солженицын выступит против безумия всемирного.

Потому, быть может, и не было «испытания успехом». Ни в тот день, ни при получении Нобелевской премии. Необычайный успех «Ивана Денисовича» и огромная читательская почта стали для автора лишь подспорьем для главного «стенобитного» труда – «Архипелага ГУЛАГ».

Вот и оказавшись на Западе, после высылки из Советского Союза, с первых же минут Солженицын повёл себя не так, как от него ожидали.

Естественно, к нему толпами ринулись журналисты. Они сделали немало для того, чтобы оградить неудобного коммунистическим вождям писателя и политика от расправы. Они вправе были рассчитывать не только на слова благодарности, но и на «возвращение долга». Вот здесь-то во всей очевидности обнаружила себя (не в первый и далеко не в последний раз) разномасштабность сознания, послужившая несовпадению и непониманию. От человека, только что пережившего унижение от произвола властей, ждали откровенностей, признаний, сенсационных подробностей о жизни в неволе. И что же? «Я – достаточно говорил, пока был в Советском Союзе. А теперь – помолчу». Такой благодарности западная пресса не ожидала. Солженицын впоследствии вспоминал: «...Десятки микрофонов крупнейших всемирных агентств были протянуты к моему рту – говори! и даже не естественно не говорить! Сейчас можно сделать самые важные заявления – их разнесут, разнесут... А внутри меня что-то перекошилось... Вдруг показалось малодостоинно: браниться из безопасности...». «Молчанием моим – они оказались крайне разочарованы. Так – с первого шага мы с западной «медиа» не сдружились. Не поняли друг друга».

Свои правила борьбы, своё представление о человеческом достоинстве всегда были для Солженицына выше соображений сиюминутной пользы, резонанса житейского практицизма.

Не «сдружится» он и с эмиграцией, не «сдружится» и с верховной властью страны, давшей ему приют и возможность работать. История несостоявшейся, благодаря интригам вполне определённых сил, личной встречи Солженицына с президентом США весьма показательна. Открытое письмо, направленное в этой связи Рейгану, – свидетельство исключительной цельности личности писателя и политика, твердости позиции в защите в первую очередь интересов России, а никак не своих личных.

Чего стоят только его бесплодные попытки отвести от себя обвинения в русском «национализме». Ни академику Сахарову, ни президенту Рейгану (какое сочетание!) их окружение не позволило правильно понять писателя и патриота.

Он разговаривал с сильными мира сего так, как говорил протопоп Аввакум с царями, как говорили с «помазанниками Божьими» Владимир Соловьёв и Лев Толстой, пренебрегая раболопным титулованием.

И вернувшись на родину, Солженицын «не сдружится» с ельцинской властью и своё восьмидесятилетие отметит выпуском «России в обвале» – книги обличительной по отношению к «шоковым терапевтам», новым экспериментаторам над живым телом России. Деликатно попросит не украшать его к юбилею орденом. Самоуверенная, не внявшая предупреждению ельцинская власть, убеждённая в неодолимой силе её подкупающей щедрости, услышала то, что заслужила. Последовательный и непреклонный в своих убеждениях писатель и политик был вынужден публично объяснить своё нежелание получать награду из рук власти, «ведущей страну гибельным путём». Да, именно так – писатель и политик, это вполне в российской традиции, точно обозначенной декабристом

Михаилом Луниным: «...Политика таится в глубине всех нравственных, научных и литературных вопросов».

Менялись времена, менялись – да еще как! – люди. Галопирующе «перестраивались» секретари ЦК, кандидаты в члены Политбюро, редакторы журналов «Коммунист» и «Партийная жизнь», не говоря уже о партийных столоначальниках и генералах, неустанной политработой укреплявших армию. А Солженицын не перестраивался, он просто так же, как и раньше, не мог оставаться безучастным к очередной страшной драме в жизни народа, разыгрывавшейся у всех на глазах, когда в стране началось сокрушительное «строительство» капитализма. Еще при первом заводе капитализма на Руси Достоевский заметил: «Вообще буржуа очень не глуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто отрывками». А еще раньше Карамзин увидел, как новые дворяне, «которые из нищих сделались большими господами, хотели пышностью закрыть свою подлость». А Федор Глинка, говоря о крахе реформ Сперанского, горько сетовал: «Себялюбие и частные выгоды растерзали общее дело». В пору второго пришествия капитализма теперь уже Солженицын показывал и короткомыслие ослеплённой удачей новой буржуазии, и прикрывающих свою подлость разнузданной роскошью нынешних «деньгохватов», и катастрофу, ставшую итогом ничем не сдерживаемого мародерства...

Ловлю себя на том, что разговор о Солженицыне невольно заставляет привлекать общественную мысль различных времён и народов. Его труд и мысль продолжают и скрепляют стремление к жизни совестливой и справедливой, неистребимое в нашем народе, в умах лучших его представителей. Это естественно, мировоззрение и убеждения Солженицына опираются на огромный исторический опыт, его взгляды укоренены в российской духовной культуре и европейском гуманизме.

Но опыт этот не всегда добавляет оптимизма.

Трагедия многих народов, быть может, состоит в глухоте, в неспособности слышать голоса пророков. Вот пример. 1850 год. До 1905 года еще пятьдесят пять лет, до 1917 – шестьдесят семь. Герцен: «...Петр I окончательно оторвал дворянство от народа и пожаловал ему страшную власть над крестьянами (Указ 1710 года. – М.К.), он поселил в народе глубокий антагонизм, которого раньше не было... Этот антагонизм приведет к социальной революции, и не найдется в Зимнем дворце такого бога, который отвел бы сию чашу судьбы от России». Назван исток, названо и устье, но – «горох имеет свойство отлетать от стены». А мы слышим стук дятлов, долбящих и долбящих газетные пошлости об истоках наших революций.

Точно так же разменивается в навязанной полемике, в газетно-журнальном шебуршании возможность осмысления отечественной истории с трагических вершин XX века. Приходится только удивляться, как много сил тратится на защиту от Солженицына, на обсуждение его заблуждений. Но заблуждения, как сказал Гельвеций, перестают быть опасными, когда дозволено их опровергать. Опасности Солженицын не несет, опасность в нас, не способных услышать и понять глубокого мыслителя, искреннего и бескорыстного защитника своего Отечества и народа, открытого в своих сокровенных движениях души человека.

В живом общении с Александром Исаевичем Солженицыным меня больше всего поражали его улыбка, его смех. Если глаза называют зеркалом души, то смех – это живое эхо души. Чтобы вернее всего понять человека, посмотрите,

Три дня в гетто

как он смеется. Смех выдает человека куда больше, чем взгляд или голос... Когда я видел Александра Исаевича смеющимся – я видел счастливого человека! Смех делал его незащищенным, смех вырывался, с ним невозможно было справиться. И сам он, казалось, сознает в эту минуту свою незащищенность, но ничего не может поделать. Смех – это минута слабости, но именно в эту минуту вы видели перед собой свободного человека, чья улыбка так неожиданно и полно освещала и его необыкновенную жизнь, и непостижимый для одного человека труд, и подвиг ума и души...

Санкт-Петербург.

11 сентября 2002

В этот день все выглядит
знакомо, символически и
предостерегающе.

... Как будто – предостережение
набета кибернетиков на пред-
дущей странице...

Сегодня мир резко повер-
нуло в осень, но в этом
доме радужно, тепло и
основательно.

За окном раскачиваются
деревья, под ногами раскачи-
ваются шуршалы, а зев все
промокает в сердце.

Благословенный благ и
крепкого здоровья в
конце доброго времени.

А. Бураев

Елена Зайцева

Родилась в 1974 году. Живу во Владивостоке, и это мне нравится (в Москву не собираюсь). Веду критическую колонку и являюсь редактором в сетевом журнале «Новая литература» (<http://newlit.ru>), и мне это тоже нравится.

Вот, пожалуй, и всё.

Всего самого наилучшего!

С уважением, Лена.

«Всё – солнце»

Дата: 20.12.07

От кого: Сергей Яковлев <sayakovlev@yandex.ru>

Кому: Lena Zaytseva <arinazay@rambler.ru>

Тема: Продолжение

Дорогая Лена,

простите, что долго молчал, – это было связано с тяжелыми для меня неурядицами. В конце концов я с Гордонами разошёлся¹ и сейчас готовлю своё издание, с тем же (моим) замыслом и тем же редсоветом, но всё-таки другое. Журнал будет молодым, умнее и жёстче, с другой графикой. Все эти месяцы я держал Вас в голове. Надеюсь, Вы меня тоже помните и в какой-то мере сочувствуете. Предлагаю сейчас возобновить сотрудничество. Вы мне (новому журналу) очень нужны. Равно как и все, кого Вы можете представить и рекомендовать. (И не только пишущих, но и рисующих.)

Если можете, шлите сразу и побольше. Если нет, черкните хотя бы пару строк, чтобы я знал, на что и когда можно рассчитывать, и чувствовал Вас рядом.

Кстати, как Вы – насчёт вхождения в редсовет такого издания? При условии некоторой организаторской работы, конечно.

Сердечно Ваш

С. Яковлев.

Дата: 21.12.07

От кого: Lena Zaytseva <arinazay@rambler.ru>

Кому: Сергей Яковлев <sayakovlev@yandex.ru>

Тема: По журналу

Здравствуйте, Сергей!

«Надеюсь, Вы меня тоже помните и в какой-то мере сочувствуете». Конечно помню и конечно сочувствую. С Гордонами Вы разошлись? Ну... Тут ведь главное ни с кем и не сходитьсь ☺.

¹ Речь идет о сотрудничестве с А.Г. Гордоном и Г.Б. Гордоном в журнале «Коростель».

Вот так, навскидку, мне прислать, пожалуй, нечего, но я подумаю – в принципе-то я не против.

А в редакционный совет – нет наверное. Организаторская работа – это... не для меня.

Надеюсь, всё у нас – у вас получится. Кстати, поясните, каким работам Вы отдаёте предпочтение (по жанру, по направлению). Опишите, пожалуйста, что Вы хотели бы получить в итоге (если говорить о «Коростеле», то это был, конечно, «суровый реализм»).

Заранее с Новым Годом Вас, Сергей (лучше рано, чем никогда ☺).

Дата: 29.02.08

Тема: Re: Ещё по журналу и авторам

Лена, дорогая, на Вас вся надежда! Дайте, во-первых, что-нибудь своё для журнала «Письма из России» (я люблю читать у Вас всё, а что больше всего – Вы знаете), а во-вторых, давайте всех, кого любовно обозреваете, я их тоже всех заранее люблю! Честно. А лавры Вашего отменного вкуса я не присвою и укажу Вас на обложке в любом удобном для Вас качестве. (У меня есть, например, «корреспонденты» в разных городах. А также: «издается при участии таких-то». И никакой там расфуфыренной редколлегии.) Всем будет хорошо, а особенно – нашим бедным авторам.

Пожалуйста, Леночка. Прямо сейчас. Кидайте мне что попало, не спрашиваясь. Я и журнал-то делаю, может, ради Вас, помня Вашу публикацию в первом номере «Коростеля»². То бишь – «во имя», так вернее. Без таких родниковой чистоты талантов журналы не живут, а Вы у меня пока одна. (Я Вас не «присваиваю», я собираю людей, такая уж у меня – у любого редактора – роль. Хочу собрать любимых.) Давайте дружить, а? Я, может, глупый, но не злой и даже благодарный.

Дата: 03.03.08

Тема: По авторам и текстам

Здравствуйте, Сергей!

«Я, может, глупый, но не злой и даже благодарный». Вы, вероятно, холерик. Письма у Вас такие... ☺

«Дайте, во-первых, что-нибудь своё для журнала "Письма из России"...». Ну, раз мы с Вами дружить решили, скажу честно: ничего не делала, поэтому ничего и не сделала. Стыдно? Да. И планов громадье...

Рисунки Елены Зайцевой



Почем панцует у ёлочки

² Елена Зайцева. Остановленный миг: Четыре истории о функциях искусства // Коростель, 2006, № 1.

«...а во-вторых, давайте всех, кого любовно обозреваете, я их тоже всех заранее люблю! Честно. А лавры Вашего отменного вкуса я не присвою и укажу Вас на обложке в любом удобном для Вас качестве».

Тексты я сейчас пришло, а на обложке-то мне что делать? ☺.

Так, тексты и авторы.

ШААРАНИН. По моим сведениям, публикаций на бумаге у него не было. Вот информашка по нему: Александр Шаранин, г. Вологда <...>

ЛЕДА БАРХАТНАЯ. Студентка сценарного факультета ВГИКа. Судя по фото и репликам на форуме, весьма эксцентричная барышня. О «бумажных» публикациях не знаю.

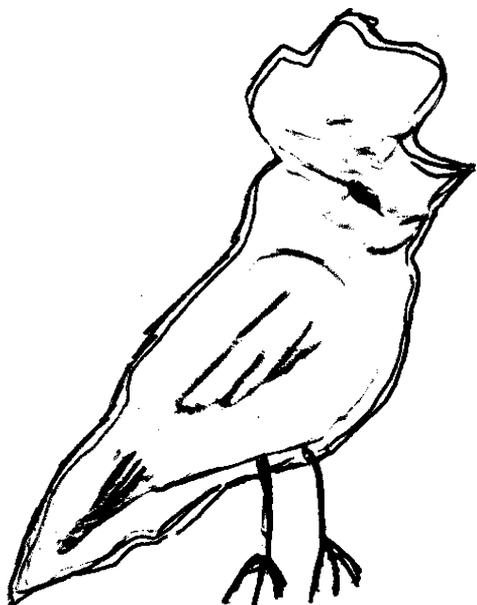
ЮРИЙ ХОР. Из информации есть только электронный адрес.

СЕРГЕЙ РУЧКО. Шлю «Обращение». Оно в первоизданном виде – если будет нужно, я всё поправлю (ошибок тьма). Не знаю, публиковалась ли эта повесть (некоторые другие – да, публиковались)...

АКРЭН МОДЭРС. Псевдоним, конечно. Причём в полном виде так: Акрэн Гринн Модэрс. Я смотрела другие его работы – что-то... никак. А эта понравилась. Как с публикациями – не знаю.

Сказки Айнутдинова не шлю – они публиковались. «Учителя-психопата» Свиначенко тоже пока не шлю. Повесть большая и в ужасном состоянии (ошибки...).

Вот. Пока всё. Пишите, Сергей, всегда рада (всегда рада помочь, в том числе).



Дата: 07.03.08

Тема: Re: По авторам и текстам

Большое спасибо за Ручко³. Мне хочется выправить его (грамматически) самому, если он, конечно, согласится (мы с ним уже списались).

Насчет остальных – думаю.

Продолжаю ждать от Вас «взгляда и нечто».

Ваш теперь уже признанный друг С.Я.

Дата: 25.03.08

Тема: Ручко

Дорогая Лена, я снова к Вам, не дождавшись Ваших рукописей. По делу. Ручко интересен, но он требует пояснений. Вам так не кажется? Скажу прямее: если Ваша статья в «Коростеле» была для меня «знаменем», то Ручко таким знаменем стать не может. А по месту (объёму и некоторой «типичности») как бы претендует.

Он требует деликатной нравственно-эстетической классификации. Такое можете сделать только Вы. А заодно и Ваш так дорогой мне голос в журнале возникнет.

Вы ведь о нем писали вскользь. Напишите побольше и адресно!

³ Повесть Сергея Ручко «Обращение» была напечатана в первом номере журнала «Письма из России» с послесловием Елены Зайцевой.

Дата: 04.04.08

Тема: Шлю по Сергею Ручко

...Написала по Ручко, шлю. Надеюсь, всё у Вас там получается, всё хорошо.

А у нас – аншлаг. Видно, весеннее обострение, авторы – просто косяками, стадами, в голове не укладывается, какое количество народу думает, ШО ОНО – ПИСАТЕЛИ...

Я, надо отдать мне должное, всё это перечитываю и – опять же молодец – про Вас не забываю; если будет что-то интересное – пришлю...

Дата: 04.04.08

Тема: Придется восстанавливать

Это как раз то, чего я ждал! Одна беда: мне придется частично восстанавливать его нелепости (я всё-таки прошелся косметически, из уважения к сути написанного). Ничего, восстанавливаю – на сей раз из уважения к цельности Вашей логики. Хотя это (косноязычие) здесь, думаю, не принципиально, не «платоновский» случай. Я всё-таки редактор. Когда вижу, что у человека не находится нужного оборота для высказывания простой мысли, хочется ему помочь. (Шучу.)

А «самотёк» – да, завидная работёнка. Буду очень благодарен, если наловите для журнала.

Спасибо!

Дата: 07.04.08

Тема: Вот и хорошо

Ну вот и хорошо (что всё хорошо). А с нелепостями Ручко я ведь тоже возилась, хотела публиковать его уже поправленным. Но потом совсем запуталась – вдруг показалось, что что-то теряется, хотя... (и там дальше много разных «хотя»).

Сейчас читаю его «нехудожественные» вещи. Хочу понять, то получается, то нет. Но в любом случае это моя прозолюбовь (как Салов – стихо-). Тихо радуюсь, что оба они и Вам глянулись.

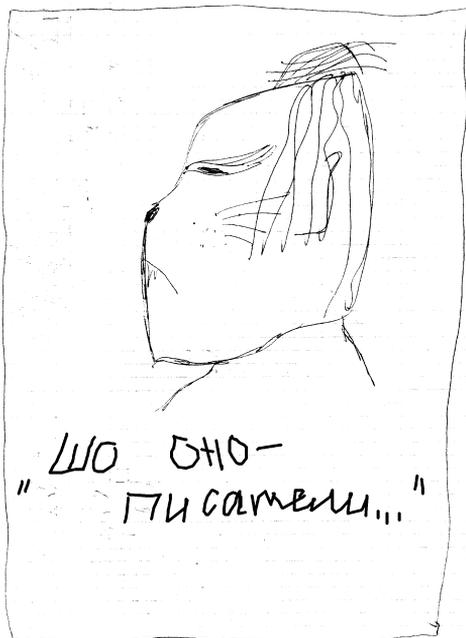
Дата: 07.04.08

Тема: Re: Вот и хорошо

Да. Вот именно. Даже глупое безумие несёт смыслы. Даже отсутствие элементарной языковой логики пробивает брешь в какую-то иную, интуитивно-языковую среду.

Больно уж мы с Вами щепетильны.

Но за это я Вас и полюбил вместе с Вашими авторами (они милы мне через Вас; тот же абсурд – нельзя оторвать одно от другого).



Дата: 24.05.08

Тема: Бодрствуйте!

*Дорогая Лена,
как Вы?*

А у меня в руках сигнал красивого журнала с Ручко и Вами.

На неделю, как будет тираж, постараюсь выслать почтой номер (другого-то пути доставки нет).

Что дальше? Нашли кого-нибудь? Поделитесь?

А своим новым?

Без Вас я «своего» журнала теперь не мыслю. С Вами я и сам... гм... лучше становлюсь. Умнее. (Не знаю, заметно ли это.)

Дата: 26.05.08

Тема: Журналы и сайты

Да, хотелось бы увидеть красивый журнал с Ручко и нами. Почте, мне кажется, вполне можно доверять, до сих пор она не подводила.

«Что дальше? Нашли кого-нибудь? Поделитесь?» Никого пока нет, Сергей. У нас даже «редакционные разногласия» возникли – «шеф» говорит, что так нельзя (вообще никого не брать), а я говорю, что и так берём кого попало, куда ж усугублять...

«А своим новым?»

Своё новое я Вам сразу же пришлю, даже не сомневайтесь. Только вот кто его знает, когда оно будет. Я, бедняга, тут никак не могу очередной обзорчик закончить (наш, «узко-сайтовый»), а уж статья/ эссе какое-нибудь кажутся такой неподъёмной глыбой, что... жуть ☹.

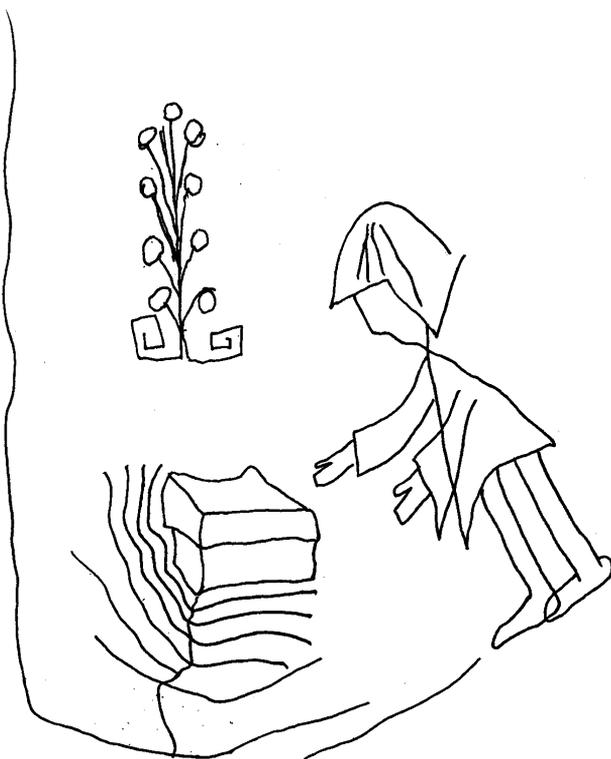
«С Вами я и сам... гм... лучше становлюсь. Умнее. (Не знаю, заметно ли это.)» Нуу... Я же Вас без себя – не видела ☺. А если серьёзно: мне нравится, что Вы работаете. Этим – работой – почти никто не занимается, тогда как на этом – на работе, на её результатах – всё и держится. Надеюсь, что журнал получился.

С уважением, я (ожидающая журнала).

Дата: 03.07.08

Тема: Журнал получила

Получила вчера журнал, огромное спасибо. Читаю, пока ничего говорить не буду. С собой-Вами довольна (что без изменений, без правки), только жаль, что курсивов нет.



Я всё ещё на море, здесь не работается и даже письмо написать «ломы». Но читается. Так что журнал измусолю как следует. Ему повезло, можно сказать.

Дата: 11.07.08

Тема: Re: Журнал получила

Леночка, молчание – знак скорби?

Я это переживу.

А сейчас мне срочно нужны стихи в № 2. Срочно! Неужели на всем виртуальном пространстве нет ничего?..

Так что бросайте отдыхать! Жду и надеюсь.

Дата: 12.07.08

Тема: Дело случая

В каком смысле «молчание – знак скорби»? Я ж не молчу, я читаю, – а потом скажу.

Второго Салова у меня нет, говорю сразу. Не то чтобы во всём интернете ничего не было, а просто мне не попадалось. Попадались симпатичные подборки – но необязательные. Такие, что есть – хорошо, а нет – тоже неплохо. Я могу Вам прислать парочку таких, но не знаю, нужно ли. У меня у самой не установилось к ним отношение – по большому счёту в стихах невозможны середнячки, так? А их-то как раз пруд пруди... В общем, нет того, что ХОТЕЛОСЬ БЫ показать. Так надо ли возиться-копоться? Оно будет, но это дело случая, а пока случая – нет.

Дата: 21.08.08

Тема: По журналу, и мне, и Вам

Обещала Вам написать о журнале, пишу. Журнал хорош, а я плоха – в том смысле, что что-то совсем не могу сосредоточиться, никак не приду в себя от «отдыха» – а дело-то и не в отдыхе, а в том, что любой камень там больше, чем все наши журналы. Другое освещение. От этого освещения я никак не отойду, никак глаза «под литературу» не подстрою – не подкручу... Я журнал читала хорошо, и действительно замусолила, но вдруг поняла, что лучше-таки бы ему попасться ко мне в другое время, ошибалась я, что ему повезло, он каким-то «подвинутым», перефокусированным зрением видится... На это и сделайте скидку – если ничего дельного не скажу.

Запомнилась Татьяна Шеметова, хотя чего-то она всё-таки недодала, что-то ускользнуло, что-то важное, а может и самое важное. Я ведь видела всё это. Всё-таки волшебнее было. И настоящее (более настоящим т.е.). А у неё как-то попридавлено – текст и умного, и чувствующего человека, но всё в меру, в меру, в меру. Самоанализ? Да. И опять в меру. Куда-то не докопались, чтобы уж бешено обрадоваться или уж насмерть испугаться... И второй момент: такого сейчас много. Вот навскидку: Татьяна Краснова у нас же на Ньюлите. Её «Колесо обозрения» (<http://newlit.ru/~krasnova/1427.html>) – один в один... Опять же – почему? Потому что и умных, и чувствующих людей не так и мало. И вот эти свои ценности-драгоценности они и рассматривают, это самый простой путь... Благо, и у Шеметовой и у Красновой видно, что и другие пути не перекрыты. Они – наверно – всё-таки могут. Посмотрим...

Интересно, что говорит Горький Вашему отцу. В целом он прав, но какие жалкие эти «товарищ!» да «товарищ!». Приметы времени... Чем оно и противно – время. Любое. Жалкое оно, вот и всё. Дан Маркович в «Анте»: «В какое время я жил?.. Предчувствую возмущение тех, кто обожает достоверность и понимает её как точность мелочей. У меня нелады со временем, ведь в центре вселенной всегда была борьба за жизнь и ежедневная боль, а всё остальное как из окна поезда: люди, детали обстановки, работа, мои увлечения, как на изображающей движение фотографии – смазано, будто ветер прошёлся. И не очень это всё важно для моего рассказа. Но я не существовал в пустоте. Слишком сильны приметы времени, чтобы совсем забыть о нём...» Этим летом мы много Марковича публиковали, я хотела Вам показать, но подумала, что Вы его знаете, он давно работает (обычная моя перестраховочность – не вылезти, не вякнуть, что называется). Если хотите – пришлю. Он хороший, наш.

Хорошая идея опубликовать машинописные варианты. Есть в этом... история без музеев-бумазеев.

Два слова по оформлению. Я бы всё-таки поосторожнее с коричневым цветом. Он бытовой, полы, плитуса, – не усиливают ли эту «бытовуху» капли по обложке? А внутри, на страницах, они мешают, ударениями прикидываются – на секунду и всё же (стр. 124 – «У нас...» – как ударение над «у» получается, – это я наугад открыла).

Ещё раз хочу поблагодарить Вас за публикацию нас с Ручко. Я, кстати, где видела его отзыв: он в общем доволен. Говорит, что для того и пишет, чтобы нашли и прочли. И вот – нашли. Прочли, опубликовали. Значит, опять найдут. Всё правильно, – вот что он пишет. Это главное.

Если у Вас, Сергей, возникнут какие-нибудь идеи – о ком/ о чём мне написать – Вы их говорите. Понравятся – считай, мне повезло, а нет – подумаю: а, это всё Яковлев, я-то тут при чём ☺.

Дата: 21.08.08

Тема: И мне, и Вам

Леночка, спасибо.

Многое я солидарно прочувствовал (например, про камни, которые тяжелее всех журналов), правда, у меня этим летом вместо камней были бревна и доски (когда-нибудь, если будет бездельный час, загляните в мое старое «Письмо из Солигалича в Оксфорд», напечатанное давным-давно в «Новом мире» – мне было бы интересно узнать реакцию).

В оправдание себе скажу, что на днях выходит второй номер, где, в отличие от первого, будет 3–4 настоящих открытия. По крайней мере, для меня. Первый готовился вторых...

Спасибо за тонкие подсказки по дизайну. Цвет будет меняться (так задумано), а нечаянной марашки-«ударения» во втором номере уже не будет. Но цвет, между прочим, не коричневый, а вишневый, и некоторые (наверное, в противовес Вам) даже приняли его за кровавый. «Россия, кровью забрызганная», как-то так.

Любое время противно, да. Но вот уходят близкие ЛЮДИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ – и хочется писать только о них и о времени, в котором они жили, кажется, что ничего нет важнее. Но это отчасти ностальгия о своём уходящем времени и своём пережитом – колоссальных накоплениях образов и состояний, которые тают, тают и в один миг куда-то вовсе исчезнут, обратившись в ничто.

Леночка, ангел, мне нечего Вам указывать. Я ухватился за Вас как за очень близкого (по духу) человека, именно как за долгожданного ангела-спасителя, казённо выражаясь – «ведущего сотрудника»... Хочется, чтобы Вы не брели где-то рядом за кустами своей извилистой тропкой, а ЗАДАЛИ НАПРАВЛЕНИЕ.

Зачем это (направление) нужно? Хотя бы для того, чтобы не так одиноко и тошно было жить. Мне, а может, и кому-то ещё (всё-таки – журнал...).

А Марковича присылайте, конечно, я его не знаю.

Дата: 22.08.08

Тема: По всем нам

Вы написали такое ласковое письмо, что мне неудобно ☺.

«...Хочется, чтобы Вы не брели где-то рядом за кустами своей извилистой тропкой, а ЗАДАЛИ НАПРАВЛЕНИЕ...». Ну так... направление-то одно – «в небо по трубе», его без нас задали. Для журнала: брать хорошее, говорить о нём, любить его.

Но мы ведь с Вами уже большие и умненькие – и знаем, что хорошего мало-мало-мало, почти нет.

«Карпадокс» (как говорят в Симпсонах): пишушим негде печататься, а журналам нечего печатать. Это моя «внешняя проблема». Ладно, что похвалить некого, так и разозлиться толком не на кого... А внутренняя: а вот и встречу таки, найду кого-то/что-то, и что я скажу? Только «ах!», потому что это я среди овец молодец, и хорошо это знаю. Так что – мне в моих кустах уютнее ☺.

«...Любое время противно, да. Но вот уходят близкие ЛЮДИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ – и хочется писать только о них и о времени, в котором они жили, кажется, что ничего нет важнее. Но это отчасти ностальгия о своем уходящем времени и своем пережитом – колоссальных накоплениях образов и состояний, которые тают, тают и в один миг куда-то вовсе исчезнут, обратившись в ничто...». Опять же – у Марковича: невыраженное в слове или чувстве порастёт травой, исчезнет. Поэтому так хочется говорить... (Как скользит мысль на этом «или чувстве» – чувство тоже тает! сейчас холодно, а через минуту жарко, и вот уже не представить, как это ты только что ёжился, где оно, твоё холодно, твоё жарко?..) Я пошло Вам два его рассказика – так подобралось, что оба «насекомые». Оба очень, мне кажется, милые... Нет, вот и ещё один пошло – ненасекомый, «Что делать...» называется. Это всё так, – не как редактору, – то есть скорее всего это публиковалось, у него и книжки есть и т.д. «Ант» мне, пожалуй, больше всего ДА, но его не шлю, такой большой текст очень долго и неудобно копировать, вот ссылка на всякий случай: <<http://newlit.ru/~markovich/930.html>>. Да! Он же и художник. И тоже – ДА, невероятные работы (кстати, и оформительские, даю наводку ☺). Мечтаю написать о нём. У меня, можно сказать, марковный период. Не именно сейчас, а с весны ещё. Если бы не два месяца ничегонедельня, может быть, и результаты были б. Хотя кто его знает. Если бы да кабы...

А вот со стихами – так же плохо, а точнее никак. Никакой не период. Никого не вижу, ничего не слышу...

«Письмо из Солигалича в Оксфорд» я нашла в Журнальном Зале (<<http://>



magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/5/yakovl.html>), читаю. Обязательно расскажу, что надумаяю.

Дата: 22.08.08

Тема: Re: По всем нам

...Критик ведь тоже писатель, а тем более Вы. Поэтому Вы правы ровно наполовину. Искать, находить и поддерживать – мы с Вами этим занимаемся, это, может быть, самая сложная и тонкая работа. «Ответственная». Но направление задается всё-таки другим: выбором литературного (культурного) контекста, личным присутствием. Мне необходимы Ваше присутствие в журнале, Ваш голос, Ваши тексты. Писали, писали о всяком разном и вдруг перестали писать – что это? Если нету нового, пишете о старом. Побудьте литературоведом, культурологом, философом, это у Вас отлично получается. Я не могу подсказывать, потому что не ведаю Ваших ретроспективных пристрастий, но мне почему-то кажется, что Ваши летучие заметки о какой-нибудь «Пенелопе» Битова, или о «Школе для дураков» Саши Соколова, или о кинопрозе И. Бергмана, или... – могли бы стать громом среди ясного неба. Верю, что мы чувствуем синхронно, а что именно станет объектом, не столь уж и важно.

И помните (я готов повторять это бесконечно): журналы именно ДЕЛАЮТ литературу, а не выбирают из того, что есть. Может быть, в том, что состоялась фантазия русской литературы XIX века, – на 50% заслуги Белинского с его страстной жаждой красоты.

Это так, по ходу дела.

Дата: 27.08.08

Тема: По письму из Солигалича

Дочитала «Письмо из Солигалича» – удивительно быстро дочитала, решила сразу и написать. Вещь хорошая, говорить буду долго... Сложновато, правда, было в ней оказаться (немного... «преодоление обстоятельств», кто – кому – зачем пишет), но оказалась, огляделась, и дальше всё пошло хорошо... Главное – тон. Без нытья, без истеричности, без поз – выдержанно и ПРОСТО. И грустно, конечно. По краскам мне поначалу (отчего у меня такие странные, не-в-тему, невтематические сравнения? не знаю; я как-то сказала, что всё во всём, и сейчас так думаю, так что, по большому счёту, трудно что-то упустить, перепутать, не туда сунуться, да и нет никакого «не в тему», ведь и тема-то – одна)... так вот, по краскам мне поначалу «Суини Тодда» напомнило, там эти тучи, грустно, давит, и понятно, что деваться некуда. Но потом, смотрю, – какие-то яркости по тексту. В общем, нет: ярче, чем в «Тодде», светлее. О каких тучах, каком свете я говорю? «Хотите знать, что было с нами дальше?» – фраза светлая, конечно. Полная светлыми «а». Тёплая, – от вопроса и от «с нами», а не просто «было дальше». Эти светлые тёплые кирпичики и идут по тексту, он расцветен. «Ах, какое доброе было у нее лицо!» – тут такая подсветка через «о». Через «о» – и через восклицание. И дальше: «Мой английский ещё понимали» – уже темнее, и интонационно тоже – темнее, ниже. Это хорошо, это закругляет, очерчивает эпизодик, отдельную картинку в тексте. Т.е. она этим затемнением-понижением как шторкой закрывается...

...Я вообще (Вы знаете) очень люблю всю эту звукопись-цветопись. Отдаю себе отчёт, что где-то это и мои глюки, но нет глюка без огня, так сказать, – верю, что есть основа, есть какая-то реальность у того, чьи знаки я распознаю как све-

тотени, звукопереключики... Вы говорите свободно и правильно («– Мне нечем платить, – уныло сказал я и медленно отошёл в сторону» – тут всё к месту, унылое на унылом месте, медленное на медленном, и я не вижу никаких «гвоздей», которыми бы это приколачивалось, – поэтому и говорю: свободно и правильно), и важно, что это на всех уровнях – именно вплоть до звука, до упора. «В ту же сумку я поместил два дорогих словаря оксфордского издания...», – здесь «с» правит бал, и это тоже к месту, она именно «словарная», сухая буква, именно с нею, ею и надо убирать словари... Но: потому-то эти звуки-букровки так и интересны, потому-то ими что угодно, любые чудеса можно сделать, что они разные всегда, они меняются. Вот в названии – «Письмо из Солигалича в Оксфорд» – это уже другая «с», не сухая. «Солигалич» разумеется – влажная соль. Влажная, но не мокрая – «из Солигалича», ИЗ-СО, а потом ещё и «Оксфорд», ОКС, – это пересыпается, не липнет... Всё это страшно важно, это не мелочи, а... внутренности. Без них текст был бы куклой, и говорить было бы просто не о чем...

А про чай я знаю – как это бывает, когда он вдруг всё на свете значит, и как с ним можно носиться-возиться, – каждая чайинка как ювелирное что-то, но и живое; а как я люблю заколки – до дури, до одури, до того, что помирать обидно, ведь тогда мне ими уже не полюбоваться... Но в то же время как-то и... всё равно. Всё равно, что есть, что пить, что одевать, какой ещё там чай, какие заколки, какой ремонт, да какое ВСЁ совершенно никакое, чужое, странное... Это другая сторона. Вещи во все стороны расползаются, и я их не понимаю, и они меня... И попытки что-то упорядочить обречены просто, не упорядочивается жизнь. Это, наверно, оттого, что она по большей-то части как раз нежизнь, мусор всякий, фальшивое и... прочее нехорошее. Я люблю искусство больше, чем жизнь, – так всё же нельзя сказать. Я жизнь люблю, просто её нет почти. Глянул как-то не так (даже ничего и делать не надо, только посмотреть хватает) – всё, отказался от чего-то/от кого-то, уже не жизнь, а злоба, деструкция, мертвечина какая-то. И этой дрянью хороший, настоящий участок-кадр твоей жизни закрылся, никаким чаем не расчистить – и она на этом участке уже нежизнь, нежить какая-то. И это сплошь и рядом. И политика тут ни при чём, это не регулируется, никак... Ваш герой – Вы – как мы его назовём? назовём так: наш корреспондент – так вот, наш милый корреспондент видит темень, он волнуется, ему представляется, что это некая... яма. В которую можно было не попадать, из которой можно бы выбраться, которую можно бы благоустроить в конце концов. А, может, ямы просто нет? «Всё совсем не так» не в последних новостях из России. Всё совсем не так **ВООБЩЕ...**

Я видела фотку: спит Летов на какой-то маленькой, узкой кровати. И там ещё какой-то недоковрик. И вот так получается, что – нет никакой кровати, и коврика нет, и вообще ничего нет – один Летов. Т.е. ни кровать, ни коврик, ни стена – не реальность. Только Егор. Оттого, что он рядом, всё перестало из себя это дурацкое всеислие изображать. Кровать, не кровать, хорошая, плохая – это всё уже вообще неважно, этого всего уже вообще нет... По большому-то хорошему счёту мы сильнее хаоса. МЫ настоящая реальность, а не он. В этом смысле... нельзя жить «плохо». Можно жить или не жить. С ремонтом, без ремонта, в деревне, в Лондоне, размеренно, бесшабашно как-нибудь... Я бы так сказала: наш корреспондент чувствует верно (всё это есть в тексте, в самом тоне, в самом способе говорить, да и прямо тоже озвучено; я вообще всегда знала, навсегда знаю: «всё совсем не так» – это единственное, что здесь так, а не иначе), но думает, много думает о том, чего просто нет...

В общем и целом, как говорится! – ещё раз – вещь хорошая. Мне бы надо было раньше найти-посмотреть, но Вы же сами знаете – лень и нелюбопытство («Вот уж поистине – ленив и нелюбопытен...», помните?). Да даже и не лень, а... если всё во всём, так никуда и не торопиться, вот! ☺

С уважением –

я.

P.S. С письмом Вашим согласна – с тем, что надо писать; что журналы делают литературу. Буду... думать. И писать.

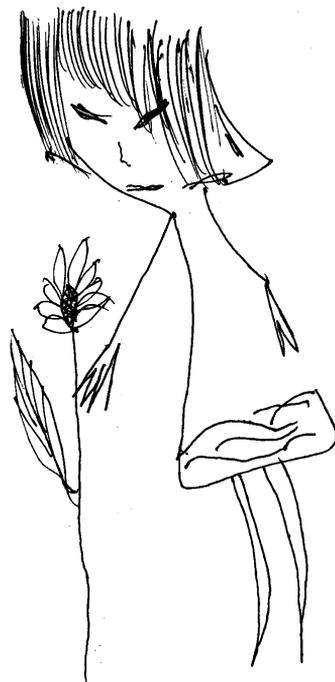
Дата: 28.08.08

Тема: Жду

Спасибо за добрый отзыв. Я его себе скопировал и буду иногда смаковать Ваши вкусные мысли – с гордостью, что это, может быть, отчасти я своим сочинением Вас подвинул... Эта штука – «роман со страной», только это в ней и есть настоящее (как известные Вам «Задворки» – «роман с журналом»⁴). То есть Англия там для меня настоящая. В книжном варианте я даже собирался дать название «Моё английское лицо» (по-английски выглядело бы немного жёстче: «I take my English face»), да книжка так и не вышла. Ну и Солигалич, конечно, с его трудами. Интересная деталь: когда я во второй раз (уже с женой) побывал в Оксфорде, мы возвращались с единственным и очень сильным стремлением: мимо, мимо этой серой одичалой Москвы с её придавленностью, грязью и запахами – туда, в Солигалич, где только и можно начинать строить своими руками что-то новое и прекрасное, ведь краски-то там, воздух-то там – оксфордские!

Я в неё, эту самую красоту внеположную, всё-таки верю – может быть, даже больше и ОТВЛЕЧЁННЕЕ, чем Вы; у Вас она сильно привязана к этике, а я, несмотря на горячее восхищение именно этой Вашей чертой... Не знаю, как закончить, всё будет двусмысленно. Ну и ладно.

Недавно я (по случаю) писал нечто, сравнивая Битова и Андрея Тарковского⁵. Первый до обожествления преклоняется перед материальной культурой; второй не любит, презирует вещи (и всячески даёт это понять) во имя некоего человеческого «духа», но где он, этот его «дух»? Я не могу его пощупать, не верю ему. Там у него пусто. Оба бесспорно художники, и разница между ними, на мой взгляд, в том, что первый морален, второй – нет. Морален тот, кто любит вещи и в общем-то не очень любит уничтожающих эти вещи людей. Кажется парадоксом, но АБСОЛЮТНО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ (я имею в виду опять-таки этих двоих – уже в других ракурсах). Мир провалится именно потому, что разрушительных тенденций в нём всё-таки больше, чем созидательных; и в этом же смысле красота (гармоническое созидание) вкупе с трудом действительно могли бы его спасти.



⁴ Сергей Яковлев. На задворках «России»: Хроника одного правления // Нева, 2001, № 1 – 2. Отд. изд.: М.: Логос, 2004.

⁵ Сергей Яковлев. Писатель и народ: Русская этика в творчестве Битова // Доклад на Международном форуме «Империя. Четыре измерения в творчестве Битова», проходившем 1–4 октября 2007 г. в Санкт-Петербурге.

Мне очень понравились «насекомые» рассказы Марковича. (Воспользовался я и Вашей ссылкой, кое-что прочел оттуда.) Но где-то между нами пролегает та самая тень: он кажется мне уклонившимся в сторону «духа».

У меня в руках второй номер, на днях вышло. Может, чего-то Вы оттуда и не знаете. А 18 сентября в ЦДЛ (есть такое заведение) будет вечер нашего журнала – эх, вот бы с Вами!..

Пишите в журнал, прямо сейчас!

Дата: 29.08.08

Тема: Оговорки

Вы рассердились, наверно, и думаете: а куда же он дел, среди своих «вещей», драгоценную жизнь? Живое – неприкосновенно. Чужая жизнь, чужое тело – человека, травы, муравья... Но это тоже творенья. Я (в уме) просто причислил их к вещам.

Жизнь травы, муравья и (увы) почти каждого человека проходит без следа, и опять остаются только творенья. Вещи. Не знаю, надолго ли, но остаются. Приходится знать им цену.

Как говорил Аверинцев: филология – историческая память. Так и тут: без творений у нас за душой – пустота.

Я не могу висеть в пространстве на незримом обрывке половичка. Я – хранитель. Наследник «рода». Моя квартира забита книгами, рукописями, коробками писем, памятными вещами – моими и ещё многих, большая часть из которых уже ушли. Каждая из этих жизней видится мне теперь титанической, но все они чего-то не успели: дорассказать, дописать, опубликовать. Но огромными они остались лишь в моей голове, и мне всё кажется, что я могу и обязан сделать их титаническую жизнь, сохранившуюся в несовершенных и смешных материальных обрывках, явной и открытой для всех. Только я и могу. Конечно (теперь я это понимаю), я и сам так же, как они, уйду, не осуществившись, но вдруг да успею досказать что-то за кого-то?.. А это очень бы важно. Такой вот долг перед «отцами», почти по Н. Федорову..

Дата: 01.09.08

Тема: Про вещи

Мне кажется, я вполне понимаю, о чём Вы. Я рассердилась? Нет, конечно. Нечем мне сердиться. Но та тень, о которой Вы говорите (между Вами и Марковичем: «он кажется мне уклонившимся в сторону "духа"»), есть и между нами – Вами и мной. Я как Маркович. Я бы под этим «Антом» подписалась...

Вышлете второй номер? Ждём-с. Буду рада.

А я тут битовскую «Пенелопу» нашла и прочитала. Хорошая вещь (вот видите – вещь! разве ж я не понимаю, как важно, как нужно овеществить; текст – это в конце концов тоже вещь, он написан, набран, напечатан, его можно порвать и потерять; не собираюсь я обзывать Вас «вещистом»). Я напишу по «Пенелопе». Если Вы захотите это взять, скажите сроки на всякий случай, хорошо?

Дата: 01.09.08

Тема: Re: Про вещи

Да. Дух – он вечен, бесконечен и в этом смысле ничего не стоит. «Бытие-ничто». А на уровне жизни бесконечность отсутствует. Наше – это пресловутая «ноосфера», образован-

ная совместными живыми усилиями, нечто из перегоревших муравьиных и человеческих страстей.

Из этого можете заключить, как мало я верю в загробную жизнь и самого создателя. Но это, конечно, моё личное дело.

Вчера как раз показывали «Зеркало» Тарковского. Если хотите, я когда-нибудь распишу Вам по пунктам основания своей неприязни к этому талантливому фильму. К личности его автора.

«Анта» же я просто не прочел – что-то в самом начале меня оттолкнуло, какая-то чужая напористая культура. Постараюсь исправиться...

Пишите про Битова. Знаете, что меня вдруг заняло в «Пенелопе»? Это было написано в 60-х, 40 лет прошло, а не изменилось – НИЧЕГО. Не только в сознании, но и в антураже.

Наверное, это признак очень хорошей литературы.

Дата: 01.09.08

Тема: Вы не Маркович

...Забыл сказать: жёстких сроков (на Битова или кого-то ещё) не устанавливаю. Недели три-четыре есть. Уж не знаю, хорошо это для Вас или плохо.

Журнал уже в пути.

А вот «тени» между нами нет. Я, кажется, писал Вам: когда я печатал в «Коростеле» ту Вашу штуку, у меня на руках умирал один из самых близких людей. Я и теперь (прошло два года) то и дело умираю вместе с ним. Статья появилась ещё при нем; засылая я её в печать уже после. Последовательно, раз за разом, перечитывая. И ничто меня не покорило. Всё остальное в жизни было прахом, она – нет.

Что же касается Ваших избранников (литературных) – к каждому из них (и к Салову, и к Ручко) у меня были свои вопросы и претензии. Это нормально. Они не Вы. Вам я эти вопросы задавать не собираюсь...

Только что вышла моя статья в одном издании, которое точно до Вас не дойдет⁶. Из последних. Я сейчас перечитал и подумал, что она имеет какое-то отношение к нашей живой беседе. На всякий случай посылаю, читать не обязательно.

Дата: 02.09.08

Тема: Спасибо за статью

Спасибо, Сергей, за статью. Я, конечно, буду читать.

Три-четыре недели (на «Пенелопу») мне хватит, должно хватить.

«...Из этого можете заключить, как мало я верю в загробную жизнь и самого создателя. Но это, конечно, мое личное дело». А я как-то не очень верю... в само «верю/ не верю». В конечном счёте ведь это и неважно. Кто-то же умный сказал: есть боги, нет богов – к нашей с вами жизни это никакого отношения не имеет. Или как Егор (в интервью): « – Ты, стало быть, верующий? – Я человек, свято и отчаянно верующий в чудо. В чудо неизбежной и несомненной победы безногого солдата, ползущего на танки с голыми руками. В чудо победы богомола, угрожающе топорщащего крылышки навстречу надвигающемуся на него поезду...». Ну, и так далее. А вот Тарковский до меня

⁶ С. Яковлев. В коcone времени, или Ночная жизнь Юрия Казакова // Историк и художник, 2008, № 3 (17).

что-то не доходит. «Если хотите, я когда-нибудь распишу Вам по пунктам основания своей неприязни к этому талантливому фильму. К личности его автора». Хочу, распишите.

Муратова сказала просто: ах, какой он у нас бедненький, вся вселенная, глядите-ка, должна его пожалеть. Я не понимаю, о чём она, но как-то верится...

«Анта» же я просто не прочел – что-то в самом начале меня оттолкнуло, какая-то чужая напористая культура. Постараюсь исправиться». Ну, это не обязательно ☺. А штука действительно жёсткая, Вы правильно поняли.

Дата: 09.09.08

Тема: Реклама

Леночка, в субботу в 18.00 мск. по радио «Свобода» будет круглый стол, где мне удалось сказать несколько добрых слов про Вас. Если не вырежут. (В передаче Вик. Ерофеева.)

Это на всякий случай – всё-таки реклама...

Кстати, в журнале «Знамя» № 3 за этот год отрецензировали «Коростель», где также есть про Вас – мне говорили, я сам не читал.

Получен ли 2-й №?

Дата: 19.09.08

Тема: Журнал уже пришёл

Пишу, как обещала. Журнал пришёл (вчера), огромное спасибо. Пока могу только сказать, что зелёный вариант мне намного больше нравится, и как хорошо, что есть Шааранин, и как странно, что есть моя фамилия, если ничего моего (кроме хороших намерений, конечно) нет ☺.

Статья Ваша по Казакову заставила задуматься: не пора ли почитать Казакова? ☺ Серьёзно, не читала (ну, сами понимаете, чукча писатель, а не читатель, и т.д.) Но о чём речь, я поняла, это хорошо.

Мне понравилось, что Вы разделили статью на части – это удобно и оправданно. И понравилось, что она про «зрение» – это уж само собой, я и сама всегда про него же...

Кстати, по поводу того, что «было бы некорректно противопоставлять здесь этих двух очень разных писателей». Здесь – корректно... Это вообще очень сложный вопрос; когда-то я отказалась «сопоставить» (Вы помните). Тогда мне казалось, что не получится, а значит, и не получилось бы. Т.е. этого можно не бояться, раз уж Вы сами себе позволили, раз уж сам текст позволяет – Ваш, да и их тексты не упираются... А этот вопрос – «что было бы, если...» – лучше, чем его иногда пытаются представить. С одной стороны, конечно, – если бы да кабы, а с другой – это неправильно только в отношении «неживых» вещей, бездарных. У них всё равно никаких выходов нет, так что нет проку их вертеть и трогать этими «если»...

А что за издание (в котором статья вышла)?

...Видела коростелевский сайт со стихами Салова. «Здесь у автора стояло «явный», но все редакторы сошлись на том, что слово – слабое. Поэт Владимир Леонович предложил заменить его на «подлый», прозаик Сергей Яковлев – на «вредный», а поэт и прозаик Гарри Гордон – на «праздный». На том и порешили. – *Ред.*» Ой! Стихи править нельзя. Но если говорить о вариантах, то Ваш, кажется, лучший. Понимаете, в этом «явном» был какой-то стёб – и милая

ненужность: то есть и так понятно, что явный, а я ещё и скажу! И кроме того, это было таким вот... Ярким (Явный – Яркий), самоцветным, буква «Я» – она вообще, наверно, самая яркая... В Вашем варианте на её место становится «РЕ». «Е», конечно, родственник «Я», но ведь здесь по звучанию «Р'Э» (мягкая «Р» и «Э»), то есть компромисс, «Е» и есть и нету. С «милой ненужностью» происходит много чего, в частности вот эта интонационная улыбка как бы... смещается на звук, «ВРЕ» – это, конечно, улыбка, немножко клоунада, кувырок... Вариант «подлый» я бы вообще не рассматривала, он не отсюда, бьющий какой-то... «Праздный» хорошо только по ударению (было «Я» («ЙА») – стало «А»), а смысл сразу каменеет, что-то осуждает и т.д. К тому же «праздный» уходит на «поэта», притягивается к нему, а не к «вымыслу», то есть: или «вымысел вредный» – или «праздный поэта», а «вымысел» тогда оттуда вообще отваливается; естественно, первое лучше.

Алексей почему-то решил больше не то что не публиковать стихи, а даже не показывать. И не отвечает, почему. Как всё сложно, какие все сложные... Знаете, моя школьная подруга стала писательницей! Я случайно узнала. Я так рада. Мы уже давно не общаемся – вот всё эти сложности, она такая вся сложная, что сил никаких не было – но вот о чём я думаю: какое счастье, что вся эта её инопланетность воплотится в чём-то! Теперь я мечтаю найти её повесть и написать о ней. А Алексей зря... Я только надеюсь, что он переживает.

...Рецензию в «Знамени» я глянула (<http://magazines.russ.ru/znamia/2008/3/er26.html>), страшно довольна. Ермошина мне вообще нравится – я так не смогу, у неё такое... сугубо конкретное и по делу Видение. Вот и меня она сразу раскусила – что я из детсада какого-то для дефективных. Это объективно, то есть главное она уловила. Но на её месте я бы жёстче сказала, «немного слишком» – это, конечно... тогось⁷ ☺.

А вообще, согласитесь, рецензия всегда в радость. Тексты так общаются. В этом смысле лучше, уютнее чувствует себя текст, на который отвечают. Значит, телефон рабочий, не отключен.

По «Пенелопе» я пришлю Вам в понедельник.

Дата: 20.09.08

Тема: Re: Журнал уже пришёл

Во втором номере Вы присутствуете хотя бы Шараниным (ума не приложу, зачем ему вторая буква «а» – чтобы гусей дразнить?), ну и в моем сердце, разумеется. На вечер в ЦДЛ съехались С. Тремасова, Е. Борода, А. Майоров. Все молодые и очень красивые. На всех прошу обратить внимание. Майоров пишет под псевдонимом «Алекс Май», широко представлен в Интернете, у него есть чудный, по-моему, роман «Год Т». Ему нужен редактор, он пока ещё больше стихия, но это ведь главное.

Если б я знал, что написано в «Знамени» – ни за что бы не упомянул! Прочёл только после Вас, по Вашей ссылке. А потом снова перечитал Ваше письмо и чуть не помер от смеха.

Битова жду. Спасибо!

⁷ «Несколько растрёпанное, выдержанное в нарочито небрежном стиле, эссе Елены Зайцевой из Владивостока о функциях искусства (№ 1, 2006). Немного слишком восторженное и местами с оттенком подростковой изумлённости от собственных открытий». (Галина Ермошина. Коростель. Письма из России // Знамя, 2008, № 3.)

Дата: 22.09.08

Тема: Пенелопа, картинка и пр.

Шлю Вам по «Пенелопе» плюс картинку – вдруг пригодится (она «про человечка и солнышко»).

Через недельку-другую напишу Вам о журнале (2-м номере). «...На всех прошу обратить внимание». Хорошо, договорились.

Лекарство для Лобышева

Говорят (вот уже полвека скоро), битовская «Пенелопа» – очень «этический» рассказ. А разве не «эстетический»?

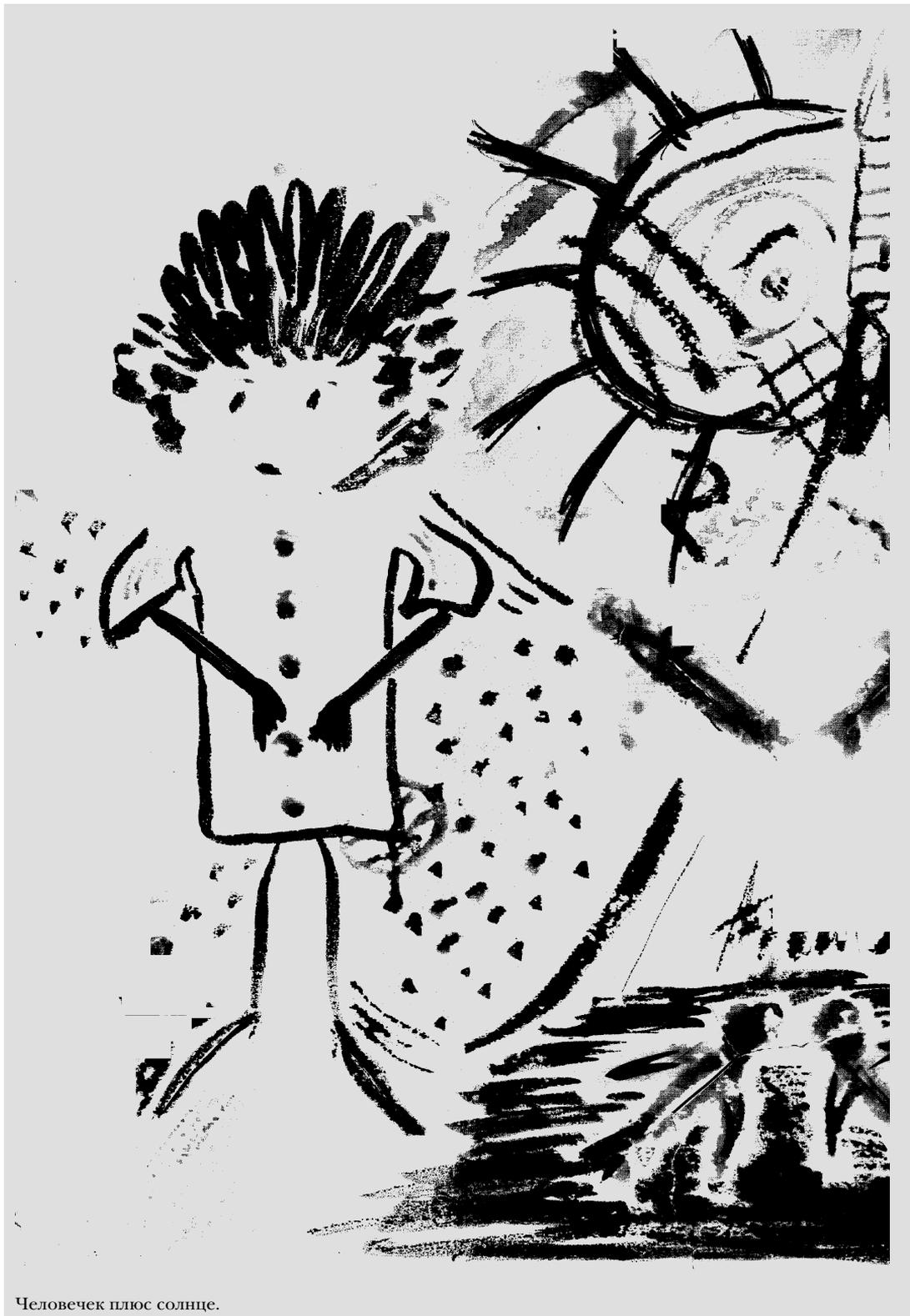
Я сейчас много про некрасоту думаю – как в итоге-то именно она всё топит. Хорошо/плохо всё-таки разовое какое-то, пропустили – проехал. «Не убий!» – «Ладно!». Вот Лобышев и не убил...

Да он на этике только разик и спотыкается – когда врёт, вручает своей «Пенелопе» этот несуществующий адрес. Это по-ступок, он туда всё-таки ступает, совершает действие. Можно ответить за действие, но за картинку? Картинку просто видишь. Лобышев «визуалист», он видит кадрами. А на кадрах вся вот эта несостыковка, несоответствие: он не совпадает с девушкой, девушка не совпадает со всем остальным, всё остальное вообще ни с чем, и так далее, далее, – круговая порука несоответствий, когда *всё сдвинуто относительно всего*. Война всех против всех (об этом он, конечно, не думает, это слишком «грандиозно»).

Этически, «по-хорошему», с этой войной, с этими несоответствиями ничего не поделаешь, это именно эстетика: что бы Лобышев ни сделал, красиво не будет. Не обмани он этим 53-м километром, обманул бы чем-то другим, и, может быть, худшим (скорей всего худшим). Дело-то как раз в том, что из некрасоты нельзя выбраться «ситуационно», она всегда больше ситуации, она... тотальная штука. От неё даже и отвернуться-то по-настоящему нельзя. Отворачиваешься, а это ведь тоже некрасиво – вот это твоё дёрганое движение, уворачивание, убежание. *Дезертирство*. Из одной некрасивости можно попасть только в другую...

Вот сейчас я сижу пишу, а мимо (по электричке) идёт тётка, продаёт газеты. Выкрикивает какие-то названия («Яйца поегипетски!»). Ни я, ни она ничего плохого не делаем. Но мы мешаем друг другу. То, что я ей мешаю, нужно именно видеть, я ведь не ору, – но вот эти мои белые штаны, «умные» бумажки – она ещё больше грязная и безмозглая от всего этого, *моё изображение мешает её изображению*. Просто катастрофа, какой это нелепый, разваливающийся кадр. Хотя, повторю, – ничего плохого как будто и не происходит, всё нормально, всё как всегда, всё это на каждом шагу...

Как лечиться от этой «нормальной катастрофы», тотальной некрасоты? Тотальной красотой. Как Цветаева: «всё – солнце».



Человечек плюс солнце.

Не зря Лобышев видит свою «задрипанную Пенелопу» в этой солнечной раме. Он по сути (*да и по форме*) лекарство своё видит. Когда «всё – солнце», нечего бояться. Нет никаких ни тех, ни этих, – ни которые бы не так посмотрели, ни которые бы не то сказали. Нет распадений на подумал-передумал, почувствовал-перечувствовал, захотел уйти или захотел остаться, – вообще ни на что больше места не остаётся, ни на что *не-солнечное...* Нельзя, да, наверно, и не надо видеть так постоянно, но увидеть надо. Это не только праздник, но и своего рода калибровка: вот здесь – ноль, а там – всё... У Битова у самого есть рассказ – «Солнце». Герой как раз попадает в эту солнечность, видит её в каждой кнопке, чуть ли не в мазуте. А потом и остаётся только одно солнце – везде. *«Дела... вспомнил Витя. Он посмотрел ещё немного на срывающийся с крыши снег. Над крышей было небо, солнечное и синее. Да что это за дела... подумал он. Витя повернулся и пошёл в другую сторону. Вышел на проспект и направился к заливу. Солнце было проткнуто остриём уходящего вдаль проспекта. Солнце было впереди и в то же время со всех сторон. Полупрозрачные глыбы домов плавали, парили в воздухе».* Он, конечно, ещё очухается, вернётся к этим своим «делам», но он уже увидел. Лобышев – только поглядывал, у него дальше «прекрасного самоощущения» не пошло, за «бод-рость» не зашкалило. Поэтому и не считается. Незачёт поэтому, одна боль и недоумение...

Важно, что это «солнечное зрение» ни в коей мере не лакировка, не в-Багдаде-всё-спокойщина какая-нибудь, а эта красота никакого отношения не имеет ко «вкусам».

Обычный вкус-вопрос: а что, если кому-то и «морды бить проходим и знакомым» – красиво? что, если индивидуально?.. Индивидуально – это когда на твоей тарелке твой любимый (или не-любимый) сэндвич. А в общей картинке красиво то, что её не рушит, то, что в направлении сборки. Морды бить – это, простите за каламбур, уже разборки. «Отэстетить» это можно только в рамках условности, т.е. будет уже не драка, а, скажем, кинодрака. Тоже, кстати говоря, штука «сборочная». Отснять сцену – собрать, упорядочить...

И второе. В Багдаде всё очень даже неспокойно. Но что такое этот самый Багдад? Что-то маленькое. Мы как щенята в углу сарая, нам надо подрасти, чтобы выйти хотя бы во двор. И у нас есть возможность подрасти, пока мы живы. Из живого просто лучами прут – расходятся эти возможности, У ЭТОГО НЕКРАСИВОГО ЕСТЬ ТЫСЯЧИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАТЬ КРАСИВЫМ. Даже эта моя газетчица – возьмёт да выдохнет: ох и надоели вы мне со своими газетами! – сядет напротив и голову подопрёт. Прямо тётушка Обида. «Мы надоели? Со своими газетами?!» – я, и, возможно, даже вслух. Я теперь тётушка Недоумение! Мы уже не мешаем друг другу, мы встретились. Соединилось что-то, собрался кадрик, растаяло несоответствие... Всего этого нет и, наверно, не будет. Но оно может – и должно – быть. Больше должно, чем то,

что есть. Из одной некрасивости можно попасть только в другую – или в красоту...

Почему я и говорю об «этической» нашей неисправимости; почему все наши благие намерения ведут прямым в ад; почему мы только мучаемся с этими нашими устройствами-перестройками – чтобы что-то изменилось, надо *увидеть по-другому*. Сколько правил ни зазубри, а против очевидного (*очевидного*, того, что видишь) не попрёшь. Построишь хорошую школу, а туда придёт учительница, которая видит: бараны, бараны, бараны... И ведь так оно и есть! Молодец, очков не нужно. Но, может, просто как-то не так голову повернуть... Ведь это волшебные бараны. И место это волшебное – планета № 3, считая от солнца... Или вы не от солнца считаете? и зря эту школу строили? Зря или даже и во вред...

Лобышеву всё во вред, пока он не дотянулся до своего «лекарства», пока не «всё – солнце» и не «всё – душа». Он может догнать девушку, может не догнать, лучше не будет. Лучшее равно худшему и наоборот. В лучшем-худшем случае – если наш герой вдруг решит стать совсем добрым и вовсе не отсылать девушку – будут «отношения», так что пусть уж она лучше уходит...

Что же делать Лобышеву?

Лечиться.

Благо у него хорошие шансы – от его зрения до солнечного куда ближе, чем от «нормального». Норма в данном случае – этакая пригашенность, – как сквозь шторку. Защитная реакция организма... Лобышев беззащитен, т.е. небезнадёжен. Может быть, ему надо мантры читать, может, на солнце до слёз смотреть, может, водку пить, может, песни петь, – а в общем-то ничего особенного делать не надо. Всё и так особенное. Всё – солнце...

Дата: 22.09.08

Тема: *Re: Пенелопы, картинка и пр.*

Это гениально (без шуток).

Во-первых, это о главном; во-вторых, такое, что никому ещё в голову не приходило (хотя так всё просто и напрашивается).

Меня в Вашей «Пенелопе» поразило, как Вы увидели-разгадали ту подворотню на Невском... Я-то сразу был ею заворожён, как только прочёл (лет 30 назад), но относил это к особому «питерскому» зрению (тогда как раз жил там, и довольно долго). И, конечно, не мог сформулировать, как Вы. Чувствовал, что она в центре, что всё вокруг неё вращается, а почему – не понимал. Кино и кино. Красиво. А Вы в Петербурге были? Или Битов прав, что вы там во Владивостоке ближе к Европе, чем мы, с другой стороны в дверь вошли и всем овладели, вплоть до подворотен питерских... Так он в журнальной статье намекал⁸.

Рисунок выше всяких похвал. Уточните автора (хоть я и догадываюсь).

Если мы (как журнал) выживем, Елена, гарантирую Вам мировую славу.

⁸ См.: Андрей Битов. Шорт-лист // Письма из России, 2008, № 1.

Дата: 23.09.08

Тема: Уточняю автора

«...Уточните автора (хоть я и догадываюсь)». Рисунок, конечно, мой, правильно догадываетесь.

«Если мы (как журнал) выживем, Елена, гарантирую Вам мировую славу». Вот хорошо бы нам-вам выжить, Сергей. Во-первых, мировая слава – это отлично, лимузин, лайм... (кстати, мне недавно сказали, что я похожа на Джонни Дэппа! ☺), во-вторых, журналу лучше быть, чем наоборот, даже и без лимузина.

Да, хочу прислать Вам три рассказика Евгения Боушева. Мне нравится. Кстати, совсем молоденький автор (1986 г.р.).

А Майоровым я заинтересовалась. Может быть, он мне понравится, пока не знаю. В общем – читаю пока.

Дата: 14.10.08

Тема: Рецензия и Топос

Будете Вы сердиться, наверно, но я опять написала рецензию (обзор – сказала редактор, ей видней) на журнал, на этот номер. Знаю, что всё, что не явная похвала, всегда тяжело, да и каждый знает. Но ведь я говорила (помните?), любая рецензия, любое внимание – это хорошо, самое плохое – молчание. Так что надеюсь на Вашу не-обиду.

«Рецензию» шлю, а вот где её опубликовали (<http://topos.ru/article/6458>).

О чём нам пишут и откуда (Письма из России. № 2, 2008)

В журнале (новом, издаётся Сергеем Яковлевым) есть несколько действительно интересных работ, и прежде всего это эссе челябинца **Николая Болдырева-Северского** «**Между чарой силы и чарой духа**» (рубрика «Прошу принять»).

Написано блестяще – образно, узорно даже, и при этом внятно, читаемо. Но не приму, не могу.

О чём работа: *«Если некогда люди черпали высшее, идеальное из самого идеального (боги, полубоги, титаны, герои) и тем самым непрерывно подтягивались, высекая высшую в себе искру, струня себя высшим напряжением, то с течением тысячелетий и особенно последних веков идеалы стали черпать из самой человеческой обыденности»*. Результат? Обожествление, идеализирование «низких» сил: от наглого напора до умения запросто, не раздумывая, убивать. Не последнюю роль в этой эстетизации зла играет высоколобая интеллигенция, поскольку именно она *«задаёт тон в этих вопросах, научая массу»* (Ницше, Цветаева). Что противопоставить этому культуре силы, культу личности? Культ духа, истинного человека, свободного от низких стремлений и словесных матриц, поэзию внеличного...

Можно и противопоставить, конечно. Но лучше не противопоставлять. Есть ведь и ТРЕТЬЯ СТОРОНА, как раз её-то и не хватает тексту г-на Болдырева.

Ведь что получается: говоря о том, как необходимо нам освободиться от теорий и матриц, сам г-н Болдырев пользуется ими вполне уверенно. Всё кругом: российское – или чужеземное, западное – или восточное, интеллигенция – или массы, бунт – или медитация. Цветаева так вообще *«типично русским типом интеллигента»* получилась. Плюс *«утончённая», «патетически эротичная», «упоённая красотой словесных чувств»*. Т.е. мало того, что рамки, так ещё и, мягко говоря, весьма произвольные (не бывает «утончённого» крика; цветаевская эротика – что-то из ряда оксюморонов; и никогда она не была эстеткой в этом мёртвом, бумажном смысле).

Проще говоря, г-н Болдырев видит-слышит не Цветаеву, а какую-то странную конструкцию из «типичности», «упоённости» и «развращённости», и докричаться до него совершенно невозможно, он, как за стеклом, за этими своими выкладками, главная из которых: нельзя поклоняться злу!

Да ведь цветаевская работа («Пушкин и Пугачёв») как раз о том, что нет и не может быть никаких идеалов в обыденности; что Пушкин *внушил* своего Пугачёва, «долженствующего быть», а не бывшего, вытащил его из кроваво-грязной каши и сделал достойным любви и любящим. Т.е., говоря шире, что он сделал? Дал свою версию мира – *нетошнотворную*. Зная злое и страшное, сотворил красоту, сказку. Зло было – зла нет. И это, конечно, чудо, конечно, чара. О ней и только о ней Цветаева и говорит (и повторяет!): *«Но, повторяю, дело для нас не в Пугачёве, каков он был или не был, а в Пушкине – каков он был»; «По окончании «Капитанской дочки» у нас о Пугачеве не осталось ни одной низкой истины, из всей тьмы низких истин – ни одной. Чисто. И эта чистота есть – поэт...»*. Г-н Болдырев продолжает видеть поклонение злу...

И это, в общем-то, не странно. Ведь Цветаева и есть та ТРЕТЬЯ СТОРОНА, которую ему так плохо видно (не видно вообще?). Та, которая не мечется, быть ей «личностью» или «внеличностью». То самое «я», которое возможно и безо всякого обрастания непробиваемой капсулой, без служения себе любимому: «на месте своего деяния, своего радения», оно служит миру, работает. О какой же «забетонированной самоотдельности» говорить при таком соучастии, предельном вовлечении – во Всё (*«Что нужно кусту от меня? / Не речи ж! Не доли собачьей / Моей человеческой, кланя / Которую – голову прячу // В него же (седей – день от дня!). / Сей мощи, и плечи, и гуши – / Что нужно кусту – от меня? / Имущему – от неимущей! // А нужно! Иначе б не шёл / Мне в очи, и в мысли, и в уши. / Не нужно б – тогда бы не цвёл / Мне прямо в развёрстную душу...»*)! Но г-н Болдырев уже решил, что «соучастие в незримом космическом процессе» может идти только *безучастно*, рассеянно, никак, безымянно/бесцельно/чисто-бытийно (грубо говоря, какие ещё кусты, когда и я не я, и лошадь не моя), а все эти «бунты» – от «недостатка УДАЧЛИВОСТИ», от неумения *«выстроить самый контакт с людьми и вещами»*. Эти-де недостатки и заставляют – что? Правильно, поклоняться злу. Сильным

мира сего, Пугачёвым да Наполеонам. И нас в это втравливать... Прямо по Фрейду: а этот стишок, милочка, вы написали потому, что мастурбировать не умели.

Г-ну Болдыреву, не принимающему цветаевское «всё или ничего!», почему-то и в голову не приходит, что его собственный взгляд куда более диаметрален. Что не сведёшь всё к удачам или неудачливости, силе или слабости, чёрному или белому. И что – вот это главное, пожалуй, – если бы такой «высоколобой интеллигенции», как Цветаева, удалось бы «задать тон», «научая массу»... то, во-первых, это была бы уже никакая не «масса». И это только во-первых...

Хороший, какой-то особенно грустный и всё-таки светлый рассказ опубликован в рубрике «Простые письма». Рассказ не в жанровом смысле, а в прямом: **Валентина Ефтифеева**, сотрудник музея Шукшина в с. Сростки на Алтае, рассказывает о судьбе Любы Байкаловой, ставшей прототипом главной героини «Калины красной».

Какая была Люба? Никто толком сказать не может, все сходится только на том, что *странная*. Добрая, нежданная. Правду говорила. Плакала, когда сердце болело. Остальным – нестранным – было смешно.

«...Любы Байкаловой не стало 19 ноября 1980 года. К тому времени «Калину красную» посмотрели миллионы зрителей не только в нашей стране, но и за рубежом».

Стихи **Валерия Ланина**, автора из Кургана, почему-то попали в рубрику «Проказы». Но напраказил-то он не сильно. В том смысле, что есть, конечно, и маловразумительные тексты («Апологию скотины» я так и не поняла, честно говоря: Державин, ферма Агропрома, газета «Советское Зауралье»...), но есть – просто формулки, чёткие, красивые:

*Нет друзей у тебя.
Есть враги,
Очень близкие, –
Им помоги.*

В той же рубрике и повесть **Александра Шааранина** «Железная цепь со строгим ошейником». Живёт автор в Вологде (и в Интернете), пишет хорошо, и, думаю, будет ещё лучше. Хотя и сейчас жаловаться не на что: повесть получилась, практически с любого места цитировать можно («Я вовсе не злоупотребляю, и вообще мне нужно было завтра рано на рыбалку с отцом. Но когда чувство глубокого безразличия цепко держит за горло, что еще остается делать?»; «Я пришел домой, папы не было. Он выбрался на улицу и умер у подъезда. Соседи рассказали, как он сообщил перед смертью, что весь мир заключается в его мозгах. И потому, когда он умрет, то и весь мир умрет вместе с ним. Но это так – постскриптум...»). Спросят: а не

слишком ли это веничкины штучки? Ответим: не слишком. Это после-веничкины штучки, скажем так. Собственно, *любые* штучки – после-какие-то-другие. С Венички и с самого эта ветка не начинается, он – «следующая станция», крупная, но не начальный пункт (а ветку кто-то – грубо, общо и в больших кавычках, конечно, – назвал утрированной прозой).

Два слова о работах **Александра Майорова** (Смоленская область) и **Елены Бороды** (Тамбов).

У Майорова – главы из романа «**Ночные диалоги с молчаливой бабочкой**». Чем текст не удался? Да самим собой. Разговаривать с молчаливой бабочкой оказалось не так-то просто. Чего стоят одни только эти «ага, мисс», «пока, мисс». «*На мне свитер, трико (мисс, так мерзко тогда спортивные штаны называли) и синие резиновые сапоги*». Трико? мерзко? Это после того-то, как бабочка – МИСС?

«Мы тут вдвоём, да? Это значит, что и страх на две половинки разделится. Мне стр, а тебе – ах... Или наоборот?» Наоборот. Стр я себе возьму. Сказать, что стр-анно всё это...

Елена Борода, «**Три рассказа**»: один о любви и жизни, другой о больных детях и жизни, третий о семье и жизни. Написано очень длинно, очень ровно – в общем, *жизненно*. Почему-то героини в «жизненных» рассказах бывают жутко безжизненные, их описывают по два с половиной листа, а они так и не появляются. Если у А. Майорова хотя бы понятно, кто и с кем говорит, кто кого видит, то у Е. Бороды – расфокусировка полнейшая. Чей это взгляд? Вот мы видим Раю со стороны – вот видим Иру – вот Рая видит Иру – вот мы слышим Раины мысли о том, что Ира читает её мысли – вот читаем Ирины мысли... Всё это, в общем-то, можно поправить-срастить, только зачем? Если ни той, ни другой (ни Раи, ни Иры) всё равно нет. За тот же «больничный» рассказ вполне, безо всяких потерь, отработал бы толковый очерк, за «семейный» – статья.

Расстроила «Переписка редактора» (**Сергея Яковлева** с критиком **Валерием Сердюченко**). Публикация писем и вообще вещь спорная, а тут: «*подбил старуху на воинственные разоблачения*», «*они элементарно опиздеуют от такого поворота*» (В. Сердюченко). Если учесть, что и «старуха», и «они» указаны пофамильно, не будет перебором сказать, что это перебор...

Порадовало оформление номера, в частности, рисунки **Степана Ботиева** («*скульптор, художник, литератор, автор памятника Велимиру Хлебникову в Малых Дербетах*»). Всё-таки рисует он лучше, чем пишет. Цикл его текстиков («**Хлебниково поле**») утомляет сразу и на все 10 (!) страниц, какое-то... «бесконечное хокку», – а вот рисунки симпатичные.

Да и в целом этот номер посимпатичнее первого. Будем ждать номера три (чтобы узнать, тенденция ли это)...

Дата: 14.10.08

Тема: Re: Рецензия и Топос

Леночка, прочел рецензию с любовью и вниманием и люблю Вас пуще прежнего. Спасибо. Именно так и я про всё это думаю. И про себя с Сердюченкой, и (уж конечно) про Болдырева, и про других, кого Вы пощадил. Отдельно держу только Майорова (оболтус, но трогательный, попробуйте одолеть его потрясающий, отвратительно написанный роман «Год Т») и Елену Бороду, которая при втором прочтении этих нелеповатых вещей почему-то разрывала мне сердце. Ведь то, что действует, – оно действует, безо всяких «заданий», каков бы ни был «текст». Хочется обернуть Вас ещё и к такой метафизике.

А вот не опубликовать ли нам Вашу критику в № 3? В дополнение к «Пенелопе»? Ведь это не прошло на бумаге? Да ещё возьмем за правило себя обозревать. Хоть так обретём в журнале Ваш голос – здорово!..

А вообще-то я иногда не верю ни в себя, ни в своих авторов, и мне становится нехорошо. Всё дело кажется бессмысленным, ничтожным и пошлым. «Журнал – это почти собственный роман», за то и расплачиваюсь.

Недавно разыскивал в Интернете физиономию Джонни Дэппа. Нашёл, вспомнил, что видел его не раз. Может, хоть фото своё пришлёте, чтобы я не мучился? Правда, очень хочется взглянуть.

А почему в Вашем адресе – «Арина»?..

Простите, я уж совсем распоясался. Всё стало как-то близко и дорого. Сколько тайн, столько и вопросов.

Ещё раз спасибо. Понимаю, как Вам немножечко противно – мне тоже – что делать... Диссонанс. Будем верить в спасительную красоту.

Дата: 15.10.08

Тема: Такие ответы

Здравствуйте, Сергей.

Да, вопросов много, сейчас буду отвечать – настроение и время, благо, есть.

На Майорове я крест не поставила. Я имею его в виду и даже начала его «Год Т» (пока воздержусь от комментариев, надо бы дочитать). С Еленой дела похуже, что-то она мне вообще никак. Ну ладно, на мне же свет клином не сошёлся, понравится кому-нибудь другому ☺.

«...А вот не опубликовать ли нам Вашу критику в № 3? В дополнение к «Пенелопе»? Ведь это не прошло на бумаге? Да еще возьмем за правило себя обозревать». Можно попробовать (обозревать). На бумаге этого нет, конечно. Я, знаете, с ентной бумагой стараюсь не связываться. В последний раз я, похоже, сделала глупость – написала статейку для какого-то бумажного журнала (они просили), ни статейки, ни журнала в итоге никто не увидел. На мои осторожные вопросы, что и где, мне хоть и отвечают, но так туманно, что понять ничего нельзя. И я не знаю, как быть, – статью жалко, а распорядиться ею я уже как бы и не могу, раз отдала...

«Понимаю, как Вам немножечко противно – мне тоже – что делать... Диссонанс. Будем верить в спасительную красоту». Будем, конечно. Только я что-то не поняла, отчего мне должно быть противно ☺. «...А вообще-то я иногда не верю ни в себя, ни в своих авторов, и мне становится нехорошо. Все дело кажется бессмысленным, ничтожным и пошлым...» Что такое иногда! У меня каждую минуту всё по-другому. А в авторов я верю всегда – пока пишу о них. Но некоторых потом сразу забываю.

«...Недавно разыскивал в интернете физиономию Джонни Дэппа. Нашел, вспомнил, что видел его не раз. Может, хоть фото свое пришлете, чтобы я не мучился? Правда, очень хочется взглянуть». Самое свежее фото у меня как раз с той самой летней природы. Это мы с дочей, ей 8 лет. А по части Дэппа – это... да ☺. Он же на самом деле вообще никак не выглядит, – как в той шутке про настоящего актёра, которого в тёмной комнате просто нет.

«...А почему в Вашем адресе – «Арина»?..» О, это стоит рассказать. Свой путь (назовём так – Путь! ☺) в Интернете я начинала с того, что лазила по медицинским сайтам под ником Арина. Я же этот... ипохондрик. У меня всё болит, и я от всего лечусь. И вот таким образом я убивала время. Муж сказал: «Ты бы занялась чем-нибудь... менее бессмысленным. Напиши что-нибудь, что ли». Я сказала: не пишется. Муж сказал: всем пишется, а тебе не пишется. И показал мне, ЧТО другим пишется. Я рассердилась и стала критиком. А ник так и остался в адресе, – как напоминание о бессмыслице, исторически, и просто потому, что «ариназай» звучит лучше, чем «еленазай».

Вот, пожалуй, и всё (что касается вопросов).

...Перечитала я на днях «Москву-Петушки». Боже, какая прелесть. Ведь действительно поэма. Такая вот ритмическая, побуквенная – и таким запоем (каламбурчик ☺) читается! Невероятно.

...Повесть подруги нашла (ну да, нашла – купила!). Буквально плакала. Такая чушь, ну такая чушь... Но такая наивная и даже, не знаю как пояснить, красивая. Пишу о ней и Ко (повесть в сборнике). Пишу обзор на родной Ньюлит. Собираюсь писать по звукобуквам (года этак три уже собираюсь, но ведь соберусь когда-то) и по Александру Славнову (понравился мне сборничек его рассказов у нас на Ньюлите; могла бы его Вам рекомендовать, но что-то с ним ничего неясно – никакой информации по автору, хотя понятно, что он не дитя и пишет – и живёт – давно).

Пока вроде всё. Сегодня я благодушна и общительна, это видно ☺.

С уважением

Лена.

Владивосток.



Алексей Королёв

Зовут меня Алексеем Леонидовичем, родился я в Ленинграде в 1946 году. Учился в английской школе, затем на физическом факультете Университета, в аспирантуре Политехнического, занимался некоторое время научной работой, затем решил заработать денег и занялся наладкой станков с ЧПУ, а дальше как-то незаметно и «перестройка» подошла, продолжал «крутиться», пока не остановился. Оглянулся и начал пописывать: сначала стихи, издав две книжки и вступив в союз писателей Ленинградской области и С-Пб (есть такой в Павловске), затем потихоньку прозу, в том числе статейки. У меня есть и более странные вещи, например, «роман» «Дон Игуанодон»...

Капли счастья

Безымянная история

Говорили, что это она его отравила. И действительно, кто же ещё. Жил человек на одном месте, никого не трогал. Тихо и незаметно жил, почти ни с кем и не общался. Можно сказать, даже и не жил почти, а как бы только готовился к той жизни, которой пока ещё нет, причём не только у него нет, но и вообще почти ни у кого нет. По крайней мере, в нашей стране. Ну а о других-то странах он и не задумывался. Так далеко в те годы его фантазия не простиралась. Железный занавес тогда был. Граница на замке. И не только граница, а вообще везде всё заперто. И множество людей в том числе заперто. Кажется, такие же люди, что и все остальные. Точно так же жить хотят по-человечески. А может, как раз потому и попали под замок, что слишком уж сильно хотели жить по-человечески. Опережали, так сказать, естественный ход времени. За что и поплатились с полной неотвратимостью. Хотели жить по-человечески, а обнаружилось, что живут как звери в клетках. Правильнее считать, что и не живут, а только готовятся к той жизни, что проистекает пока ещё без их участия по другую сторону решётки.

Вот и он, можно сказать, сам себя под замок посадил. Своею собственной волей, без суда и следствия, как демиург какой-нибудь. Всё время сверхурочные брал. С работы сразу в лавку и в конуру; поест, и спать. Всё и разнообразие только в том, что в лавку через день ходил. Питался исключительно чёрным хлебом по 11 копеек, картошкой по 10 копеек за кило и бочковой селёдкой по 30 копеек. Это я для тех говорю, кто старых цен не знает. Изредка покупал ещё какие-то подпорченные фрукты и овощи по бросовой цене. Ну и пшено, конечно. Никогда не пил и не курил. Понятно, что ни газет не читал, ни, тем более, телевизора не смотрел. Телевизора у него никогда и не было. Какой там телевизор, даже одежду себе не покупал. Ходил всё время в спецовке. Но с работы всегда переодевался. Спецовки-то им каждый год выдавали. Ну и зимний тулуп тоже. На работе носил прошлогоднюю спецовку, а после работы новую. Первые-то годы поначалу костюм иногда надевал, который мать ему к возвращению из армии справила. А потом, когда вторая спецовка появилась, костюм стал беречь. В конце концов и вовсе в чемодан убрал. И достал его уже только незадолго до смерти, чтобы лучше выглядеть перед невестой.

Нельзя сказать, чтобы совсем уж опустился человек. Каждый день душ принимал после смены. Мыла, конечно, никогда не покупал, но на заводе им хозяйственное выдавали. И даже зубной порошок где-то доставал. А может, это просто мел был. Но так или иначе, а все зубы сохранил до самой смерти. Сладкого, разумеется, не ел. Один раз товарищ по работе конфеткой его угостил. Так он эту конфетку неделю потом мурыжил. Пососёт, вынет изо рта, снова в фантик завернёт и опять в карман положит. А в глазах почему-то слёзы стоят. То ли детство своё голодное вспоминал, то ли просто отвык от человеческого отношения.

Да и не был он таким уж тупым. В конце концов слесарем работал, по ремонту оборудования. Чертежи научился читать. Соображал, короче. Хотя при таком питании это и нелегко, быстро всё схватывать. А шевелиться приходилось. Простой никого не устраивали. Всем хотелось побыстрее продукцию гнать. Надо было, он и по две смены отстаивал. В обед прикорнёт в подсобке и опять гайки крутит. Начальство его скорее даже любило. На доску почёта вешало. Только вот в подсобке ночевать не разрешало. Он-то хотел было там, в подсобке, насовсем пристроиться, чтобы за комнату в общежитии не платить. А оно не разрешило. Пьянок, что ли, опасалось? Хотя какие пьянки? Все знали, что он капли в рот не пил. Даже технический спирт никогда не пил.

Мечта у него была. Хотел заработать кучу денег и зажить наконец по-человечески. Поэтому и уехал тогда на Север. Ничто его дома не держало. Отец давно смылся куда-то, мать долго болела и умерла, не дождавшись его, сына, первой полочки. Он тогда в армии служил, на Дальнем Востоке, и даже не знал, когда она попала в больницу. И на похоронах не был. Только уже в деревне, когда соседку-старушку повстречал, всю в чёрном, заподозрил беду. И точно – как обухом по голове. Он тогда матери подарки вёз: полгода собирал жалкие солдатские рублевки и в райцентре купил толстые шерстяные носки – ноги у неё зябли – и огромный кремовый торт. Всю дорогу до дому слюнки текли – воображал, как они с мамой будут этот торт уплетать, впервые в жизни. Так этот торт у него прямо в грязь тогда и выпал. С тех пор не мог он ни на что подобное даже и смотреть, не то что пробовать. А пока ехал, всё представлял себе, как мать обрадуется. Надеялся, что жизнь постепенно наладится, чувствовал в себе силы всё изменить, выбиться из нищеты, начать, наконец, питаться по-человечески. Сам-то с рождения жил впроголодь, однако никогда, в отличие от многих, не воровал. Бабушка, когда жива была, строго-настрого запретила. Другие-то мальчишки по ночам яблоки воровали в колхозном саду, а то и у соседей. Ему-то тоже, конечно, хотелось яблок, но нельзя было. Ни воровать нельзя, ни прелюбодействовать. Это он запомнил, когда ему ещё лет пять было. Ну и убивать, конечно, тоже, это уж само собой. А ударят по правой щеке, подставь левую. Поэтому от окрестной шпаны он всегда держался подальше. И не только потому, что с этой братией заповеди соблюдать практически невозможно, но и потому, что хочешь не хочешь, а с этими типами вдобавок ещё и делиться надо. А как делиться, если дома хоть шаром покати?

В школе-то его почти не обижали. Он и там держался в стороне, но вредным никогда не был. Всегда давал списать. Учился не то чтобы хорошо, но и не плохо. Читать любил. О путешествиях в дальние страны, о каких-то других мирах. О давно прошедших временах или, наоборот, о будущем. Пожалуй, о будущем больше всего. Но только о светлом будущем. Антиутопии вызывали у него отвра-

щение. Почти такое же, как и повествования о наших трудовых буднях. Нравилось ему то, чего на самом деле нет: «Затерянный мир», «На краю Ойкумены», «Алые паруса». И ещё любил книги о животных. Да и сами животные были ему как-то даже ближе, чем люди. Понятнее, что ли. Пусть не такие разумные, но зато искренние. И те к нему тянулись. Чувствовали родственную душу. И кошки, и собаки. Считали его за старшего брата. Даже когда ещё совсем маленьким был. «Мы с тобой одной крови – ты и я», – говорил он какому-нибудь лохматому псу, и тот соглашался, понимающе виляя хвостом. Но больше всего ему нравилось разговаривать с птичками. Когда они жили на хуторе, это ещё до школы, была у них большая старая яблоня, в тени которой он часто устраивался с книжкой в руках. Там, в ветвях, всегда сутились разные птички: поползни, синички, соловьи, славки, трясогузки. Он слушал их щебетанье и постепенно научился различать их по голосам. А потом и сам стал посвистывать не хуже того же соловья. И когда он свистел, птички замолкали и садились на ветки поближе к нему и внимательно слушали, наклонив вбок свои маленькие головки.

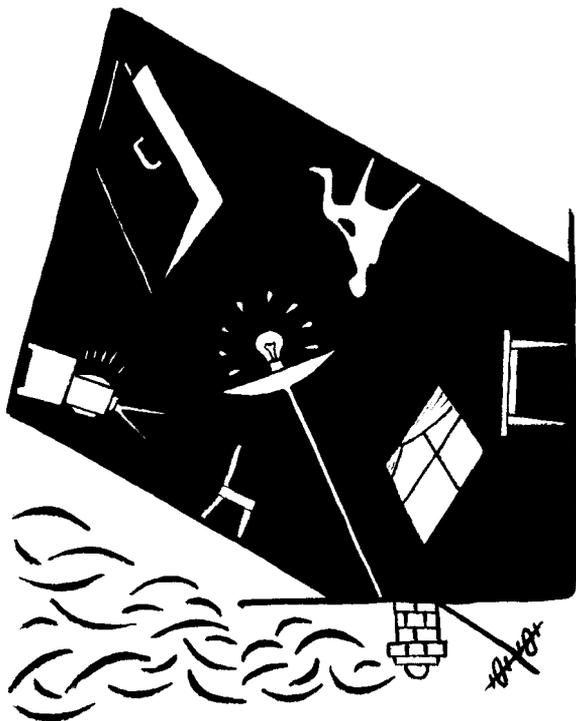
Он любил эту жизнь, как все хоть сколько-нибудь здоровые дети. И летом хорошо – можно бегать босиком, купаться, рыбу ловить. Солнце так ярко светит. И много чего ещё хорошего. Бабочки, жучки. И птички, конечно. И осенью хорошо. Не так жарко, и грибов в лесу полно. И красота такая! Подует ветерок, жалобно застонут деревья, начнут листья ронять. Те кружатся в сыром воздухе, как птицы, как будто прощаются до следующего лета. И что-то сжимается в груди, тоска какая-то появляется. И в то же время осознаёшь, что всё это не страшно, что всё ещё впереди, что всё повторится, что никогда этот круговорот жизни не закончится. И зимой хорошо. Холодно, но зато какое удовольствие с мороза на печку забраться. А когда отогреешься, надышать дырочку в замороженном стекле и смотреть на этот искрящийся на солнце снег, на эти сказочные деревья, покрытые инеем. А лучше всего весной. Солнце светит всё ярче. Деревья отряхиваются от снега, как будто приводят себя в порядок после сна. Синички всё веселее пикают. Почки набухают. Запах какой-то радостный появляется. И счастье как будто само в окошко стучится каплями талой воды.

* * *

Когда они перебрались в посёлок, а он уже подросток, начал он присматриваться к технике. Было непонятно, как она работает, но чувствовалось, что устроена эта техника не так уж и сложно, не то что люди. И разобраться в ней досконально вполне возможно. Каждая деталька за что-то цепляется, и цепляется всегда именно так, а не иначе, не так, как ей самой вздумается. Стал он в ремонтных мастерских пропадать. Помогал сначала двоюродному дядьке; на подхвате был. Просто так работал, из интереса. А потом и деньги стали кое-какие платить. Гроши, конечно, но всё помощь матери. Через год трактор как свои пять пальцев знал. Даже двигатель мог перебрать.

В армии у него особых проблем не возникало. С детства терпеть умел. И никакой работы не чурался. Делал всё, что приказывали, хотя порой и недоумевал. Помнил, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Раз так заведено, ничего не попишешь. В одном только пункте на своём стоял, как фанатик какой, – матом категорически отказывался выражаться. Кругом сплошной мат-перемат, от салаг до старшего комсостава. А он один как белая ворона. Интеллигентнейшие люди, и те не могли никуда деться от этой заразы. И после армии годами отойти не могли. А к нему ничего не приставало. Просто ненормальным каким-то был. Ему

Рисунки Андрея Демьяненко, Санкт-Петербург



и наряды вне очереди за это давали, и один раз даже побили. Хотя и не из тех он был, кого обычно лупят. Что-то в нём такое чувствовалось, что даже самые свирепые деды старались воздержаться. А в тот раз всё же собрались вместе и стали бить. Как стая волков. А он не отвечал. Хотя кулаки тоже железные были. И не из трусости не отвечал, а из принципа. Так сильно когда-то эти Заповеди впитал. Били его, надо сказать, как-то вяло. А потом и вовсе у всех руки опустились.

С тех пор больше его не трогали. И в глаза долгое время смотреть не могли. Даже беречь вроде бы стали. Лишней работы не наваливали. А когда сам в старослужащего превратился, совсем

легко стало. Но над салагами, конечно, никогда не издевался. Было в нём что-то по-настоящему человеческое, несмотря на всю его замкнутость. Хотя, конечно, много не понимал. Или не чувствовал. Недооценивал простое человеческое общение. И вообще, к людям с излишним подозрением относился. Не доверял. Может быть, потому, что много несправедливости вокруг видел. Казалось ему, что не то люди делают. Всё время друг друга обижают. Грызутся, как собаки из-за кости. И стремятся вроде бы к счастью, да сами же это счастье от себя и отодвигают. Поэтому и хотел всегда вырваться из этой жизни. Подняться над ней или просто куда-нибудь в сторону уйти. В какой-нибудь тихий уголок забраться, где светло, тепло, где-то вдалеке еле слышен морской прибой, а вокруг цветут яблони, и аромат этот, и эти звуки, и этот ласковый свет как будто останавливают время, не дают ему безжалостно расправиться с самим человеческим существованием.

В детстве он многое правильное понимал, чем в зрелом возрасте. И не задумывался даже, а скорее ощущал. А потом забыл. И уже не знал, что не надо жизнь свою гробить ради будущего счастья. Счастье-то надо каждое мгновение искать. Счастье-то – оно во всём: и в дуновении ветерка, и в шелесте листвы, и в стрекотании кузнечиков. В солнечном свете и в облаках, что плывут по небу. И даже в тёплом летнем дожде. Счастье везде. Надо только его увидеть. И уже не отпускать от себя. А если откладывать его на потом, то оно обидится и уйдёт. И может никогда больше и не вернуться.

К нему-то оно, правда, вернулось. Только уж очень ненадолго.

* * *

Приехал он туда летом. И всё показалось ему вполне приемлемым. И комнатёнка на троих в бараке общежития после казармы казалась весьма уютной, и условия труда были подходящими. А уж зарплата тем более. Только если так тратить, как все вокруг, то быстро ничего не накопишь. А ему хотелось побыстрее накопить и

сразу потом уехать. А те, другие, здесь капитально застряли. Приехали на время, денжат подзаработать, да, видать, ничего лишнего и не наработали. Их, конечно, тоже понять можно – после тяжёлой смены хочется и пивком себя побаловать, а то и бутылочку белого с товарищами распить с получки или по другому случаю. А если ещё за девушками ухаживать, тут и вовсе расходов не оберёшься. И на них надо тратить, и на себя. Чтобы соответствовать. Например, тройной одеколон нужен, чтобы пахнуть хорошо. Опять же, галстук желательно, как у начальника цеха. А не будешь на себя тратить, то и на них тратить бесполезно. Всё равно не оценят.

Таким-то прижимистым он не сразу стал. Поначалу был почти как все. Один раз даже цветы купил. Библиотекарше. Только без толку, конечно. Конкуренция была огромной. Ну, он не очень-то и старался. Думал: всё равно скоро уеду, а на юге девушки ещё привлекательней. Да и конкуренции такой нет. А вырывать кусок изо рта у ближнего считал неправильным. Сейчас бы его с такой идеологией вообще заткнули бы на самые задворки жизни. А тогда это ещё считалось более-менее естественным. Поэтому, может быть, к нему и относились в целом неплохо. Хотя со временем стал он совсем не компанейским. Даже за чужой счёт не пил. Понимал, что потом придётся и самому угощать. А значит, оттягивать тем самым срок отъезда. Откладывать новую счастливую жизнь ещё дальше.

В полнейшего скрягу он превратился не сразу. Катился до самого дна минимального личного потребления лет, наверно, пять. Это когда уже расценки пересмотрели, и почти все, кроме начальства, стали меньше получать, сделал последний резкий рывок, упёрся рогом: «На хлеб и воду сяду, а откладывать буду как прежде. И ни одного лишнего года здесь не проторчу. Надоело. Достали уже». А денег и тогда на книжке было будь здоров сколько. По тем, конечно, меркам. А вот хватило ли бы на домик у Чёрного моря, этого он в точности не знал. Не был в курсе цен на недвижимость.

Они-то его на самом деле вполне понимали. Хотя он, конечно, был в последние годы уж совсем из ряда вон. А они и сами-то за тем и приехали, чтобы заработать побольше и поскорее обратно, на юг, вернуться. Туда, где тепло, где цветут акации, жужжат пчёлы и порхают бабочки. Где всегда можно подойти к грядке и сорвать огурец. Где можно просто поваляться на травке. Или посидеть в тенёчке у реки с удочкой в руках.

Все хотели вернуться поскорее, да почти никто так и не вернулся. Привыкли к этой каторге. Многие и до перестройки дотянули, в отличие от него. Он-то, можно сказать, совсем молодым умер – и до сорока пяти не дожил. А многие и до пенсии дотянули с северными добавками. Только толку от этих добавок было немного. Когда поняли, что деньжища, за которые они всю жизнь гробились, с книжек в чьи-то бездонные воровские карманы утекли, худо им стало. И начало их как косой косить. Словно опять гулаговские времена вернулись, когда жизнь человеческая гроша ломаного не стоила. Один инфаркт за другим. Умирали-то не от жадности, а из-за крушения надежд. С ненавистью к этой подлой власти умирали. А он-то умирал с улыбкой на губах. С любовью. Знал, что умирает, не такой уж дурак был, но верил, что она-то хотя бы будет счастлива. Пусть даже и без него.

* * *

Наступало очередное лето, и он снова говорил себе: «Ну ещё один годик поработаю, а потом обязательно уеду. И тогда начнётся моя новая счастливая жизнь». И эти мечты о новой счастливой жизни грели его не только летом, но и в зимнюю

стужу и вообще в любую самую дрянную погоду. И никакие жизненные невзгоды и неприятности были ему не страшны. Наоборот, чем хуже ему было на самом деле, тем ярче и пленительнее представлялась ему его будущая новая счастливая жизнь. Она представлялась ему по-разному, но почти всегда с тёплым ласковым морем, с шумом прибоя, с криками чаек и самое, конечно, главное – с яблоневым садом.

А реальный мир давно потерял для него почти всё своё прежнее очарование. Собственно, от этого мира ничего хорошего пока и не ожидалось. Вот потом, конечно, другое дело. Когда денег достаточно скопится, тогда всё хорошее и начнётся. А пока – завод, лавка и конура. Изо дня в день. Из года в год. Ни в лавке, ни в конуре ничего не меняется. Всё одно и то же. Стены обшарпанные, грязь на полу, запах какой-то затхлый. И пьяные крики. Только на улице погода изредка изменяется. Зимой страшный холод, а летом невыносимая жара. А в пределах сезона всё одинаково. Зимой весь день темно, как у негра за пазухой, а летом всю ночь свет можно не зажигать. Что первая смена, что вторая, что третья. Никакой разницы.

Это ему ещё повезло, что во вспомогательный цех попал, да к тому же слесарем по ремонту оборудования. А попади на конвейер, давно бы свихнулся, с его-то здоровьем и отношением к жизни. А тут то одно, то другое, то третье. Приятное разнообразие, короче. Вчера планетарный редуктор перебирал, сегодня станину координатно-расточного станка шабришь, а завтра зубошевинговальный полуавтомат налаживаешь. Не всегда заранее и знаешь-то, что к чему, а всё равно справляешься. И всё потом работает. И все довольны. И даже иногда какая-то гордость, что ли, за свой труд появлялась. Ощущение того, что не зря небо коптить. Только, конечно, редко. Под настроение. Потому что очень уж уставал. Прямо как ломовая лошадь вкальвал. Если в цехе сверхурочных не было, в авторемонтной мастерской находил. А домой добирался, перекусывал на скорую руку – и в постель. Иногда только книжку какую на ночь почитает, и всё.

На работу никогда не жаловался. Можно даже сказать, по-своему полюбил. Хотя каторга та ещё. Вообще, замечено, что невозможно хорошо делать своё дело и не получать от этого никакого удовольствия. Если у вас с головой всё в порядке, конечно. Так уж в Природе устроено. Где причина, где следствие – это её, Природу, не интересует. Для неё важны взаимосвязи, которыми она и пронизывает всё сущее, то есть саму себя. И обеспечивает тем самым свою же собственную устойчивость и гармоничность. В том числе и в человеческом обществе. Хотя человек, конечно, особая штучка. Но всё равно. Вот, допустим, любите вы кого-нибудь и стараетесь сделать этому человеку что-нибудь хорошее. И отношения ваши от этого день ото дня крепнут. А другого, к примеру, терпеть не можете. И раздражает вас, на самом деле, не то, что он вот именно такой, а как раз ваше к этому отношение. А вы начните оказывать этому человеку знаки внимания, сделайте что-нибудь приятное, и увидите, что ваша неприязнь сама куда-то уходит. Пройдёт немного времени, и вам уже будет казаться странным, что когда-то вы испытывали такое отвращение к этому довольно симпатичному, хотя, конечно, и своеобразному человеку.

Надо сказать, что и к нему тоже постепенно привыкли. Ну не пьёт человек. Ну не матерится. Странно, конечно. А может, просто больной или старообрядец какой? Это, в конце концов, его личное дело. Ну, взносов не сдаёт. В общество книголюбов вступать не хочет. Зато этих самых книг прочитал, может быть, больше, чем весь их поголовно охваченный участок. Что, кстати, и подтверждает предположение: не всё у этого человека с головой в порядке.

А и действительно, странной он был всё-таки личностью. Считал, что каждый предмет надо именно так и называть, как его в первый раз назвали. Никак не мог понять, почему и втулочно-пальцевая муфта – хе...на, и фрикционная муфта – тоже хе...на, и даже поводок с качающейся рифлёной шайбой конструкции Березовского – всё та же хе...на. Для чего тогда вообще русский язык существует, если можно обойтись всего тремя словами, производя из них все возможные части речи? А ведь действительно обходились. И с довольно сложной работой не хуже его справлялись. Просто у них эти названия особо в голове не задерживались, а предмет рассмотрения и сам производственный процесс воспринимались непосредственно, безо всякой там символики.

В общем, по-разному у них мозги были устроены. Поэтому и общий язык с трудом находился. Работал он по этой причине в основном в одиночку. А когда помощника при необходимости давали, так требовал по-своему: уж если дисковый шабер, так дисковый шабер, а если фасонный – так фасонный. А проверочную рамку будьте любезны, уважаемый товарищ, так и называть. И никаких тебе хе...н.

* * *

Из времён года больше всего он любил, как и многие другие, весну. Весной вся природа пробуждается, и даже ипохондрики оживляются. Когда под лучами солнца начинал таять снег, и капли воды барабанили по жестяному отливу окна, он радовался и думал, как в прежние, беззаботные годы: «Вот оно, счастье-то, и капает потихоньку, как эта талая вода». Капли счастья. Капли, которые Господь прописывает всем отчаявшимся, забытым, уставшим от жизни и потерявшим надежду.

* * *

Самой большой радостью (в жизни) был для него, конечно же, сон. Потому что во сне он не только отдыхал и восстанавливал свои силы, но и возвращался обратно, домой, в юные годы, на заливные луга, в грибные леса, в милый заброшенный хуторок, в садик, под свою любимую старую яблоню, где он по-прежнему пересвистывался со своими птичками, в ту деревенскую тишину, в тот аромат цветущей сирени...

Сон постепенно и становился для него тем маленьким счастьем, без которого человек хиреет и преждевременно умирает. И когда он бодрствовал, а голова не была занята работой, он чаще думал теперь уже не о своем прекрасном будущем, ради которого он и впряг себя в этот хомут, а о том, как бы поскорее лечь в постель и вернуться в прошлое.

А прекрасное будущее отодвигалось всё дальше и не вызывало уже такого душевного трепета, как прежде.

– Ну что, ещё годик поработаешь? – спрашивал мастер участка, каждый раз всё более утвердительным тоном. А потом и спрашивать перестал. Таких, как этот, много через него прошло. И все остались.

Но закрепить человека всё же надо было. Не ровён час, мог и сорваться. Тем более что странный какой-то был. А работника такого ещё поискать. А тут готовый. Всё знает. Не подведёт. В это время как раз однокомнатная квартирка освободилась. Тот человек быстро наверх пошёл. И повышать его надо было во всех отношениях. В том числе и в квартирном смысле. Мебель почти всю новому жильцу оставил – куда её девать? Даже денег не спросил. Во-первых, наслышан был, что новый квартирант самого Плюшкина за пояс заткнёт, а главное, гово-

рят, ему это как-то компенсировали. А нашему тоже сказали, что мебелью его премировали за трудовые достижения. А иначе мог бы и отказаться. Плюшкин не Плюшкин, а свою рабочую гордость тоже имел. Подачек не принимал. Да и, честно говоря, сам мог любой гарнитур купить. Чисто теоретически, разумеется. А практически так в спецовке и ходил. А спал на штопанном-перештопанном белье.

Перебраться было не трудно – бельишко в узелок, остальное в чемоданчик. Да улицу перейти. Правда, сомневался слегка – квартплата-то большая. Выход, впрочем, тут же нашёлся – поселили ему с ведома замдиректора двоих командировочных. Я так думаю, что этот вариант замдиректора заранее имел в виду, когда квартиру предоставлял. Знал людей как свои пять пальцев. Собаку на них съел с потрохами. И стала квартирка вроде дополнительной гостиницы. Сам в прихожей, на диванчике, а гости в комнате. Ещё одну кровать профком выделил. Кто знал – качали, конечно, головами. А кто лучше знал, наоборот, удивлялись, как это он ещё парочку жильцов в прихожей не поселил, да на кухоньке хотя бы одного, благо и ванная комната имеется.

А спалось ему действительно везде хорошо, хоть в прихожей, хоть в ванной, – таким неприхотливым был. Сразу проваливался. То в прошлое, то в будущее. Правда, будущее даже во сне как будто в туман от него уплывать стало. И на прошлое иногда похожим становилось, так что трудно даже отличить. Те же луга, те же леса, то же синее небо. Яблоневый сад вроде колхозного, хотя и его собственный. Ну, правда, море, которого он на самом деле никогда не видел, а только читал о нём да слышал – самое синее в мире. А где конкретно – в Крыму или на Кавказском побережье, неизвестно. Надписей никаких он там не видел, чтобы сориентироваться можно было. А спрашивать стеснялся. Опасался, что за психа примут.

* * *

Много разных людей ему снилось. И всё больше женщины. Чаще всего молодые и красивые. Столько женщин он в своей жизни точно не видел. Просто негде было. А из известных никто не снился. Ни крановщица, ни библиотечка, ни работницы столовой. Тех-то он и так редко видел – в столовую почти не ходил, разве что иногда подливку от мясных блюд за какие-то копейки покупал. Хоть и с дотацией обеды, а всё равно казалось ему, что не по карману. Спал он крепко и во сне не понимал, что это на самом деле ему только снится. Тем более что сны были реальными. Как сама жизнь, безо всяких там фантазмагорий. Поэтому ничего такого себе в этих снах не позволял. Никаких поползновений. Вёл себя вполне корректно. За разные места дамочек не хватал, не то что некоторые. Просто ухаживал, как умел. Точнее, как в книжках читал. И деньги для этого у него там имелись. Так что было это именно будущее, а не что иное, – уже после того, как бросил он эту свою добровольную каторгу и все деньги с книжки снял. Иногда, правда, он внезапно опять оказывался в спецовке, а в карманах, естественно, шаром покати. И это, конечно, сбивало его с толку. Хуже того, бывало, что он вообще в самый неподходящий момент оказывался вдруг голым и тогда прикрывался неизвестно откуда взявшейся газеткой. В таких случаях он начинал беспокоиться о бумажнике и, как правило, просыпался. Такое случалось обычно зимой, когда с него сползало одеяло.

Но если не считать этих мелких и редких неприятностей, всё во сне было несравненно привлекательней, ярче и радостней, чем в реальной жизни. Не



то чтобы счастье, но очень близко к тому. Это была буквально вторая жизнь. А может быть, как раз первая? Так ему иногда казалось. Там, в будущем, в этом якобы сне, он только и жил настоящей, полнокровной жизнью. Там он смеялся, шутил, ухаживал за женщинами. Там он был остроумен. Он высказывал какие-то глубокие мысли, которые, правда, никак не мог потом вспомнить. Там он сорил деньгами, носил дорогую одежду, дарил драгоценности. Там он пробовал изысканные блюда и дегустировал редкие вина. Он точно ощущал все оттенки вкуса и запаха. Откуда всё это бралось? Ведь на самом деле он никогда ничего подобного в своей жизни не испытывал. Это и удивляло его, и в то же время вселяло уверенность, что та, вторая, светлая и яркая жизнь так же реальна, как и эта, серая и тягостная, и существует независимо от него, может быть, даже вопреки ей.

Сны, поначалу сумбурные, постепенно выстраивались в какую-то систему. Он уже узнавал прежние места. Какие-то дворцы немыслимой красоты. Интерьеры, по сравнению с которыми убранства Зимнего дворца или Лувра показались бы неумельными поделками. Свой собственный комфортабельный дом. Но главным, конечно, была она. Он видел её в своих снах всё чаще и чаще. И постепенно все остальные женщины потеряли для него какой бы то ни было интерес. Он искал её каждую ночь и был разочарован, если не находил. Она была неизясымемо прекрасна. В чём именно это заключалось, он не мог себе объяснить. Да, наверно, и не хотел. В ней совсем не было того кокетства, которое обычно и привлекает мужчин. Она не старалась понравиться или, тем более, обольстить. Но она не была и холодна или неприступна. Наоборот, от неё шли тепло и какой-то мягкий свет. И нежный аромат цветущей лесной поляны.

Их отношения развивались медленно и неторопливо. Выяснилось, что она была замужем и изменять своему мужу явно не собиралась, хотя и не всё там складывалось благополучно. Скорее наоборот. Её мужа он тоже несколько раз видел, мельком. И каждый раз с другой женщиной. Из чего делал вывод, что не всё ещё для него самого потеряно. Надо только подождать и не форсировать события. А ждать он, конечно, умел.

* * *

Так всё и протекало, неторопливо и в целом благополучно. Что в той жизни, что в этой. Хотя, конечно, в каждой по-своему. Но однажды произошло несчастье. Конечно, этого следовало ожидать. С любым другим это случилось бы в тех же обстоятельствах намного раньше. Но и не составило бы никакой особой трагедии. Да любой другой просто плюнул бы на это, и всё. Или покрыл бы кого-нибудь матом. В крайнем случае взял бы отгул на пару дней. Или напился бы с товарищами. Но он-то ничего этого сделать не мог. Потому что никогда ничего подобного не делал.

Все последние дни были очень напряжёнными. Ему даже не пришлось искать себе дополнительной работы – работа сама искала его. Два больших координатно-расточных станка почти одновременно стали давать брак. Расточники, несмотря на всё своё умение и старание, не справлялись. Требовался капитальный ремонт. А детали надо было сдавать срочно, иначе срывался правительственный заказ. В прорыв бросили лучших ремонтников, в том числе и его. Пришлось разбирать шпиндельный узел. Срочно изготовили новые роликовые подшипники. Наружные кольца обрабатывали окончательно в сборе с гильзой, а внутренние – в сборе со шпинделем. Перед сборкой нагрели их, как и полагалось по технологии, до восьмидесяти градусов, поместив в масло. А когда стали охлаждать наружные кольца, выяснилось, что вихревая холодильная установка не работает. Посоветались и решили жидкого азота плеснуть. В лаборатории достали. А чего ему, кольцу, будет? Оно ведь железное. А оно возьми да и тресни. Не сразу, а при сборке. Ну, может быть, кувалдой там не очень удачно двинули, это точно не известно. А может, сталь с дефектом была. Микротрещины, допустим. Короче, всё заново пришлось начинать. А начальник цеха ходит вокруг и матерится. И другие тоже орут. Им-то это, конечно, не мешает, а как быть, если при этом станину шабрить надо с точностью до долей микрона? Тут любой шум помешать может. Запорол, короче, слегка. Ничего, разумеется, смертельного. Однако пришлось потом и там снимать, где можно было бы раньше и не трогать. Как он их тогда сам не отmaterил, уму непостижимо. Однако факт. В конце концов всё, конечно, сделали. В тот же день проверили, сдали станки комиссии и разошлись по домам. Он, как пришёл домой, сразу в сон провалился. Тут это самое несчастье с ним и произошло: всю ночь во сне продолжал эту чёртову станину шабрить.

* * *

Наутро другая работа была, слава богу. А ночью опять что-то делал. Не одно, так другое. И пошло-поехало. Днём токарно-карусельный станок ремонтирует, а ночью – круглошлифовальный. Днём шлицефрезерный, а ночью – токарно-затыловочный. А потом и вовсе пошли какие-то неизвестные станки. Никогда он таких не видел и с трудом мог разобраться, что к чему. Иногда в холодном поту просыпался. И больше всего его удручало то, что за ночную «смену» ему ничего не платят. Не понимал, что это он сам расплачивается за ту систему жизни, которую для себя изобрёл. Готов был уже точку поставить, не в смысле самоубийства, конечно, а просто уволиться и уехать, наконец, на юг, да тут случилось нечто и вовсе непонятное. Такого, пожалуй, и другие бы не выдержали.

В тот день возился он с гидравликой старенького пресса, что стоял посередине цеха. Их там два рядом стояло; у одного масло потекло. После смены сразу домой пошёл. Вечером его командировочные уезжали. И ключи ему, естественно, вернули. Подарили на память трёхцветную стальную шариковую авторучку, блокнот агитатора в кожаном переплёте и книгу о вкусной и здоровой пище. Деньги, конечно, что полагались, тоже отдали. «И слава богу», – думал он, убирая деньги и подарки с глаз долой. «Надо пока больше никого не пускать, отдохнуть в тишине хотя бы дома». Ну, тишина-то, конечно, относительная. Перекрытия – бетонные, межквартирные перегородки – вообще неизвестно из чего. Поэтому не удивился он, когда утром разговоры где-то в районе кухни услышал. А когда вошёл чайник поставить, смотрит – сидят, голубчики. Пьют чай и его приглашают. Глаза протёр, одного даже по плечу легонько похлопал – удостовериться, что не привидение. И на завод все вместе пошли, как и в прошлый раз. Когда из дома выходили, заметил

он, как чёрная кошка дорогу перебежала перед самым носом. Кошка эта и в тот раз перебежала, да он тогда не обратил внимания. Суеверия считал полнейшей глупостью. А сейчас запомнил, как кошка на него пристально этак посмотрела и даже вроде бы подмигнула. Прямо мурашки по спине пробежали.

В цех приходит, а мастер ему и говорит, точь-в-точь как вчера: «Слышь, глянь-ка тот старенький пресс, что посередине цеха стоит, вроде масло течёт». И всё как в прошлый раз. Он уже бог знает о чём думает, а руки сами всё делают. А ноги на склад идут за запчастями и маслом. Руки делают, а голова рассуждает: «Может, я вчера соседний пресс ремонтировал? Зашёл просто с другой стороны цеха, вот и оказалось, что опять первый по ходу». А зачем ему понадобилось тогда с другой стороны цеха заходить, вспомнить никак не мог. Да и странно, конечно, что мастер ничего про это совпадение не сказал – что второй тоже полетел. Опять же командировочные: если вернулись, то где ключи взяли? Дубликат, что ли, сделали?

Вечером снова с постояльцами попрощались; деньги, трёхцветную ручку, блокнот и поварскую книгу сунул опять в комод. Думал, там же и вчерашние лежат, так нет – сколько ни шарил, не нашёл. Хотел даже водки хлебнуть – гости полбутылки оставили, опять же как в прошлый раз, – да передумал. Ночью провалился вообще в никуда – никаких снов. А утром даже и не удивился – сидят, чай пьют.

Опять кошка подмигивает. Мастер, конечно, то же самое говорит, как попугай. Третий пресс? Так их всего два. И не бывает, чтобы на следующий день после ремонта гидравлики снова масло потекло. А если бы и случилось, так мастер бы не промолчал. Такого бы навесил, что навек бы запомнилось. «Ну хорошо, – думает, – допустим, я сошёл с ума, а эти-то что?» Стал к рабочим присматриваться. Всё то же делают, что и вчера. Само по себе не особо удивительно. Не каждый день новое задание. А всё равно такое впечатление, что абсолютно так же, как вчера, двигаются. Как автоматы. Когда за маслом в прошлый раз ходил – как раз двенадцать часов было, – заметил, что на лестнице трое стояли и анекдоты травили. Краем уха услышал: что-то про нашего дорогого товарища Леонида Ильича. Пошёл опять ровно в двенадцать – стоят те же и тот же анекдот травят. Потом вспомнил ещё, что вчера на соседнем токарном станке с программным управлением оператор отошёл куда-то – в туалет или ещё куда, – а программа сбой дала, и пошёл станок деталь уродовать. Он тогда, как заметил, стремглав выключать бросился. А в этот раз заранее выключил. Не всё, значит, зациклилось. Во всяком случае, у него-то точно какая-то свобода действий осталась. А свобода мыслей и подавно. Сначала бросить всё хотел и посмотреть, что из этого получится. Но не смог. Закончил ремонт как полагается. Думал, однако, что это он сам так решил. А как на самом деле – неизвестно.

Получалось, что он один свободен, а они все в жёсткие рамки зажаты. Хотя даже и не подозревают об этом. Им кажется, что всё как обычно, что они сами себе господа. А выходит, ничего подобного. По заданной программе отрабатывают. Как тот же станок с программным управлением. Этот-то день точно. А скорее всего, и все предыдущие тоже. Вместе с ним, между прочим. А он-то, якобы свободный, тоже один ничего сделать не может. Всё равно от них зависит. Пусть даже они и не люди, а марионетки.

Другой бы, наверно, в ужас пришёл на его месте. А как же! Попал в ловушку. Как таракан, накрытый стаканом. Никакой надежды выбраться. Хотя, с другой стороны, многие, пожалуй, и не возражали бы. Особенно если бы поллитра

каждый день сама собой появлялась, как у него. И закусь. Чем не коммунизм? Каждому по потребностям. А способности у нас, извините, уж какие есть.

* * *

Времени для размышлений у него появилось достаточно. Повезло ему, что тот день таким лёгким оказался – всего один гидравлический пресс. В первый раз ещё кое-какие проблемки были, а потом-то он уже, как автомат, всё моментально делал. Мог после просто сидеть на табуретке и думать себе сколько угодно. И шум ему не мешал – привык. Под носом станки долдонят, неподалёку гильотина грохочет, а ему хоть бы что. Сидит себе на табуреточке и в ус не дует. А захотел – пошёл газировки попил, причём в любое время. Так что в пределах дня он был, по сути дела, свободным человеком. Это вот они – как автоматы. Всё одно и то же делают. Если кто в 10.30 пошёл газировки попить, так и на следующий день ровно в это же время пойдёт. Следующего-то дня для них и не было – всё тот же самый. А для него был. Потому что он-то всё помнил. А они, видать, всё забывали. А и действительно, как же не забывать, если всё по фигу? Может, в этом-то всё и дело? Всё по фигу, так и делай одно и то же. И не рыпайся. Он-то одно и то же каждый день делал просто потому, что надо было. А мог бы и не делать. Сказал бы мастеру: «А пошли вы все куда подальше с вашим гидравлическим прессом. Вам надо, вы и ремонтируйте. А я пойду погуляю. Погода сегодня больно хорошая». Запросто мог бы так сказать, да не говорил, просто потому, что человеком был очень ответственным. Хотя иногда шальная мысль в голову приходила: «Вот они тут, как автоматы, ручки крутят и на кнопки давят. А если, к примеру, подойти и щелбана в лоб дать? Неужели неотреагируют?» И хотелось ему проверить, да совестно как-то было.

Кошке он однажды рожу страшную скорчил, а та и ухом не повела. Как будто и не кошка, а действительно фантом какой. Или голографическое изображение. А начальнику цеха корчить рожу постеснялся. А может, даже и побоялся. Знал, что о нём за глаза говорили, что с прибабахом. А тут, кто знает, могут и в психушку засунуть. И тогда уже точно не выберешься. К начальнику-то цеха он ходил не просто ради эксперимента – заявление по собственному желанию относил. Созрел наконец. Хотя надежды особой не питал. А тот посмотрел на него как-то очень странно, как будто не через дверь он вошёл, а материализовался прямо перед письменным столом, и говорит: «Извините, я сейчас очень занят. Зайдите завтра». А заявление не взял.

Завтра, конечно, то же самое. Хотя вроде бы уже и не так удивился. Но всё равно велел завтра зайти. Он ему заявление суёт, а тот ни в какую – завтра, и всё тут. А ещё через день вообще заявление порвал. Что-то в нём, видать, потихоньку стронулось с места. Делать нечего, пошёл прямо в отдел кадров. Там, конечно, говорят: «Без визы начальника цеха нельзя». Решил: да бог с ней, с трудовой книжкой; уеду, а там видно будет; с такими деньгами не пропаду. Только в сберкассе как раз предпоследний четверг месяца оказался. И никакими силами не прорваться. А без денег далеко не уедешь. Да и боязно – можно и с голоду умереть, несмотря на то, что развитой социализм. Однако собрался с духом и уехал всё-таки. На авиабилет не хватило, но в поезд сел. Бельё, правда, не заказывал – из экономии, но собирался далеко отъехать. Заснул на верхней полке крепким сном. А утром проснулся – опять на кухне разговоры. Чай пьют, фантомы несчастные. Понял тогда окончательно: придётся тут, в этом коммунизме, как-то приспособливаться. Зарплату не платят, зато и вкалывать особо не заставляют. Продукты

есть – каждое утро новая буханка хлеба, картошки кило, да селёдка в кастрюльке не убавляется. И от командировочных полбутылки водки каждый вечер. Правда, он по-прежнему не пил. Такой вот был нестигаемый человек. Пусть мир рушится, а Закон торжествует. А Закон у него с детства в голове был. Так никуда и не делся, несмотря на обстоятельства. Пить с горя считал он самым последним делом. Бед противостоять нужно. Мобилизовать все свои силы. А напиться, как свинья, и песни орать – нет, это не по-людски. Пусть даже все вокруг так делают, а он не станет. Вот на радостях чуть-чуть выпить – это другое дело. Он даже решил, что если всё же выберется из этой ямы, выпьет чего-нибудь. Марочного вина или немного хорошего коньяку. В общем, продолжал фантазировать. Этого у него никакой коммунизм отнять не мог.

* * *

Задумался он о своей прежней жизни. Ради чего горбатился все эти годы? Столько всего упустил. Превратился чуть ли не в робота. Даже стыдно стало.

А вокруг все так и продолжают двигаться, как автоматы. Заготовки устанавливают, станки включают, ручки крутят. Газировку пьют, в туалет бегают. Один и тот же анекдот рассказывают. Заявления рвут.

Стал он от нечего делать внимательнее к ним присматриваться и прислушиваться. Нет, точно – не похожи они на людей. Не люди. Сплошной мат-перемат. Разве люди так говорить должны? Наверное, настоящие люди там, в книгах. Или во снах. Говорят красиво и умно. Поступки какие-то совершают. И чувства испытывают. А этим всё по фигу. Фантомы, короче говоря. Вроде того кота.

Фантомы не фантомы, а питались явно получше него. Каждый день обедать в столовую ходили. Стал и он в столовую ходить. Экономить-то не было уже никакого смысла. Наелся на рубль до отвала, так что даже живот заболел. Правда, к утру всё как рукой сняло. Было у него своих только три с полтиной. Такая у него была дурацкая привычка – полчку сразу на книжку класть. А на расходы, на две недели, оставлял мизер. Смысла в этом особого не было – проценты по вкладам маленькие, никакой разницы, по сути дела, нет: сразу положить или, допустим, через месяц. Не положил бы тогда на книжку, жил бы сейчас как кум королю. Всё мог бы себе позволить. Правда, и трёх с полтиной на многое хватало. В кино стал ходить и в дом культуры на представление. Потом в ресторан даже сходил. Костюм для этого из чемодана достал. Хотел погладить, да потом сообразил, что утром костюм опять в чемодане окажется. Не гладить же каждый день. А надевать как раз каждый день стал, поскольку всё равно не изнашивается. Специально жирное пятно в ресторане на костюм посадил – посмотреть, что будет. Назавтра никакого пятна, конечно. На три с полтиной всего там перепробовал. Не за один раз, разумеется. И главное, музыку послушал. Жаль только, что каждый день одно и то же – и кино, и спектакль, и музыка. Но всё равно гораздо больше разнообразия, чем прежде. Просто курорт по сравнению с той жизнью.

В ресторан он, конечно, каждый день не ходил. Нечего там особенно-то и делать было. Музыка наизусть, можно сказать, выучил, блюда все перепробовал, которые в пределы трёх рублей пятидесяти копеек укладывались. Думал больше о пище духовной. Её в основном и потреблял. Тем более что только она у него и усваивалась по-настоящему. А никаких материальных ценностей перенести из одного дня в другой не удавалось. Даже пища, которую в прошлый раз съедал, похоже, не усваивалась. Как был худым, так и оставался, несмотря на усиленное питание. А вот духовные ценности сохранялись и приумножались. И эта чёртова

петля времени на них не действовала. Информация не терялась. Стал он ещё больше читать и узнавал каждый день много нового. Не только художественную, но и техническую литературу стал брать. Высшую математику начал изучать. И очень удобно: книги берёт, а возвращать не надо – на следующий день они сами на месте оказываются. В общем, как-то к жизни приспособился. Рабочую квалификацию, правда, стал частично терять: ещё бы, ведь каждый день один и тот же станок ремонтировал. Но зато с обеда отпрашиваться стал. Отпускали беспрерывно – всё же первый раз за последние лет десять просил, значит, надо очень человеку. В городскую библиотеку записался. Пожалуй, продлись это подольше, смог бы вскоре и научной работой заняться, поскольку человеком был не без способностей и, главное, упорным. Жалел вот только, что сны напрочь перестали сниться.

* * *

В поисках духовной пищи зашёл он один раз даже на открытое партсобрание. Как раз в тот день оно и происходило. Для него-то, разумеется, каждый день. Заходи – не хочу. Был бы сознательным коммунистом, так бы каждый день и проводил: с утра гидравлический пресс, а после работы партсобрание всё с той же повесткой. И даже в пункте «разное» ничего разного. Всё одно и то же. Коммунистом-то он, конечно, не был, хотя однажды и предлагали. Намекали даже на возможный служебный рост. Не позарился. А сейчас решил почему-то послушать. Подумал: «А вдруг что-нибудь про светлое будущее скажут». Ничего не сказали. Зато он сказал. Дали ему слово, скорее всего, от неожиданности. Не перебивали сначала только потому, что не поняли. Вроде совершенно спокойно говорит, безо всяких там выражений или повышенных тонов, как это у них обычно бывало. Как будто за советскую власть агитирует. А на деле такое отчубучил, что любому другому на его месте не поздоровилось бы. Не только с должности бы сняли, но и из партии бы вылетел, как пробка. Ответственные товарищи не сразу, но сообразили и возмущаться стали. А безответственные с самого начала хихикали потихоньку. В конце концов выперли его, конечно. Сказали, что завтра с ним разберутся. Ну он-то лучше них знал, что завтра будет. На прощание пошутить решил: завтра, говорит, коммунизм начнётся. Те всполошились: чего, мол, несёшь, дурак, какой ещё к такой-то матери коммунизм! А он им: по радио передавали. Сам наш дорогой товарищ Леонид Ильич Брежнев лично обещал. То-то радости будет. Может, даже и на работу ходить не обязательно станет. Потребности, говорит, начнём с завтрашнего дня удовлетворять. И профоргу цеха, дама такая солидная у них была, подмигивает.

На другой день на собрание не пошёл – хорошенького помаленьку. В библиотеку опять. Снова за математику. До линейного программирования уже добрался. Но на симплекс-методе застрял. Как сказали бы товарищи-слесаря, тут без полбанки не разберёшься. В ресторан опять отправился, благо дорожка проторенная. Не то чтобы выпить захотел, а просто не лезла наука в голову после того партсобрания. Надо было ему как-то разрядиться. Всё же светлое будущее никогда для него пустым звуком не было, как для этих борцов. А там, в ресторане, совершенно сознательно подрался – за женщину какую-то незнакомую заступился. Кавалер-то её тюфяком оказался – ему как кулачище в нос сунули, так сразу и стусевался. А наш не побоялся. Фингал посадили и ребро, кажется, сломали. Дышать больно было. Да у самого правый кулак весь разбит. А наутро – никаких следов. Как новенький.

* * *

И каждое утро даром новая буханка хлеба, кило картошки и полкастрюли бочковой селедки. Действительно, настоящий коммунизм. Да ещё и три с полтиной на карманные расходы. Вознаграждение за труды праведные. За те двадцать пять лет, что он здесь вкалывал по две смены и во всём себе отказывал. И когда он всё это обобщил, стало ему жутко смешно. Получалось, что он действовал прямо как по директивам Партии и Правительства. Строил все эти годы светлое будущее. И построил. Правда, только для себя самого. Те-то, другие, ничего этого явно не понимали. Они, похоже, вообще ничего не понимали. Фантомами были. А у него – светлое будущее всего человечества. Для него, отдельно взятого человека. Долго он тогда смеялся. А потом плакать стал. Вспомнил, что никогда больше не увидит ни деревеньки своей, ни заливных лугов, ни лесов, ни старой яблоньки. И главное, её никогда не увидит. Даже во сне.

Не верил, а всё равно надеялся. В ювелирный магазин стал заходить. Золотые кольца рассматривал и даже совсем дорогие украшения. Серёжки с бриллиантами высмотрел, кольцо тоже, с камнем, и колье изумительной красоты. В разное время заходил, как свободный человек. А если случайно в то же самое, так и посетителей узнавал, которые в прошлый раз в это же время там были. Один ему очень не понравился: всё зыркает по сторонам. Не столько украшения рассматривает, как вообще всё помещение изучает.

Как-то раз перед самым закрытием заскочил. И этот тоже там. В чёрных очках. А потом ещё двое подошли. Также в чёрных очках, с усиками, как у Чарли Чаплина, и в каких-то дурацких шляпах по самые уши. Как из американского фильма про ковбоев. И пистолеты достали. «Всем на пол», – орут. Один направил ствол на продавщицу, другой – на посетителей, а третий сначала к кассе с баулом, а потом с витрин сгребать. Он тогда и подумал: «Сукины же вы дети! Люди всю жизнь горбатятся, и то не всякому удаётся что-нибудь стоящее жене на юбилей подарить, а вы одним махом. Все остальные, значит, быдло, а вы – герои». Поднялся он с пола и врезал одному, так что тот с катушек долой. А потом и второму. А третий-то со страха в него всю обойму и выпустил.

* * *

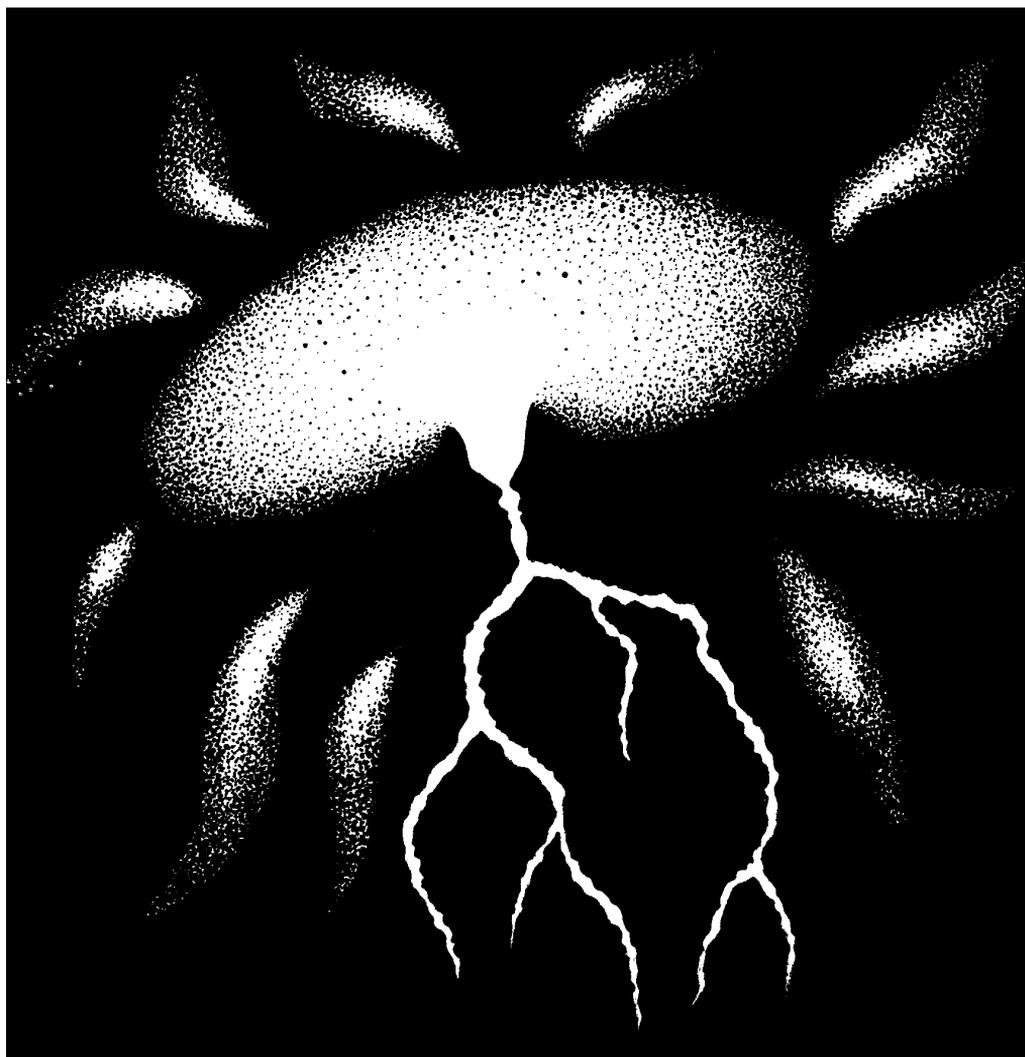
Очнулся он в реанимации. Перед тем как глаза открыть, услышал: «Не жилец». Стал решать, как же ему быть. Может, это как раз шанс вырваться отсюда? Здесь сегодня умрёт, а там, в обычном мире, снова возродится. Засомневался, однако. Может, возродится, а может, и нет. Исчезнет бесследно, и всё. Сжал он тогда зубы и решил до утра дотерпеть. Кончиком пальца врача поманил и шепчет: «Помоги, друг. Только до утра продержаться. Очень надо. Потом отблагодарю. В обиде не будешь». Тот, конечно, плечами пожал, но сделал всё, что мог. Порядочный тоже был человек, да и клятву Гиппократова давал. Теперь-то эту клятву за проформу держат. Деньги отстёгивай, вот тебе и вся клятва. А тогда не так. Впрочем, тот тоже в накладе не остался. Получил потом в конверте столько, что год мог бы не работать. А за что деньги, не помнит.

На следующее утро очнулся целым, но всё равно какое-то душевное потрясение осталось. Первым делом заявление в милицию написал относительно готовящегося ограбления. Отнёс. Хотели его самого задержать. Насилу вырвался. Руки потом долго тряслись. Ещё бы – пожизненное заключение мог схлопотать. Оставили бы в обезьяннике на ночь до выяснения обстоятельств, а вот проснулся ли бы, как обычно, у себя дома – это ещё бабушка надвое сказала. У органов право-

порядка свои законы. Иногда и посильнее других законов природы могут оказаться. Так бы и сидел до скончания века. И за что? За то, что проявил гражданскую ответственность и хотел преступление предотвратить.

* * *

От тех денег, что ему командировочные давали, толку было немного. Поздно вечером появлялись, когда магазины уже закрыты были, а к утру опять исчезали. Решил он тогда проводить постояльцев до аэропорта да там деньги и потратить. Так и сделал. И новые впечатления появились, и, главное, новые рубашку и галстук купил. Старые-то уж больно затрапезными были. Наутро, естественно, ни рубашки, ни галстука. Забыл совсем. Выходит, зря ездил. Но на следующий день опять поехал. Не всё ещё там посмотреть успел. В ресторан пошёл. И постояльцев своих пригласил. То-то они удивлялись. Все деньги специально потратил. На обратный проезд ни копейки не оставил. Решил посмотреть, что будет. Окажется он утром опять у себя в квартире или нет. Уселся в зале ожидания. Глаз не смыкал.



Момент Истины хотел уловить. Но то ли глаза прикрыл, то ли просто моргнул – как будто щёлкнуло что-то, как реле сработало, и всё: опять в постели, а на кухне эти же чай пьют, прихлёбывают.

На работе делать было особо нечего – со станком быстро справлялся, а книжки читать неудобно как-то; до обеда просто сидел на табуретке и предавался мечтам. И не спит, а всё равно как бы видит сон. Всё вокруг замечает – кто что делает; если начальство приближалось (а это он уже заранее знал, когда) – вставал с табуретки и начинал гайку крутить, как будто работает. А совесть чиста – станок-то отремонтировал. Хотя толку, конечно, от этого ремонта никакого – к завтрашнему утру опять масло потечёт, несмотря на то что сальники менял. Но это уже не его вина, такой теперь странный закон природы появился. Ни в одном учебнике физики не прописанный. Короче, теперь он сны видел не ночью, а в рабочее время. И мог даже эти сны частично регулировать. Так ему удалось своё воображение развить.

И стал он всё чаще её образ вызывать. Когда этот образ первый раз после перерыва появился, не мог даже представить себе, как столько времени без неё обходился. Так прикипел к ней душой. И она тоже спрашивала, где пропадал. Тоже чувства какие-то тёплые к нему испытывала. И как будто понимала, что с ним что-то неладное творится. Что случилась какая-то беда. Хотя ничего такого он ей и не говорил. Не хотел пугать.

И так это всё явственно происходило, что мало отличалось от реальности. И главное, там, в этих снах наяву, не было никакого заикливания. Всё как в настоящей жизни. И казалось ему иногда, что это и есть настоящая жизнь, а та, заикливая, – просто сон, повторяющийся раз за разом. А если даже и не так, то всё равно можно попытаться приложить какое-то отчаянное усилие, выложиться из последних сил и перескочить из этого мира в тот, другой, настоящий, о котором он так давно мечтал и который знал уже не хуже этого.

В один момент ему показалось, что так и случилось. Это было как удар молнии. Нет, этот мир не исчез – он продолжал его видеть: всё те же люди, те же станки, тот же неширокий проход посередине с чугунным пупырчатым полом. Но по этому проходу в лёгком летнем платьице шла она! Он узнал её сразу. Сомнений не было. Та же походка. То же милое, с мягкими чертами, лицо. Та же, чуть заметная, улыбка. Он резко встал с табуретки и сделал шаг навстречу, протягивая к ней руки. И в этот момент мир вокруг закружился в каком-то неистовом танце. Замигал свет; люди забегали, размахивая руками, как будто кто-то невидимый дёргал их за верёвочки. Потом всё подпрыгнуло и перевернулось. Гидравлический пресс оказался над его головой. Грохот гильотины, рубившей стальные листы в десяти шагах от него, достиг почти смертельного порога, а затем неожиданно пропал. И всё вокруг пропало. Ничего не осталось кроме крошечного мрака и мёртвой тишины.

* * *

Товарищи подхватили его на руки и отнесли в медсанчасть. Там и провалялся, пока скорая не подъехала. Очнулся только в больнице, под утро. Сначала думал, что у себя в квартире. Смотрит – нет. Кровать больничная, и таких же бедолаг восемь человек. Первым делом спросил, какой сегодня день. Когда узнал, что пятница, чуть не подпрыгнул на кровати от радости. Решили, конечно, что головой человек повредился. Оно и неудивительно – стукнулся-таки о чугунный, когда на пол грохнулся. Долго в сознание прийти не мог. Нёс какой-то бред, не открывая

глаза. Врачи диагноз поставили «белая горячка». Товарищи по работе долго смеялись, когда узнали. А тут ещё один специалист говорит: «Возможно, корсаковский психоз». Они потом у себя в библиотеке посмотрели, что это такое, – тоже, оказывается, с алкогольной интоксикацией связано. Обиделись даже, не столько за него, сколько за себя: врачи, дескать, как узнали, что из вспомогательного цеха, где спирта полно, так сразу «белая горячка». На самом-то деле ему даже энцефалограмму делали. Такие отклонения от нормы нашли, что все удивлялись. Прямо какие-то магнитные бури у человека в голове. А это он тогда как раз о ней думал.

Она его тоже потом навестила, когда лечащий врач разрешил. Начальник-то цеха в тот раз пошутил: «От Вашей неземной красоты рабочие в обморок падают. Если дальше так пойдёт, некому работать будет. Придётся Вам маску газосварщика надевать или, если пожелаете, противогаз, когда в цех заходить будете». Хотя всерьёз она эту шутку, конечно, и не приняла, но какую-то ответственность за случившееся почувствовала. Тем более что и начальник цеха, и парторг попросили больного навещать. Вместе с профоргом и группой товарищей. А потом и одна заходила. И каждый раз огромные сочные яблоки приносила. Откуда она про яблоки узнала, уму непостижимо.

* * *

На Север она отправилась с той же, разумеется, целью, что и все остальные. А может быть, вдобавок к тому ещё и остыть хотела. С мужем, наконец, развелась. Дети тоже определились: дочка замуж удачно вышла, а своих детей пока заводить не собиралась; сын институт международных отношений закончил и за границу уехал. На тот завод попала, разумеется, случайно. Хотя, если вдуматься, случайного-то почти что ничего и не бывает. А может быть, и вовсе ничего случайного не бывает. Просто информация не всегда доступна. Поэтому и пути, как правило, неисповедимы.

Специалистом она была хорошим, да кроме того, по-видимому, и протекцию какую-то имела. Сразу и квартиру дали, и должность подходящую – замначальника планового отдела.

Понравился он ей каким-то нездешним выражением лица. Не встречала она такого лица ни разу в жизни, хотя многих повидала. И было у неё, тем не менее, странное ощущение, что не посторонний он ей человек. Точно знала, что раньше никогда не видела, а всё равно было. Не её круга товарищ – простой работяга, без образования. А духовное родство сразу почувствовала. А вскоре поняла, что и знаний у него не меньше, чем у неё. Оценила и остроту ума, и самостоятельность суждений. Но иногда он как будто куда-то исчезал. Терял нить разговора. Отвечал невпопад. Он смотрел на неё, а ей казалось, что он её не видит. А он смотрел в её бездонные синие глаза и видел в них Чёрное море, и себя, плывущего по этому морю в маленькой лодочке, и слышал плеск волн и крики чаек. А потом это был уже не плеск волн, а шелест листвы, и он сидел рядом с ней, обнимая её, на скамейке в глубине яблоневого сада.

* * *

Поправлялся он быстро. Лечащему врачу откровенно рассказал, что с ним тогда происходило, до того как он упал. Тот объяснил с научной точки зрения, что всё это было связано с переутомлением и нервным напряжением. Частично приснилось, частично проявилось в виде галлюцинаций. А то, что женщина эта похожа на ту, что ему много лет во сне являлась, – так это просто совпадение.

Такое бывает и даже зафиксировано в медицинской практике. И не стоит этому придавать слишком большое значение. Он спорить не стал – опасался, что в психбольницу переведут. Ей он тоже признался, что она ему три года снилась. Сначала не поверила – думала, что у него просто такая поэтическая натура. Что он так образно выражается. Или просто привирает – мужчины все такие. И даже когда он признался, что влюблён без памяти, тоже не сразу поверила. Был у неё уже горький опыт. Правда, когда он стал ей её детей описывать и мужа, призадумалась. Решила, что он экстрасенс.

Чем больше они общались, тем больше он ей нравился. Короче, роман их стал бурно развиваться. Несравненно быстрее, чем тогда, во сне. Как будто он почувствовал, что немного ему уже осталось жить на этом свете. После выписки и недели не прошло, как обратно попал. В третий раз уже. И в последний. В другое, правда, отделение.

В тот же день, как выписался, уволился с работы. Начальник цеха снова сказал было: «Завтра приходи», – так он его буквально за шиворот взял. Мигом всё оформили. Хотя имели право задержать на две недели.

И в этот же день они заявление в загс подали. В ювелирный магазин сходили, кольца купить. Он её попросил ещё что-нибудь выбрать. Выбрала она крохотное колечко. Он ей и говорит: «Дорогая, можно я ещё что-нибудь возьму?» Она просила его деньги зря не тратить, поскольку домик решили какой получше купить, но он не послушался – тот самый гарнитур с бриллиантами и выбрал. Насчёт ограбления спрашивать в магазине не стал – зачем такой день омрачать. Что было, то было, а он всё, что мог, тогда сделал. Смотрели на него там, в ювелирном, как-то необычно, чуть ли не с восхищением – и продавщица, и кассирша. Ещё до того, как он гарнитур купил. Может быть, вспомнили, а может, он так похорошел, что стал женщинам нравиться. Любовь-то, она ведь чудеса творит. Определённо, женщины смотрели теперь на него с восхищением. А он не замечал. Видел только её.

* * *

Да, ослепительной красоты была эта женщина. Хотя, конечно, понятие красоты – очень даже условная категория. Когда-то красавицами считались дамы упитанные, с рейтузным ожирением, пухлыми щеками и с выпученными глазами. Сейчас другие – астеничные, с длинными ногами и с пергаментной кожей, натянутой на лице так, что даже рот не закрывается. С искусственными зубами и кукольным выражением глаз. Впрочем, и то и другое, по-видимому, не более чем стереотип, навязываемый публике теми, кому, по большому счёту, нечего делать. Хотя вокруг всех этих стереотипов крутятся огромные деньги. Благодаря им существуют целые индустрии. А держится всё за счёт того не для всех очевидного факта, что человек – не что иное, как особый, продвинутый вид приматов, та же, по сути дела, обезьяна, во всем подражающая своим собратьям, занимающим более высокое место в социальной иерархии. Ну а те, кто эту обезьянью психологию перерос, имеют на всё свою собственную точку зрения. И на женскую красоту в том числе.

Кроме него, за ней практически и не ухаживал никто по-настоящему. Не только здесь, на заводе, но и раньше. В те годы наблюдательный человек мог заметить такой странный на первый взгляд феномен: ослепительно красивые женщины не только не были окружены толпой поклонников, как это происходило, если верить исторической литературе, в давние времена, но зачастую пребывали

в каком-то вакууме. Конечно, на самом деле внимание-то они привлекали, но мужчины боялись ударить в грязь лицом, боялись не соответствовать. И делали, скорее всего подсознательно, вид, что не очень-то это всё им и нужно. Были какими-то забитыми. Жили по принципу: «Всяк сверчок знай свой шесток». Не все, конечно, но очень многие. Сейчас этого, слава богу, нет. Сейчас полно опьянённых жизненным успехом мужчин, которые думают, что им всё доступно. Что всё можно купить. И любую женщину в том числе. Но её-то как раз вряд ли удалось бы купить. Не из таковых она была.

Потом, когда вся эта история, можно сказать, завершилась своим печальным образом, один важный адвокатик сам к ней подходил – говорил, что сможет доказать, будто они общее хозяйство вели. Намекал на связи в суде и даже в обкоме партии. Расписаться-то они так и не успели – очереди в загс в те годы даже на Севере были. И завещание заверить не удалось. Главврач на симпозиуме был, а заместитель не захотела.

* * *

Судиться за наследство она не стала. И после похорон сразу уехала. Там один молодой фантазёр был, так он говорил, что вместе они в другой мир отправились. Как Ромео и Джульетта. Ему говорят: «Да видели мы, как она в аэропорт уезжала». А он: «А это не имеет значения. В том, другом мире они всё равно вместе». Называл её женщиной ослепительной красоты. Все говорят – «стерва, отравительница», а он – «ангел». На поминках-то её не было. Конечно, вряд ли бы её там заклевали – народ у нас отходчивый. Да и этот не дал бы; хоть молодой, но из тех, кто в прежние времена, чуть что, за саблю хваталась, если дело чести дамы касалось. Теперь таких почти и не видно. Теперь всё больше какие-то толстомордые тон задают. Тоже, впрочем, чуть что, хватаются. Не за сабли, конечно, а за пушки; так они эти карманные орудия убийства для большего устрашения называют. И не из-за чести дамы, а из-за денег. Горло готовы не только другим, которые не из их свинячьей породы, но и друг другу перегрызть за эти проклятые деньги.

* * *

Плохо он почувствовал себя не сразу, а только ближе к ночи. В тот день решили всё же отметить помолвку. Ну, не помолвку, какая в наше время помолвка, а тот факт, что заявление отнесли. Им бы домой поехать – к нему или, лучше, к ней, так нет, захотелось ему опять в ресторан. Прямо дурная привычка выработалась.

Хотелось ему получше её угостить, чтобы на всю жизнь тот вечер запомнился. Всё самое экзотическое заказывал. И устрицы в том числе. Она-то их есть не стала, так он обе порции проглотил. Не пропадать же добру.

После ресторана проводил её домой и, нежно поцеловав на прощание, откланялся. Он уже был бледен. Она просила остаться. Он не захотел. Она обиделась и весь вечер не звонила. Хотя и чувствовала, что не всё в порядке. Но думала, что обойдётся. А потом простить себе не могла.

Он тоже думал, что обойдётся. Врача вызывать не стал. Решил потерпеть. Всю жизнь терпел, что ж тут удивительного. К утру всё же неотложку пришлось вызвать. Дали рвотного и тут же в больницу отвезли. Делали всё, конечно, правильно: желудок промывали через зонд; целое ведро воды, наверное, прокачали порциями по пол-литра. Не заметили, правда, что он в кому впал – надо было следить или заранее интубацию трахеи трубкой с раздувной манжеткой провести. Но зато потом метод форсированного диуреза применили: водную нагрузку

усилили введением осмотических диуретиков – водной смеси мочевины с глюкозой. А после, когда не помогло, и магнитол вводили, и фуросемид. И внутривенно раствор Рингера. Только вот контролировали ли содержание калия, натрия и кальция в крови, неизвестно. И всё ли у него в порядке с почками было, тоже неизвестно. И что за отравление было, непонятно. По симптомам похоже на ботулизм: и сухость во рту, и нарушение голоса, и нарастающая адинамия. А возбудителя, вроде бы, не нашли. Поэтому и противоботулиническую сыворотку не применяли. Хотя не исключено, что её просто у них в тот раз и не было.

Под конец, когда совсем плохо ему стало, решили замещение крови провести. К аппарату Боброва подключили. Только крови такой, какая нужна была, не хватило. У него вообще редкая группа крови была – четвёртая. Она ему тогда свою кровь и отдала. Её в тот раз под конвоем привели. Лечащий врач-то ещё раньше говорил, чтобы дурака не валяли и немедленно отпустили. Они её и отпустили, да только не сразу. Поскольку сигнал поступил о преднамеренном отравлении с корыстной целью. Кто-то даже видел, как она ему в ресторане в стакан что-то подсыпала. Так многие и потом считали, что отравила, несмотря на официальное заключение. На похоронах волком на неё смотрели. Не понимали, что для неё одной и было это настоящей трагедией.

Когда кровь замещали, он в полном сознании был. Шутил: «Мы с тобой одной крови – ты и я». А голос уже почти нечеловеческий. Как будто чудище какое лесное. И откуда-то из глубины шёл, словно уже с того света.

* * *

А отпустили её только после вскрытия. Судебно-медицинский эксперт вручил копию заключения с данными патоморфической диагностики. С чувством глубокого удовлетворения вручал. А она в истерике билась. Знала, что если бы её не задержали, смогла бы выходить. День и ночь не отходила бы, но спасла. И ещё простить не могла себе, что в тот вечер домой отпустила. И даже не позвонила.

А до этого только один раз ещё разрешили ей к нему в палату зайти. Это когда он уже умирал.

Последняя ночь была у него, конечно, самой тяжёлой. В голове уже всё путалось. Врача вечером позвал, шепчет: «Помоги, друг. Только до утра продержаться. Очень надо. Потом отблагодарю. В обиде не будешь». Тот, конечно, плечами пожал, а сам думает: «Теперь тебе разве что только Господь Бог помочь может».

До утра дотерпел всё же. Точно как в тот раз. Померещилось даже, что снова в своей квартирке оказался. Услышал, как чашка о блюде звякнула и чай, вроде, прихлёбывают. Глаза разлепил: нет, санитарка это. Как будто снова пулю ему влили. Собрался было уже навсегда глаза закрыть, да передумал – вспомнилось ему, что должна она, непременно должна ещё раз к нему зайти, попрощаться.

* * *

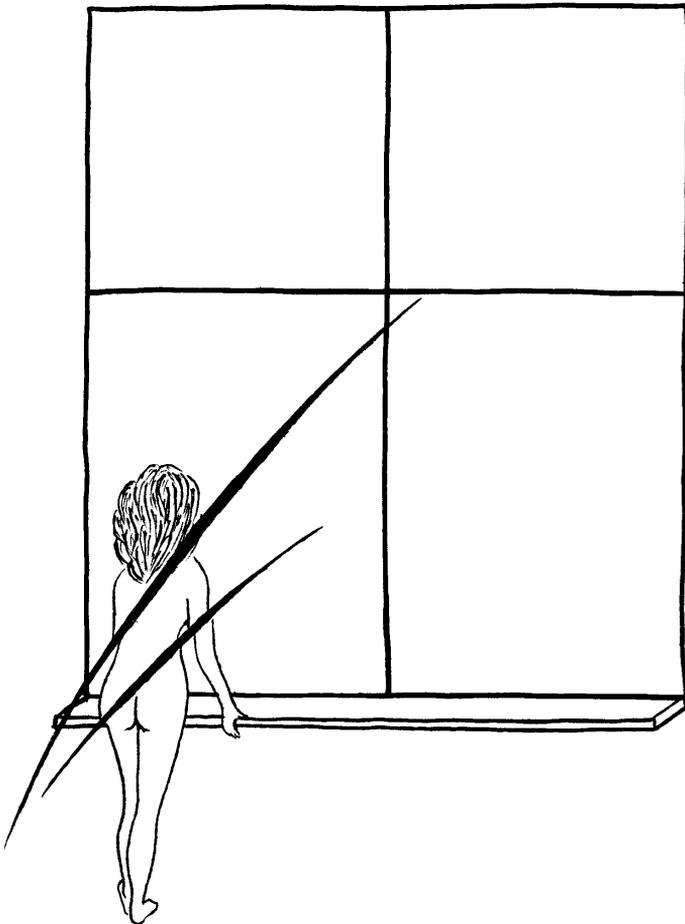
На поминках как будто всех прорвало. Не один он молчуном был. Остальные тоже особой болтливостью не отличались. А тут речи просто рекой лились. И на всё по-другому смотреть стали. Раньше думали, что он вовсе не от мира сего. Совсем не такой, как они. А теперь поняли, что он-то как раз их сущность и выражал. И их помыслы тоже. И их мечты. И вовсе не был он никаким скрягой. Выяснилось, к примеру, что когда на похороны одного бедолаги собирали, что сразу после армии попал к ним на завод и тут же угодил в аварию, так он больше всех дал. Тогда кто по три, кто по пять рублей давал, а он один сто. Правда, просил никому

не говорить. И не единожды такое, как обнаружилось, случалось. Одному как-то раз сильно помог, когда тому деньги срочно понадобились, а с книжки снять не было возможности. Дал крупную сумму без колебаний и безо всякой расписки. Много хорошего тогда о нём вспомнили. И даже то, что один против всех мог пойти, тоже теперь казалось им правильным. Человек и должен быть таким, каков он есть, а не подстраиваться под других.

* * *

Хоронили его на кладбище, хотя в то время уже почти всех кремировали – слишком трудно долбать яму в вечной мерзлоте. Хотели крест поставить, несмотря на то, что парторг возражал. Казалось им, что настоящий христианин умер. Но один старичок, тоже из их цеха, нормировщик – бывший зэк, а до того священник, – сказал, что не был он верующим. Совсем в Бога не верил. Потом, на поминках, подробно рассказывал. Оказывается, он с ним часто на эту тему беседовал. Никто из посторонних ничего и не знал. А они пытались до Истины добраться. Бывший священник-то, тот и так эту Истину знал. Она, говорил, нам свыше дарована. А кто не видит, тот и не увидит. Однако пытался, конечно, переубедить. На то он и священник, хоть и бывший. Но не смог. Вроде бы и подходящий для веры человек: и заповеди соблюдает, и никогда не матерится, и даже в загробную жизнь, оказывается, верит. В будущее воскрешение из мёртвых готов поверить, а в Бога – нет. Такой вот парадокс. Говорит: «Каждый должен хорошо своё дело делать. А уж Бог, само совершенство, тем более. А посмотрите, что он сотворил?

На мир посмотрите внимательно. Иногда просто тошно становится, когда досконально разбираться начнёшь». Священник ему: «Так это не Бог, а человек всё испакостил». А он: «Однако человек, по-вашему же, и есть творение Божье, причём самое совершенное творение, по образу и подобию созданное». Когда старичок всё это на поминках рассказывал, рабочие тоже к дискуссии подключились. Один говорит: «А то бы, действительно, Богу не создать всё сразу: и телефон, и телевидение, и железные дороги, и автомобили, и заводы со всеми станками». Инженер один в ответ: «Сначала надо техническую документацию подготовить, а потом уже станки создавать». А фрезеровщики ему: «А на хрена Богу техническая документация? У него и так всё в голове хранится». А начальник ОТК: «Сделал бы Бог станок, так кто бы его без доку-



ментации принял? В крайнем случае, комиссию приёмочную создали бы. Стали бы ходить, изучать. Сказали бы, мол, и то не так, и это не так. Никуда не годится». Ну все посмеялись, конечно. Потом один многосемейный, начальник смены, размечтался: «Хорошо бы мне Бог трёхкомнатную квартиру построил. Или, лучше, четырёхкомнатную». А другой: «Всем людям хорошие квартиры нужны, а не только начальникам». Тут один, до того всё время молчавший, и говорит: «Надо, чтобы Бог всем хорошие квартиры построил, зарплату прибавил и путёвки на юг каждый год давал». А потом подумал и добавил: «А зверюшкам там всяким разным чтобы тёплых нор нарыл». Тут все, конечно, покатались. А что? У нас, славян, так ещё до христианства повелось: на тризнах веселиться надо. И пить. Нечего тут сухой закон разводить. Веселие Руси есть пити. От этого даже и Христос не отказывался. От прочих не отставал, наоборот, пример показывал. А нюни распускать или плакать ни к чему. Товарища в великий путь провожаем. И поддержать его надо своим весельем. А то ему, может быть, первое время тоскливо там будет одному. Пока не устроится на новом месте. Бог его знает, что там на самом деле. Доподлинно никому не известно.

* * *

Рядом с могилкой выкопали ещё одну ямку – круглую. Насыпали хорошей земли из оранжереи и посадили маленькое деревце. Рабочие выложили полукругом защитную стенку из тёсаного камня – от холодных ветров. Очень красиво получилось. На зиму укрыли еловыми лапками. Не думали, конечно, что приживётся. Однако летом зазеленела. Не весной, как полагается, а ровно через год. Как раз когда она приехала могилку навестить. А на третий год, уже весной, зацвела яблонька-то.

* * *

Много лет с тех пор прошло. Никто уже и не помнит, как их звали. У всех свои заботы. Я-то, конечно, помню. Но какой смысл теперь говорить? Миллионы таких, как он, канули в вечность. И у каждого какая-то мечта была. По всей Руси их кости разбросаны. И на полях сражений, поросших ныне лесом, и в братских могилах, и на снесённых кладбищах, под проложенными по костям автострадами. И никто не помнит, как их звали. И никому до них никакого дела нет. Да что там, своих не помнят, не то что чужих. Спроси любого: «Как твоих прадедов звали?» Никто не ответит. Пожмут плечами, а про себя подумают: «А мне по фигу, как их там звали». Может быть, и не все, но многие так подумают. И только некоторым стыдно станет.

Как всё-таки их звали? Ну хорошо, скажу. Ромео и Джульетта их звали. Смеётесь? Или, наоборот, грустно стало? Оттого, что нет у нас своих символов для такой любви? Ну ладно. Нет так нет. Тогда по-другому, по-нашему: звали его Иванушкой-дурачком, а её – царевной Несмеяной. Он, дурачок-то, прямо перед свадьбой пошёл в пивную, нажрался как свинья, налопался вдобавок несвежих раков да взял вдруг и помер. Может, от раков, а может, от ливерной колбасы. Раков-то в те годы уже, кажется, в пивных не подавали. А устрицы тогда ещё в тех местах даже и в ресторанах не водились. Откуда в такой дыре свежие устрицы? Ну, первый-то секретарь обкома действительно любил их есть, но при чём здесь ресторан? Не было там в меню никаких свежих устриц. А раз свежих не было, то и тухлых быть не могло. Это ему всё спяну померещилось. Тем более что директор ресторана на хорошем счету у органов. А скорее всего, просто перепил он, а может, и по башке где-то стукнули. Вот и все дела. И никто не виноват.

Не мог, кстати, паразит, до свадьбы подождать недельку. Или хотя бы завешание оформить как полагается, у нотариуса. Одним словом, дурак-дураком...

Кто знает, может быть, такова на самом деле правда жизни. Только мне ни такой правды, ни такой жизни не нужно. Тошнит меня от такой правды жизни. Как будто сам этих несвежих устриц или раков наелся.

Правда жизни зависит и от нашей точки зрения на неё. От того, как мы к этой правде относимся. И к этой жизни тоже. Наше-то отношение эту жизнь и формирует.

* * *

В тот год стояло необычайно жаркое лето. А в тот день, когда он умирал, солнце как-то особенно припекало. В палате было невыносимо душно. А он замерзал. Она клала ему к ногам грелку и держала его руки в своих руках. И шептала ему что-то ласковое. И тогда он засыпал. И снился ему заснеженный яблоневый сад. Яркое солнце било в лицо. Они сидели вдвоём, обнявшись, на садовой скамейке и смотрели на яблони. И все деревья были усыпаны огромными жёлто-красными яблоками, блестящими на солнце от растаявшего снега. И капли воды падали в снег одна за другой, как будто отсчитывая мгновения какого-то непонятого, но такого пленительного счастья...

Санкт-Петербург.

Евгений Пирадов

О себе сообщаю следующее: родился я в 1957 г. в Чечне, недалеко от Грозного. С мая 1958 г. живу в Ленинграде–Петербурге. Стихи начал писать в младших классах школы. В 1986 . окончил французское отделение филологического факультета ЛГУ. В течение 12 лет работал переводчиком технической литературы, что никак не сопрягалось с моим гуманитарным складом, поэтому в один поистине прекрасный день я оставил эту, якобы престижную, работу и пошёл «в люди», «в народ»: стал грузчиком. Думаю, что стихи мои от этого только выиграли, стал преобладать белый стих, как знак освобождения от офисных оков.

Кроме того, мною переведены на французский язык несколько стихотворений О. Манделштама. Из этой работы я вынес драгоценный для себя опыт практического обращения с семантикой слова.

Я не помню то лето...

* * *

Я не помню то лето – да и как я могу его помнить?
Слишком мал был ещё, и даже ещё меньше –
Только с маминых слов и знаю о том,
Как втроём мы – ещё не было брата – под Киев поехали,
В то село, где мама на свет появилась.

А если бы помнил, то рассказал бы,
Как поезда и вокзалы меня оглушили,
Как в Киеве встретил нас Днепр-дядька,
Посадил на свою живую спину,
И плыть так чудно, ведь погода стоит тихая.

Вот плывут нам навстречу белые домики в мохнатых шапках
И деревья, точно зелёные леденцы на длинных палочках,
И берега впереди растворяются, как двери Сезама, –
Мне сказку такую читали.

А село наше – на горках да в ложбинках, всё в садах вишневых.
Там рыбу в прудах *пауками* ловят, – это сетки такие большие.
А теленок соседский больно хвостом дерётся.
Дед Андрей на дворе зерно молотит, и земля вся гудит и трясётся.
Это мамин дед, а мой – прадед.
А вечером звёзды спускаются к ужину:
Им, наверное, хочется тоже груш, галушек и вишен.

Я не помню то лето – да и как я могу его помнить?
Ведь в том году я только осенью родился.

* * *

Что делать, если дождь? – В дождь хорошо спать.
Что делать, если снег? – На лыжах по снегу бежать,
В белой метели блуждать, города снежные брать...
Если лето – варенье летом варить,
А зима – зимой чай с вареньем пить.
Если звезда упадет – желание загадать,
Постоять, помечтать...
Что делать, если стареет мать?

* * *

Вот первый упал, покатился
В траву зеленую.
За ним – второй, третий...
Без счёта.
И лежат вперемешку
Шапки и головы –
Жёлуди.
Дунул ветер,
И кровь набежала,
Кленовая.
Жёлуди-жёлуди,
Это же люди.
Желтые люди,
Старые и молодые.
И никто из них не избегнет
Такой участи:
В старом Китае об эту пору
Начинаются казни.
Не наступить бы!..

ПЬЕРО

Переулок – ущелье.
Дома – словно горы.
Между крышами – узкое небо.
Кажется: идешь под потоком.
Чудится: в подземелье.

Стена из стекла, как ледник,
отражает бесстрастно. Написано: «Бани».
У дверей никого.
Старушка проходит, перебирает губами.
Не слышно слов.

Вот перекресток. Солнце мягкое.
 Ветер. Стоят облака.
 Осторожно из-за угла выглядываю,
 лицо – мука-мука.

Осенние порваны паутины:
 будто прошла *Она*,
 будто ещё дрожит струна
 и смеются глаза Мальвины.

СЛУШАЕМ ШОПЕНА

*Lento, ma non troppo**

О, как странно музыкант играет!
 Совсем не так, как это обычно играют другие:
 Чуть медленнее... К тому же
 Намного дольше тянет паузы,
 Насколько это возможно, чтобы ничего не испортить,
 Не вспугнуть доверия того, кто это сочинил,
 Доверия к самому себе,
 Доверия тех, кто его слушает.

Эти паузы как предчувствия, как ожидания, –
 Он ждёт, и мы ждём вместе с ним, –
 Чтобы где-то вверху родилась,
 Набухла, от чего-то оторвалась
 И упала в подставленную ладонь
 Ещё одна чистая сверкающая капля.

И он позаботится, чтобы ожидание наше
 Не было чересчур долгим,
 Чтобы наши руки не опустились...
 Как чудно музыкант играет!

* * *

Это всё было нужно:
 комната, где мы с тобой были
 вместе с толстым парнем, который
 сидел в стороне тихо;

твой голод внезапный и просьба
 поговорить с толстяком, чтобы
 он оставил тебе часть обеда.

* Не слишком медленно (итал.).

Было нужно, чтобы слова мои, уговоры,
крики и кулаки даже
ему были, наверно, невнятные:
ведь он мне никак не ответил
и от тарелок не оторвался.
Нужен был и стакан чистый –
обещание хрупкое чая –
всё, что смог для тебя найти я,
и от чая отказ твой понятный,

и вопрос мой: «Чего же ты хочешь?»,
и ответ еле слышный: «Свёклы...».

И еще было нужно, чтобы
раздались шаги за дверями,
когда мои губы коснулись
твоих губ бескровных, припухших,
как дорога в холмах, меловая.

И последнее было нужно:
на дороге шагов нарастанье,
перед тем как проснуться.

* * *

Полосатый, вышел из-за кресла,
С кличем звонким вспрыгнул на колени,
Ухо чешет о «Китайскую поэзию»,
Как Суншань свою главу о высь небесную.

Вот затих и ровно дышит в палец,
Щурит глаз в пушистом оторочье.
Расскажи, домашний мой китаец,
Что тебе приснилось этой ночью.

Может, лето, утро на Дунтине.
Рыбаки развешивают сети,
И тебя тревожит в паланкине
Запах самый чудный в целом свете.

Или, может, ты увидел снова,
Как уже не раз бывало прежде,
Яшмовый бассейн в саду айвовом,
Где навек простился ты с надеждой.

Где, блеснув, пропала рыбка золотая.
Сколько ни таись за шёлковой дверцей,
Не поймаешь. Осень. Листья облетают.
Вскрикнет обезьяна, да занует сердце.

* * *

За уход в тяжёлой болезни,
За любовь твою и за ласку,
Будь он ирбисом – барсом снежным,
Или леопардом африканским,
Он тебе нарвал бы звезд, кипящих
В тёмно-синем гималайском небе
Или над горой Килиманджаро.
(И в косулях ты б нужды не знала.)

Будь он даже тем, кто есть он,
Только бы немного помоложе,
Только капельку бы попроворней,
Наловил бы он дроздов певучих,
Что щебечут на ветвях корины
У калитки родительской дачи.

А принёс он тебе только мышку,
Только мышку, серую полевку,
Положил к ногам твоим с поклоном
За уход в тяжёлой болезни,
За любовь твою и за ласку.

Эта мышка дорогого стоит:
Всех дроздов, косуль, всех звезд лучистых.

* * *

Если когда-нибудь скука или жажда обновления
вас позовут пуститься в Южное море, –
когда, не доверяя ничьим свидетельствам,
вы захотите измерить собой безмерность этого океана, –
и если однажды корабль ваш набредёт на одинокий остров,
и вы заметите, как на берегу мечется человек,
машет руками и что-то кричит,
вам не следует ложиться в дрейф, бросать якорь и спускать шлюпку,
не следует *спасать* этого человека, как бы вашей скуке
ни было полезно узнать его историю,
как бы вам ни было его жаль.

Ибо если человек этот мечется, размахивает руками,
если кричит испуганно, взывая, взывая о помощи,
значит, ещё не исполнились сроки,
значит, он ещё не познал самого себя.

Ещё не заседал он многократно поля и не снимал урожая,
ещё не строил лодку,
не начинал ещё читать Книгу и заговаривать с Богом,

который здесь ближе, чем в странах, где заходит солнце,
не полюбил ещё часами смотреть с вершины острова
на очерк океанской чаши...

И в день, предшествующий субботе, ещё не спас того,
кто стал ему другом и кто, уже в свой черед, *спас* его самого,
научив быть Человеком.

Поэтому прошу вас, умоляю и заклинаю:
продолжайте свой путь, и пусть видение вашего корабля
добавит горьких строк в его дневнике,
но, быть может, это будет лучшее,
что вы совершите в жизни.

* * *

Дом у застывшей реки. В огромном подвале
перешёптывания гардеробных старушек:
губы ладошками прикрывая,
они словно наши оберегают уши

от будничной прозы, как будто от скверны.
(Может быть, их так научили?)
А мы, чем напитать зрение, ищем: наверно,
и потому, что для слуха пищей здесь нас обделили.

И видим окно: полукружие суженное,
решёточный редкий гребень,
зимнего дерева чёрное кружево
на потускневшем вечернем небе, –

как будто гравюра или витраж.
Так начинается Эрмитаж.

* * *

Отцу и сыну

Это странно и страшно:
становишься старше отца,
с каждой минутой и часом всё старше.
Вот его чувствуешь как близнеца,
вот он самым младшим становится братом.
Может, и сыном мне будет когда-то...

С каждой минутой и часом всё дальше,
но так же мы рядом в пути без конца:
лишь старший стал младшим, а младший – старшим,

отец вместо сына, сын вместо отца.
И так же ладошка теплеет в ладони.
Как будто мы вечны и тлен нас не тронет.

БИОГРАФИЯ

Родился у самого бледного, самого мелкого моря:
прибрежные серые камни, тина – бурая вата.
Мечтал о морях настоящих, о дальних морских походах,
о звёздных торжественных вахтах.
Стал офицером флота.
Там, наконец, он, где солнце всплывает,
где рыжие сопки – коровы Востока – пасутся у океана,
искрится песчаное дно, и крабы бегут угловато.

И частые были походы, не дальние только,
чтобы скрыть, схоронить в океане
отходы геройских атомных кашалотов:
служба такая.

Конечно, он спился, как всякий могильщик;
теперь вот в отставке, простой работяга.
Он мне говорил: «Человек я – счастливый,
с женой, понимаешь, всё у нас ладно.

Вечерами бывает: она на дежурстве,
дома тёща шипит по углам, тонет дочь в Интернете,
и к жене на работу я с пледом, подушкой
ухожу – говорить, говорить до рассвета».

Почему-то о звёздных подумал я вахтах.

Санкт-Петербург.

Елена Сыромятникова

*Баньши – фея-плакальщица, существо из ирландского и шотландского фольклора. Слово происходит от староирландского *ben síde*, в современном ирландском звучит как *bean sídhe* или *bean sí* (*bean* – женщина, *sídhe* – сиды или фейри).*

Традиционно, если человек умирает, его принято оплакивать на его похоронах, и делают это женщины-плакальщицы. Голос баньши похож одновременно на собачий вой и жалобные крики птиц.

Баньши

То ли и правда девки были моложе, вода мокрее, а осень 1992 года теплее, солнечнее и суше, то ли сейчас память так её рисует... Это было начало второго курса, новые люди, новые знакомства. Один из первокурсников вывел меня и мою боевую подругу Лерку на компанию неформалов. Мы немного диковатыми глазами, но не без какого-то восхищения смотрели на все эти ирокезы, фенечки, булавки и фак с крылышками, нарисованный шариковой ручкой на брезентовой ветровке Перца.

В даже не полу-, а на три четверти разрушенный крошечный заброшенный домик на Сухом логоу, где-то почти на самом дне его, я пришла в длинной, до земли, бежевой юбке в складку, какой-то светленькой блузочке, с причёсочкой и в очёчках. Народу было немного: человека четыре парней, 10–12-летний не то беспризорник, не то сын алкоголиков и собака по кличке ВЧ... Стены, прогнувшиеся внутрь и нависающие, как пещерные своды, уже, наверное, лет 20 не помнили, что такое штукатурка, посередине единственной комнатки четыре на четыре стоял кривой столбик, подпирающий крышу. В большой, серой от тяжёлой жизни кастрюле на печке красного ломанного-переломанного кирпича закипала вода. Юный, но уже закоренелый панк 17 лет от роду, Граф, и вышеупомянутый Перец варили национальное блюдо нефорской кухни – суп из семи ингредиентов.

Рецепт:

картошка урожая позапрошлого года, пожертвованная чьей-то бабушкой (около килограмма мелких, как полукультурка, сморщенных комочков, их нужно исхитриться почистить так, чтобы осталось что-то кроме очисток);

кем-то найденный где-то пакетик размороженных, слипшихся в кашупельменей (грамм 300–400, эту массу нужно ножом разделить на небольшие кусочки);

скукоженная полузасохшая морква, принесённая кем-то в хибарку давным-давно и найденная только сейчас (поступать с ней, как в пункте первом);

что-то там ещё, наверное, было такое же антикварное, я просто не помню, но самое главное – это белая фасоль, высыпанная из вскрытого марокаса (жестяная банка, дырочка залеплена синей изолентой), которым брэнчали на

сейшенах в подземных переходах и метро, аккомпанируя нескольким в унисон расстроенным гитарам...

Я сидела, не разуываясь, поджав ноги, на грязном жёстком топчане, вдыхала запахи сырой земли, дымящей слегка печки, дешёвых сигарет без фильтра, ВЧ-псины, прелого дерева и божественный, упоительный аромат этого, оказавшегося потом невероятно вкусным, варева. Напротив меня в каком-то невообразимом образе искалеченном кресле, обитом красным автобусным дерматином, сидело, играя негромко на гитаре, юное существо, которое почти весь прошедший год периодически попадалось мне на глаза в метро, на улицах, на ступенях ДК «Октябрьской революции», возле «Красного факела», везде... У меня каждый раз глупо замирало сердце при виде миниатюрной тонкой фигурки, крупных черных кудрей, закрывающих пол-лица, падающих на плечи, схваченных иногда на лбу красной верёвочкой, маленького рта с капризно выдающейся нижней губой и – когда волосы не падали на лицо – под длиннющими чёрными ресницами – огромных зелёных глаз... Я никак не могла определить пол, впрочем, это было неважно. Я всё равно не могла осмелиться просто подойти и познакомиться с чудом.

И вот оно сидело напротив меня, и я уже час или два как знала, что это мальчик, что ему всего пятнадцать лет, что зовут его Анархист и что мне конец.

Мы доедали ложками из кастрюли самое вкусное в моей жизни варево, о чем-то болтали, собака то вбегала, то выбегала в приоткрытую дверь, в печке ещё потрескивали угольки... Где-то невдалеке было слышно электричку, и чего я ещё не знала – так это того, что это грохот уже летящей под такой же крутой, как склон оврага, к которому прилепился наш ветхий домишко, откос всей моей, каким-то образом до сих пор бывшей упорядоченной, жизни.

1

Так мы с Леркой стали общаться с хиппи и панками, которых, несмотря на, казалось бы, непримиримые идеологические разногласия, объединяли в одну большую семью простое юношеское желание не быть «как все», жить по своим правилам, легкая форма социопатии, неприятие меркантильного и жестокого мира и – соответственно – неприятие миром их самих. Тяга наша была вполне естественна – мы и сами были такими же.

Однажды вечером, часов в десять где-то, я вышла из душевой и услышала стук в дверь. На пороге стоял абсолютно незнакомый парнишка. Невысокий, коренастый, светлые коротко стриженные волосы, голубые глаза, слегка извиняющаяся улыбка: «Здравствуйте... Я – Боря... Мне Граф сказал, что к вам можно прийти в гости». Вот так, дословно, он и сказал, глядя на меня, стоящую перед ним в халате, с мокрой головой и открытым от удивления ртом. «Ну, проходи... Боря... раз пришёл. Я Лена, Леры нет. И зачем же к нам можно прийти в гости?» – «Разговаривать».

И тут я увидела в его глазах невыразимое, какое-то собачье одиночество... Разговаривать. Это надо же! Не помню, сколько он тогда у меня просидел, наверняка недолго, было поздно уже, общежитие закрывалось в одиннадцать.

Но он пришёл на следующий день, и через день, и потом приходил почти каждый вечер. Иногда вместе с Графом, иногда один. Я не успела даже понять, когда случилось так, что мы стали считаться парой. Разговаривали мы много. И почти сразу начали много ссориться. Точнее говоря, ссорилась с ним я – по

самым разным поводам, куплеты менялись, но основным рефреном шло: «Не приходи ко мне пьяным, тем более укуренным, тем более нанюхавшись! Меня из общаги выпрут!» Просьбы эти он выполнял через раз.

Мы родились с ним в один год, в один день, чуть ли не в один момент. В школе меня дразнили «Сыром», из-за фамилии, его звали Сыром друзья, почему – не знаю. К его фамилии это не имело никакого отношения. Он, как и я, был наполювину немец. Я – по матери, он – по отцу. У него были отвратительные отношения с родителями, жил он с бабушкой, дедом и сестрой, впрочем, с ними всё обстояло ничуть не лучше. Им всем было просто плевать на него. Моя мама, напротив, всю мою жизнь меня очень активно контролировала и, прямо скажем, сильно давила на меня. Естественно, из самых лучших побуждений. Он бежал от мира и семьи, ища хоть какой-то поддержки, я – хоть глотка свободы. Он любил меня, я его – нет, и он это знал...

Однажды утром меня по селектору вызвали на первый этаж. Борька с Графом сидели на пуфиках в фойе, с пятилитровой пластмассовой канистрой молока и огромной авоськой яиц. Трезвые, не похмельные, но всё равно: надо было видеть эти обрёмканные расписанные джинсы, цепи, феньки и – глаза вахтерши Октябрины Петровны (по имени её, что ли, принимали в своё время на работу в общежитие Высшей партийной школы?). Я была приглашена на священнодействие выпечки блинов.

Борькина квартира была почти напротив нашего общежития. Я сидела на кухне, будучи не допущенной даже до разбивания яиц, смотрела, как подлетают и кувыркаются, переворачиваясь в воздухе, блинчики, как с вкусным шипением падают обратно в ловко подставленную Борькой сковородку. Граф жонглировал яйцами, заваривал чай, что-то смешное рассказывал. Я курила и смеялась. Потом мы ели эти блины, о чём-то болтали... Я даже не помню, о чём, и что было дальше, куда мы потом пошли, что делали... Это был самый лучший день той осени, а я – не помню...

Иногда мы с ним приезжали в избушку (она не запиралась снаружи, только изнутри на гигантский ржавый крючок) и, если там никого не было, на узкой скрипучей панцирной кровати, прикрытой ветхим тонким матрасиком, он занимался со мной любовью, а я с ним – сексом. Там же он впервые признался мне в любви... Тогда же я ответила ему, что люблю другого, и если он надеется что-то изменить – зря. Проще уйти от меня.

Он остался.

2

Той осенью я переживала свою первую полногабаритную сезонную депрессию. (Их много ещё будет потом, весенних, осенних, но я уже буду знать, что это такое, и что это – проходит.) Тогда мне было очень, очень плохо и по-настоящему страшно. Казалось, что жизнь жуёт меня своим дурно пахнущим ртом, в котором половина зубов – железные, а другая – гнилые. Я почти ничего не ела, много плакала, практически совсем перестала ходить в институт (там меня трясло крупной дрожью), днём сидела на кровати с ногами и читала, захлёбываясь слезами, «Маленького принца», по ночам писала стихи. В те редкие часы, когда я, наконец, засыпала, мне всё чаще снился отец, которого я не видела много лет, и почти каждый раз – моя покойная тётушка, не то убитая, не то доведённая до самоубийства своим мужем. В конце концов, измученная и сломленная, я пошла к психотерапевту. Мне прописали какие-то легонькие транквилизаторы, малень-

кий пузырек со сладкими розовенькими таблеточками. Но всё было бесполезно. Я погружалась всё глубже и глубже в вязкий удушающий дурман боли, страданий и страха, начиная уже получать от этого какое-то извращённое удовольствие. Вот какой был у этого спектакля задник.

Остальные декорации не лучше.

Поступая в своё время на факультет журналистики, я думала, что навсегда распрощалась с ненавистной математикой. На втором курсе нам ввели «вышку». Это действительно была для меня «вышка», высшая мера наказания без права на апелляцию. Первый месяц я сидела на занятиях, пытаюсь вникнуть в тарабарщину, которая монотонно лилась по аудитории и практически всем, кроме меня, была более-менее понятна. Я чувствовала себя полным «дауном», и земля уходила из-под ног. Я не могла не осознавать, что так не может продолжаться. Всё летело к чертям. Уничтоженная, раздавленная невозможностью как-то разрешить ситуацию с математикой, я пустила на самотёк вообще всё. Было уже всё равно.

Лёшик – моя большая, светлая, до одури несчастная, до судороги необходимая любовь с первого взгляда, – ещё три месяца назад бывший мне хотя бы другом, отдалялся от меня всё больше и больше. Находиться с ним в одном помещении, чего раньше хватало для счастья, стало просто невыносимо.

Леха Коппев, балагур и музыкант, друг, товарищ и брат, собрался бросать институт по каким-то своим причинам.

И Анархист, огромные зелёные глаза... – ну помогите же мне!.. спасите... я должна забыть, должна жить как-то дальше... – любил другую. Юлька была прекрасной весёлой девчонкой.

Электричка, прогремевшая в последнем абзаце пролога, подъезжала уже к участку дороги с раскученными кем-то рельсами.

3

В тот вечер Борька пришел ко мне не просто пьяным – он был уделанным, обдолбанным, убитым. Я устроила истерику. Я орала и топала ногами. Когда я немного успокоилась, он начал говорить. Что никто не знает меня и не понимает так, как он. Что никому, кроме него, я не нужна. Что я пишу только о себе, что должна попробовать оглядеться по сторонам и увидеть что-то вне себя. Что я никогда не смогу быть счастливой... Я вежливо попросила его уйти. ...Что он никому кроме меня не нужен... Я грубо попросила его уйти. ...Что он не может, не хочет без меня жить (к этому моменту он сидел на перилах балкона одиннадцатого этажа, свесив ноги на Красный проспект)... Я до сих пор не знаю, что это было. Тогда я восприняла это как грубый шантаж. На меня опять пытались давить. Чуть не задохнувшись от накатившего бешенства, я сказала ему – тихо, спокойно, абсолютно ровным голосом, – чтобы он уходил навсегда. И что мне уже неважно, уедет он на лифте или спустится другим способом. После его фразы: «Ну так толкни меня тогда сама, никто же не увидит, не узнает, видишь (раскинув руки) – я не держусь, можно просто пальцем задеть и всё!» – я молча зашла в комнату и легла на кровать с книгой. Через минуту он прошёл молча мимо меня и вышел.

4

Ночь я не спала. Не потому, что волновалась, как он там. Я думала о его словах и начала понимать, что во многом он был прав. Просто я не хотела этого слышать, тем более от

пьяного Борьки. Что расстаться нам, конечно, нужно, но не так. Что надо завтра найти его и извиниться, и поговорить обо всём спокойно. С тем под утро и уснула.

Днём я пошла на место всеобщего сбора, это была, на тот момент, площадка перед ДК Дзержинского. Народу почему-то выдалось много как никогда. Я подошла ко всем, спрашивала, мне говорили, что – да, был, уже ушёл, куда – не сказал, тебе – привет. Я вернулась к себе, звонила, на звонки никто не отвечал. Спать я легла с мыслью о том, что найду его завтра.

Назавтра в восемь утра мне позвонил Граф и на мой первый вопрос, не видел ли он Борьку, ответил, что Борька умер.

5

Он повесился ночью, сидя, прицепив собачий ошейник к гвоздю, вбитому на высоте чуть больше метра от пола.

Его семейство сидело в соседней комнате и смотрело телевизор.

6

На похоронах, когда мы сидели по очереди (потому что все сразу не помещались даже в квартире) в комнате, где стоял гроб, по рукам пустили тетрадку с его стихами. Он даже не говорил мне, что пишет их.

Иисус не умер.
Он – замёрз.
В Иерусалиме холодно зимой.
Да ещё охранник, чёртов пёс,
Окатил его вчера водой.
...Вот повисел 6 минутки две,
Быть может, понял бы башкой,
Как страшно людям на кресте
В мороз
И с мокрой головой.

В то утро лёг первый снег.

Я сидела на стуле рядом с его телом. Напротив меня, на диване, сидела незнакомая мне девушка и, не отрываясь, смотрела на меня страшными, чёрными провалами глаз.

На улице ко мне подошла его сестра и сказала: «Это ты во всем виновата. Не смей даже думать ехать на кладбище». Я не стала говорить ей, что «виновата» несколько недель, а они – восемнадцать лет... Зачем?

Через неделю, придя в гости к одной общей знакомой, увидела там ту самую девушку. Я решила уйти, но она подошла ко мне и сказала: «Я хотела тебя убить. Но поняла. Ты – не виновата. Даже если бы ты осталась с ним... Меня зовут Света».

7

Там, в этой «тусовке» (все почему-то называли её Системой, вот так, с большой буквы и без кавычек), заменившей большинству из нас семьи, ставшей для всех Семей, все были друг с другом «в родстве». Возраст не имел никакого значения. Иногда и пол тоже. Шестнадцатилетний мальчик мог каким-то причудливым образом оказаться Бабушкой двадцатилетней девице. Борька был Светкиным Сыном. Я стала её Дочерью.

8

Спустя несколько недель после похорон я собрала свои вещи и съехала из общежития. Как отреагировала на это мама – совсем другая история. Электричка достигла точки Б и полетела под откос. Обратной дороги я для себя не видела.

Я жила то у одних, то у других друзей, иногда у людей полузнакомых, это было нормальным в Системе. Все в разное время у кого-то «вписывались», даже те, кому было где жить.

У Светки был дом. Теоретически. Мать ненавидела её с детства, отчим избивал. С пятнадцати лет то мать выгоняла её из дома, то она уходила сама.

В то время как раз наступил один из таких моментов. И когда её пятнадцатилетний протеже Серёженька спросил её, где она будет жить, она сказала: «Не знаю». – «А сегодня есть где переночевать?» – «Нет». Мы стояли втроём в переходе на Речном вокзале, в декабре, она – без шапки, в осенней джинсовке, в старых осенних сапогах, он – вообще в ветровке и летних туфлях. «Поехали ко мне тогда». – «Ты с ума сошёл?! Пятнадцатилетний пацан приводит домой девятнадцатилетнюю девушку: здравствуй, мама, это Света, она будет с нами жить?! Да что она про меня, про нас подумает?» – «Я думаю, она ничего ни про кого не подумает, если пятнадцатилетний пацан приведёт домой двух девятнадцатилетних девиц, а не одну», – сказал Серёженька и посмотрел на меня. Потом от нас шарахались прохожие, потому что мы валялись втроём на полу, катались и хохотали, как сумасшедшие, не в силах разогнуться от смеха.

Мы приехали к нему на Троллейку, стояли в коридоре однокомнатной квартиры, не смея оторвать взгляда от пола, пока он прошёл на кухню, где хлопотала его мама. Она вышла к нам: «А вы чего стоите-то? Быстренько на кухню, ужин готов!»

...Когда он уговаривал нас на эту авантюру – сказал: да ладно вам, просто переночуете, что такого-то, это же только на одну ночь. Но мы остались – кто на несколько месяцев, кто на полгода, а кто и на годы. Некоторое время спустя к нам присоединилась моя одногруппница Римма, тоже оставив институт (у неё, насколько мне известно, никаких проблем с учёбой не было). Забегая вперед, скажу, что позже они с Серёженькой прожили ещё несколько лет, но уже вдвоём, как муж и жена, и не в этой квартире. Разница в возрасте никого не шокировала. Но тогда, в тот вечер, ложась спать втроём на диване, стоявшем на кухне, мы ни о чём этом и не подозревали.

Утром, когда я проснулась и ещё не успела открыть глаза, Светка шебуршалась у раковины, Серёженька сопел мне в ухо, вошла мама: «Тише, Светочка, пускай поспят»... Я чуть не разревелась. Потом был какой-то завтрак, и после она сказала, что будет жить в общежитии, у неё есть комната, а мы останемся здесь. Возражения как-то даже и не принимались. Это было её решение.

Она приходила к нам раз в несколько дней, подбрасывала какую-то еду, сигареты. Мы все звали её «мама Люба».

В зале был ещё один диван, но мы продолжали спать втроём на кухне, мы не могли расстаться даже ночью. И в этом не было ничего сексуального, как нет ничего сексуального в щенках, спящих клубком в одной корзине.

Время внутри нашего параллельного мира текло как-то совсем по-другому, чем снаружи.

Там я отпраздновала своё девятнадцатилетие с одной на двадцать человек

бутылкой водки, кастрюлей варёной картошки и курицей, которую мне дала моя мама, приехавшая в Новосибирск.

9

Она остановилась, как обычно, у своей сестры, и я приехала к ним через пару дней после дня рождения. В тот день она уговорила меня вернуться домой, я согласилась, чтоб доказать ей свою любовь, и это была большая ошибка с её и с моей стороны. Если до этого жизнь меня лениво пожёвывала, то тут я была брошена во взбеленившийся миксер. Я металась между домом, работой и переговорным пунктом. Почти всю свою мизерную зарплату я тратила на телефонные переговоры с Леркой, которая передавала мне известия обо всех. Я вырывалась в город при любом удобном и неудобном случае, хотя бы на один день... Мне нечем было дышать без них. Ночами я не могла спать от раздравшего мою кожу от ушей до пяток нейродермита, который начался осенью, а к тому моменту покрывал всё тело жуткой коростой. На локтях было голое мясо. Больницы не помогали. Уколами и таблетками не вылечить звериную тоску по стае.

Однажды мне пришла телеграмма. Серёженька больнице зпт срочно приезжай тчк. Был скандал с мамой, которая сказала, что всё это я подстроила, но в тот же вечер я подходила к Серёженькиному дому, с лицом, сливавшимся цветом с окружающими сугробами, и останавливающимся на каждом шагу сердцем.

...Они сидели, как всегда, на кухне: Светка, Римка, Лерка, кажется, тоже там была, и Серёженька, живой, невредимый, рот до ушей. Сначала я надавала всем пощечин. Они сидели, ждали своей очереди и улыбались. Потом я разревелась, и мы все обнимались и целовались. «А как иначе мы могли бы тебя увидеть?»

...И действительно – как?

В марте после очередного маминого скандала я попыталась сбежать. Граф приехал за мной в Сузун и увез в Черепаново, где училась моя одноклассница Ленка, с которой у него в тот момент был роман. Меня нашли той же ночью, мать приехала за мной с отцом, с которым я начала общаться, работая на одном заводе с его женой. Это был удар ниже пояса. Я вернулась, прожила в Сузуне до мая, отпросилась на Пасху на несколько дней в город, честно намереваясь приехать к концу праздников. Но я не вернулась. Как – отдельная история. Мама приезжала в город, пыталась ещё что-то сделать, плакала, уговаривала, говорила, что иначе я ей больше не дочь. Но, после того как я ей сказала, что это – не мои слова, а её, смирилась и просила только давать о себе знать. Всего этого ада не было бы, если б я осталась сразу, всё бы уже как-то наладилось.

Потом было несколько лет, каждой недели из которых хватило бы не на один рассказ. Мы жили жадно и яростно, как поёт Лукич, «весело и страшно, больно и смешно». Римка с Серёженькой уехали на Алтай, к её родителям. Светку мотало из Новосибирска в Красноярск и обратно. Я оставалась в городе своего сердца, но всегда знала, что, где бы она ни была, в любую минуту могу сесть в автобус или на поезд, и теперь никто и ничто не сможет остановить меня, а потому расстояний и разлук как бы и вовсе не существует.

10

Борька умер в ноябре 1992 года.

Шесть лет спустя, в декабре, я стояла в одной из комнат её дома, гладила по плечу Светкиного мужа, заслоняя его спиной от ненавидящих взглядов, и говорила: «Ты ни в чём не виноват... Даже если бы ты остался...»

Она повесилась ночью, привязав пояс от халата к трубе под потолком.

Чтобы мать с отчимом не услышали шума, она включила на полную громкость телевизор.

11

Почему она сделала это и что этому предшествовало – тоже сюжет не для этого повествования, как и похороны, на которые съехались люди со всей Сибири. Там, в том отдельном повествовании, нужно написать, кем она была на самом деле, кем она была для всех знакомых, какой она была с самыми близкими людьми и что она значила для других.

А я в тот день похоронила всю свою прежнюю жизнь, всё, что значило для меня когда-то так много, всё... Я положила всё это к ней в гроб, рядом с её красками, пачкой сигарет, кучей фенечек и остальным, сложенным туда многими другими.

Всё это заколотили большими гвоздями и опустили, и засыпали промёрзшей декабрьской землей, прогрохотавшей по крышке гроба завершающим аккордом к той самой летящей под откос электричке. Рядом с могилой Янки Дягилевой, которая так много значила для неё, хотя они никогда лично не встречались...

Тогда я в последний раз видела большинство людей, с которыми столько времени когда-то мы проводили вместе, деля горе и радости.

Римма приехала через несколько дней... Она ничего ещё не знала, и, встречая её на вокзале без Светки, с другими людьми, в момент, когда ей, смеющейся и счастливой от предвкушения встречи, мы должны были говорить обо всём, я умерла ещё раз.

12

Римма сейчас где-то на Урале, работает в сфере журналистики, с Серёженькой она рассталась ещё задолго до Светкиной смерти и как живет сейчас – я не знаю. Про него мне тоже ничего не известно.

Лерка в Москве, получает третье высшее в Литинституте, у неё семья и, кажется, всё хорошо.

Пару лет назад, приезжая в Новосибирск, она видела на улице Графа. Говорит, что он был похож на выходца из кунсткамеры.

Анархист стал работать в милиции, кто бы мог подумать...

Девочка, которую он любил, Юлька, разбилась, упав случайно с крыши девятиэтажки.

Перца я встретила года четыре назад на байкфестивале. Выглядел он очень и очень плохо.

Светкин муж со своей рок-группой сразу после её смерти уехал в Питер. Там у него долго ничего не получалось, но в последнее время вроде бы наладилось.

Их друг семьи сейчас – самый популярный и объективно лучший рок-музыкант в Новосибирске. Его звали в Москву, но он отказался. «Ведь в этом небе тоже должна быть звезда...»

Знакомый, который вывел нас на всех, совсем спился.

Очень многие умерли по разным причинам.

Я... А что – я? Жизнь продолжается, несмотря ни на что.

Лев Аннинский

Горнист из нашей глухомани

Она может стать вторым Андерсеном,
если внешность не уведёт её по другой дороге.

Александр Нечаев о Лидии Думцовой

Внешность не увела, об этом свидетельствуют 14 книг, вышедшие у дебютантки за тридцать лет, миновавшие с момента, как мэтр её напутствовал.

Однако я начну с другого. Я не могу быть объективным по отношению к текстам этой писательницы. Дело в том, что мы с ней происходим из одного Дома.

Дом этот был выстроен в московской окраинной слободе Потылихе одновременно (и рядом) с киностудией Мосфильм – для американских и немецких инженеров (приглашённых, чтобы организовать на этом самом Мосфильме что-то вроде Голливуда и Бабельсберга) – и гордо возвышался пятью этажами перед фронтом барачков (где жили работяги, строившие и саму студию, и Дом). Простоял он аж до 1959 года (потом его снесли ради того, чтобы спрямить слободскую улицу Потылиху, переименованную к тому времени в Мосфильмовскую).

Четверть века простоял Дом. Или Жилдом, как его наименовали насельники эпохи наступления социализма по всему фронту. Американских и немецких инженеров уже и след простыл (попали на фронт с той или с этой стороны или в лагерь, тоже с обеих сторон). А жить в сорока коммуналках Дома стали творческие кадры киностудии и их профессиональные оруженосцы: администраторы, помрежи, осветители, начальники и мастера из подсобных цехов и прочие производственники (которых миновала барачная судьба).

Во дворе (с четырёх сторон окружённого двором гиганта) росли дети этих производственников, голосистое племя, игравшее в «замри» и в «классики», в казаков и разбойников, в лапту и штандер, в чекалку и расшибалку, а по мере возмужания – в домино и карты.

Членилось это многочисленное племя по возрастным кликам, которые переглядывались с краёв этого асфальтового ристалища, почти не контача впрямую. Может быть, поэтому я лишь издали распознавал в стайке малолетних ангелов Лилечку Шмакову... хотя матери наши время от времени забегали друг к другу – не в гости (что было по тем временам накладно), а обменяться новостями.

Отца Лили я не видел. А моего отца и увидеть было нельзя: он в первые дни войны ушёл на фронт добровольцем и пропал без вести.

Горе безотцовщины висело над нами, слово «фронт» было главным в нашем детстве-отрочестве, в войну играли будущие «шестидесятники», «семидесятники», «восьмидесятники» и прочие строители коммунистического будущего и перестройщики его в рыночное настоящее.

Матери старились, дети и отроки вырастали.

Лилечка Шмакова превратилась в Лидию Думцеву, писательницу для детей (первая книга её наделала шуму в детских садах и школах в 1972 году), потом – в видную воительницу того (извините, опять) фронта, который возглавляли прославленные создатели дяди Стёпы и болтуны Лиды, каковых персонажей ещё эпоху спустя сменили Гарри Поттер и отчаянные героини Людмилы Петрушевской. Лидия Думцева сумела найти своё место и в этой обновившейся ситуации...

Первая её сказка, напечатанная в 1972 году, рассказывает о весёлом горнисте, который встаёт вместе с Солнцем, делает зарядку, умывается, берёт в руки свой любимый, сверкающий серебряный горн и горнит на всю страну...

Не узнаете? Страну – не узнаете? Хохотания! Граждане живут и хохочут, что бы ни делалось в стране, и славят своего Мудрого Вождя – такие вот неисправимые исторические оптимисты.

Если ещё не опознали, расскажу сюжет: появляется заговорщик, враг этого неунывающего народа, захватывает власть, жителей сажает в тюрьму, после чего эти хохотанцы начинают петь славу диктатору-узурпатору. Потом, в ходе захватывающих приключений, эти бедняги освобождены. Плачут от радости. Возвращаются к прежней счастливой жизни. И снова будит их по утрам звук пионерского горна – «чудесный, бодрый, весёлый звук...».

Узнали, наконец, источник мелодии? Да Гайдар же! Что совершенно естественно для писательницы, детство которой прошло под небом октябрятски-пионерским, а юность – в рядах комсомола. Ещё бы было иначе!

Но учтём, что первую эту сказку она опубликовала в момент, когда славные вольнолюбивые 60-е годы сменились мрачноватыми 70-ми и либеральные идеи «шестидесятников» нырнули обратно в подтекст. И воспринята была эта сказка – как тонкая сатира на идиотизм того образа жизни, когда у людей почву из-под ног выбивают, а они всё поют и смеются, как дети! И хохочут, хохочут!

Вряд ли сама Думцева закладывала в свою сказку яд такой концентрации, но некоторое внутреннее противоречие в её «гайдаровской» песне есть. Хорошо это или плохо, что подлеца-узурпатора жители страны прогнали вон и вернулись к прежнему образу жизни... к какому? Да вот: славить прежнего Мудрого вождя и хохотать от воображаемого счастья!?

Так или иначе, Лидия Думцева со своим Весёлым Горнистом попала немножечко в диссиденты. Её сказку мгновенно перевели чехи (ещё не остывшие от Пражской весны). Потом венгры, потом немцы, потом поляки – по мере либерализации стран соцлагеря. На родине же книжка была раскуплена молниеносно. Пошли благодарственные письма от читателей, научившихся читать между строк. После чего Думцева лет на тридцать примолкла, видимо, задумавшись над тем, что ей делать со строками.

И когда она в начале 2000-х годов вернулась в отечественную прессу, уже не гайдаровская песнь горниста разнеслась у неё над нашей глухоманью, а затрещали, заверещали птицы, в траве и ветвях послышалась весёлая возня, затопали

лапки бесчисленных зверушек, зашелестели листья на кустах и деревьях. И ещё – запах цветов разнёсся над этим миром, и среди цветов – не Роза стала подлинной царицей, не эта горделивая, самовлюблённая, ревнивая к собственной славе красавица, готовая на гадость и подлость, – нет, символом чистоты, преданности и благородства стала белая Лилия... каковой выбор для Лилечки Шмаковой был психологически вполне естествен.

Теперь Александр Нечаев мог с полным основанием назвать её «Андиком», то есть пересаженным на нашу почву Андерсеном, а читатели, освободившиеся от советского хохотания, получили возможность оценить талант сказочницы без непременною оглядки на Эзопа с его тайнописью.

Мироконцепция строится на главной нравственной антитезе (видной, кстати, и на цветочной метафоре): Роза – горячка, требующая преклонения и восторгов, безжалостная к конкурентам, и Лилия – жертва её вероломства, безропотно принимающая свой жребий и сносящая предательство окружающих.

Центральная точка этой драмы – предательство. Можно стерпеть злобу, жестокость, глупость тех, кто от природы зол, жесток или глуп, от них и не ждёшь другого; но невыносима подлость, рождающаяся в тайнике души и переворачивающая душу, она гнездится в людях, от которых этой подлости не ждут, а иногда о ней не ведают и они сами.

Теперь я включаю эпизод биографический... вернее, до-биографический, произошедший года за два до её рождения – с её отцом. Нашёлся тогда человек, который на её отца, механика оптики (и в будущем – крупного изобретателя в сфере кинотехники) написал «доносную бумагу». Написал – оператор Москвин...

Так. Вы можете вообразить что-нибудь такое, когда смотрите развесёлое «Возвращение Максима», или леденяще-горячечную пляску опричников в «Иване Грозном», или нежнейшую «Даму с собачкой»? И этот развесёлый, горячечный, нежнейший оператор Москвин – автор доноса?! И теперь, смотря шедевры Козинцева и Трауберга, Эйзенштейна или Хейфица, – я должен это помнить? А если не стану смотреть – из чувства гадливости? А если всё-таки стану смотреть, отдавая должное великому оператору, то как вынести в сознании вышеописанную свинцовую мерзость? Утешиться – чем? Тем, что свинцовые мерзости – в порядке вещей нашей жизни и что «время было такое»?

Сам я именно этим утешался, когда обнаружил в дневниках моего отца следующую запись:

«23 октября 1937 г. Солнечный день со штормовым ветром, но всё же снимали. Плёнка кончилась, пошли в Астрахань. Получили сногшибательное известие – Соколовская враг народа. Какая тонкая сука. Под личиной обаяния чёрная морда предателя».

Соколовская – директор Мосфильма. Но под репрессии попала не как директор Мосфильма, а как жена наркома земледелия Яковлева, ввязанного в кремлёвские драки. И, в отличие от инженера Шмакова (который в том же 1937 году попал под арест по «доносной бумаге» и был вскоре выпущен, потому что Берия, сменивший Ежова, стал чистить камеры и зоны), Соколовская сгинула насовсем.

Но реакция моего отца! Совсем ведь недавно Елена Кирилловна лично напутствовала его, зачисляя в мосфильмовский штат и командирова представителем дирекции на съёмки фильма «Степан Разин», и он преданно докладывает ей обо всём, что делается в группе! И вот – поверил, мгновенно поверил, что она предательница и враг народа!

А может, сделал вид, что поверил? Страх ради иудейска! А страх – искренний?

Теперь не спросишь: полегли отцы на фронтах Великой войны. А нам оставили муку памяти: что, без этого безумия нельзя было победить? Почему врага надо было высматривать в каждом соратнике? Почему в каждом предполагалось предательство?

Вот и сказочница, сменившая гайдаровский горн на андерсеновскую горошину, прикована к тому же вопросу: что такое разверзает души изнутри, подвигая их к предательству? В центре действия – именно потаённая подлость в окружении хороших или плохих носителей простых и ясных качеств. Интересно, что масштаб действия стремится к малым величинам. Хохотанцы – миниатюрны, «каждый не больше обыкновенного карандаша». В сказке «Тайна Малого мира» действуют герои чуть не с булавочную головку. И как в этих головках умещаются психологические нагрузки?

А так: нерасчлённно. Цельно. Удобно для отсчёта. И имена действующих лиц соответственные: Жадность, Хитрость, Злость, Лень, Трусость, Жестокость, Лживость... Среди них, в центре, – Предательство. Лень, Трусость остаются неизменными, тогда как Предательство (единственная хорошенькая среди сомнища этих Уродиц) всё время меняет линию поведения. Так это и есть фокус композиции: в кольце простейших и неизменных качеств – загадка: таинственное рождение в душе зла, ранее неведомого... вероломство, коварство, подлость там, где этого не ждали.

Сто пятьдесят лет назад такое откровение психологии получило название: диалектика души. Назвал его так великий критик Чернышевский. А художественно осуществил великий писатель Толстой – в повести «Детство», посвящённой именно тому возрасту, когда слушают сказки. Что не помешало писателю назвать критика «клоповоняющим господином». А когда этот господин написал своё собственное художественное произведение, то там не обнаружилось никакой диалектики души, а только коллекция снов о будущем, в которую сначала поверили, как в сказку, а потом высмеяли – как сказку же – поколения российских вольнодумцев.

Увы, диалектика души, место для которой уготовано в потаённой глубине сказки, – штука весьма труднодостижимая. Но манящая неотступно. Ибо надо же понять, каким волшебством рушится человеческое счастье и вера сменяется равнодушием! И почему?

«Об этом – в следующей сказке», – обещает рассказчица. А в следующей сказке опять жар любви сменяется ледяным безучастием, и велено герою сказки выложить слово «вечность» из льдинок... «как некогда мальчик Кей уже пытался сделать это...».

Что-то творится в сердцевине этого мира, какая-то непредсказуемая диалектика сбивает души с пути, какому-то таинственному закону подчиняется наша глухомань.

Я процитирую начало сказки об этой Глухомани, дабы читатель почувствовал в сердцевине её тайну, а заодно – чтобы оценил слог рассказчицы:

Знаешь ли ты, дружок, что такое Глухомань?

Верно – когда манит, зовёт глушь.

А глушь – это такое место... Заброшенное, всеми забытое, заросшее кустами, цветами и деревьями разными – вперемешку... Не пройти, не пробраться. Представь себе, что надо долго-долго ехать от города по хорошей дороге, потом долго – по очень плохой – в рытвинах и ухабах... И откроются перед тобой за непроходимой чащобой заброшенные старье

сады. Стволы деревьев – корявые, гнутые-перегнутые – прячутся в высоченных лопухах и крапиве. И среди всего этого летают, вспархивают, зависают, трепеща крылышками, разноцветные большие и крохотные жучки, стрекозы и бабочки. Особенно красивы большие синие-синие, каких наверняка нигде больше и не встретишь. Когда они взлетают одновременно, кажется, что небо соединяется с травой и цветами.

А в самой середине заброшенного сада Глухомани стоит удивительное старое-престарое засохшее дерево с широченным стволом, который и пять человек, взявшись за руки, не обхватят. И никто не знает, никто не ведает, что скрывает это дерево...

Оценим, во-первых, интонацию: доверительную, контактную, чуть лукавую, – какая и располагает к сказочнице слушателей.

Во-вторых: можете ли вы определённо сказать, хороша или плоха эта Глухомань? Вряд ли. Вы можете только мысленно разбросать признаки её на светлую и тёмную стороны (дорога есть, но в ухабах... цветы и лопухи – вперемешку) и почувствовать, что смысл существования этого мира в соединении светлого и тёмного, в существовании некоей общей тайны.

И, в третьих, тайна, конечно же, будет раскрыта. Не сейчас, так в следующей сказке.

Хорошо смотрится этот Малый мир на фоне той оголтелой агрессивности, которая палит со всех экранов и составляет общий фон нынешней цивилизации! Надо выращивать цветы «на нейтральной полосе»: между старинным: «Жили-были...» (по-английски: once upon a time...) и звёздными войнами (где кричат от ужаса, тоже по-английски).

В этой полосе вариантов не так много. Но есть. Один пронизательный критик в статье о сказках Думцевой избрал для контраста с нею сказки Петрушевской. У которой и ведьма на метле, и порка маленькой героине обещана, и плачет героиня, сидя в луже. Вопрос критика: какую из двух знаменитых сказочниц схватит для экранизации империя массового охмурения и какую вы дадите своему ребёнку «вечером, зашторив окна в детской, при свете лампы с кружевным абажуром»?

Ответ напрашивается. Но я не такой оптимист, как Сергей Шулаков, ответивший на этот вопрос однозначно. Я не верю, что шторой можно отгородиться от этого безумствующего мира. Не будет рая. Не спасутся дети и внуки наши в детской комнате под лампой с кружевами. Оголтелый мир ворвётся, втянет, выест души. Лидии Думцевой придётся рассказывать сказки именно в этом оголтелом мире.

Что ж, тем больше ей цены.

Москва.

Виктор Подлипчук

Слово об отце

Уважаемый Сергей Ананьевич!

Пишу по поводу известной Вам книги моего отца¹ «Слово о полку Игореве»: Научный перевод и комментарий». Книга вышла в 2004 году в издательстве «Наука», тираж 2000 экземпляров. «Наука» отважилась на такой шаг 25 лет спустя после того, как книга была написана, и только после подтверждения Михаилом Леоновичем Гаспаровым и Виктором Петровичем Степановым своих старых отзывов. Отец, к сожалению, книги не увидел. Мы с Натальей Михайловной Цвиринько (жена отца) хотели предварить её кратким вступлением, в котором, в частности, попытались объяснить, почему столько времени рукопись не могла быть издана. Однако издательство отказалось публиковать наше предисловие из-за упоминания в нём неблагоприятной роли, какую сыграл в судьбе рукописи отца Институт русской литературы АН СССР – Пушкинский дом.

Прошу опубликовать в Вашем журнале вышеупомянутое предисловие, а также записку академика Рыбакова в отделение русского языка и литературы АН СССР с ходатайством о публикации рукописи. На мой взгляд, эта записка ярко показывает расклад сил в Академии наук в те времена.

В Москве и Санкт-Петербурге разошлась тысяча экземпляров книги отца – половина тиража. Хочется надеяться, что благодаря Вашему журналу и этой публикации она найдет своего читателя и в регионах.

Виктор Подлипчук.

Контактная информация:

тел. (495)420-00-43; 8(903)138-35-53;

e-mail vp2005@pochta.ru

¹ См. мой очерк «Волшебный круг», вышедший в журналах и книге (Персона, 2005, № 5; Нева, 2006, № 8; Сергей Яковлев. Та самая Россия: Пейзажи и портреты. М.: Логос, 2007), где рассказывается о Юрии Викторовиче Подлипчуке – человеке разнообразных дарований и удивительной судьбы, у которого мне посчастливилось учиться в ранней юности в физико-математической школе при Московском университете (он преподавал там литературу). (Примеч. редактора-издателя.)

О КНИГЕ И АВТОРЕ

Семь дорог, жизнь вот только одна,
А событие не угадано.
Начинается с пустяка,
Незначительным эпизодом,
И какой там исход – никому невдомек.

Так, наверное, говоря словами автора этой книги, можно коротко охарактеризовать историю её появления.

Импульсом к работе явилась публикация книги Олжаса Сулейменова «Аз и Я» в 1975 году. Книга содержала интересные аспекты в подходе к исследованию «Слова о полку Игореве». И хотя многие утверждения в книге О. Сулейменова были далеко не бесспорны, работа содержала оригинальные позитивные моменты, порождала желание довести идею автора «Аз и Я» до конца.

Первый перевод, основанный на идее О. Сулейменова, был сделан Ю.В. Подлипчуком быстро и без особых усилий. Как раз этот вариант и стал ключом к пониманию несовершенства всех существующих переводов «Слова о полку Игореве». Он оказался добросовестной иллюстрацией традиционных переводов с попыткой прочтения «по-новому» тёмных мест, которые, по мнению О. Сулейменова, изобиловали тюркскими словами, заимствованными русскими у своих соседей-степняков, с которыми они имели тесные контакты, включая родственные связи. Уже в процессе работы над «нулевым» вариантом у Ю.В. Подлипчука, прекрасно знающего древнерусский и старославянский языки, возникло несогласие не только с трактовкой отдельных мест О. Сулейменовым, но и с давно отшлифованными, казалось бы, традиционными переводами. Канонические переводы «Слова о полку Игореве» не могли более удовлетворять требовательного читателя, тем более исследователя, обладающего огромной (по сравнению с первыми переводчиками «Слова») современной информацией. О том, что переводы «Слова о полку Игореве» далеки от совершенства, свидетельствует и то, что до сих пор существуют скептики, сомневающиеся не только в ценности памятника, но и в его достоверности.

Всё это подвигло автора книги на многолетний и кропотливый труд. Прекрасная память, многосторонние знания в области литературы, языка, истории и других наук, способность всесторонне анализировать текст делали этот труд чрезвычайно захватывающим. Возникла идея комплексного подхода к исследованию «Слова» с учётом грамматики, истории, логики прочтения. Автором была не только изучена обширная литература по «Слову о полку Игореве», но и проанализированы все многочисленные варианты прочтения тех или иных мест, которые считались «тёмными». Многие незаслуженно забытые и просто отвергнутые последующими переводчиками варианты толкования тех или иных мест «Слова» были подвергнуты перекрестному анализу и реабилитированы. Достижению цели способствовало скептическое отношение к первоначальной разбивке текста «Слова» на отдельные слова, предложения и композиционные структуры. В результате нового словоделения и синтаксиса удалось полностью избежать радикальных правок, обычно существующих в традиционных переводах.

После написания книги наступил второй, трудный и драматический период в жизни автора, – попытка её публикации в академическом издательстве.

Отзывы на первые варианты рукописи были достаточно объективными, замечания – справедливыми. Автор испытывал к этим рецензентам самую искреннюю благодарность, их имена он назвал в своей работе. Он всегда мог абстрагироваться от своего «я» и был очень внимателен к мнениям оппонентов и собеседников. Всё это также способствовало успешной работе над книгой. С учетом замечаний отдельные варианты прочтений или пересматривались, или усиливалась их доказательная база, и в результате совершенствовались как сам перевод, так и его комментарий. Общее, что объединяло все эти рецензии, – рекомендации к скорейшему опубликованию.

Постепенно круг рецензентов расширялся. Обсуждение работы вышло за рамки московских академических институтов. Основной школой по исследованию «Слова о полку Игореве» считался Пушкинский дом – Институт русской литературы АН СССР в г. Ленинграде. Последовавшие отзывы из Пушкинского дома радикально отличались от московских. Они были, мягко говоря, некорректными, факты в них искажались в расчете на то, что обескураженный исследователь сникнет и откажется от дальнейшей борьбы с «великими» от науки.

Потом были многочисленные обсуждения докладов автора на Ученых советах разного уровня. Принимались решения: работу печатать, – а книга не выходила. Путь к опубликованию книги лежал через Пушкинский дом. Эта преграда оказалась непреодолимой. Тот факт, что даже записка академика Б.А. Рыбакова в Отделение русской литературы и языка АН СССР о необходимости публикации книги не возымела действия, являлся случаем по тем временам неординарным.

Были и статьи в «Литературной газете» о «носителе нравственности и русской культуры» академике Д.С. Лихачеве и о «выскачках» от науки, от которых эту нравственность и культуру надо «защищать».

Много чего было. Об этом можно было бы написать отдельно.

В конце концов автор устал от суеты. Хлопотать о публикации книги было сложно технически и материально: Ю.В. Подлипчук жил и работал в г. Хабаровске, и каждую поездку на «запад» необходимо было заранее планировать. Но работу над книгой не прекратил. Последние исправления, вернее, дополнения в аргументацию внёс за несколько месяцев до своей кончины. Продолжал работать над самым трудным местом в «Слове о полку Игореве» – «Сном Святослава». В книгу не включён окончательный вариант прочтения. Каких либо комментариев к последним изменениям, внесённым автором в эту композиционную структуру, он нам не оставил, поскольку обладал способностью держать всё в голове, делая только небольшие пометки. А приводить новый вариант перевода отдельных мест «Сна Святослава» без комментария не имеет смысла.

Хочется верить, что рукописи не горят. Хочется, но не верится...

Даже теперь, четверть века спустя после завершения работы над книгой, когда заключен договор с издательством «Наука» на коммерческое издание этой книги и рукопись отдана в набор, – всё равно не верится, еще не выветрились воспоминания прошлых лет.

Надеемся, однако, что в случае издания будет воспринято и понято хотя бы одно из достоинств этой книги – неоспоримое доказательство того, что Автор «Слова о полку Игореве» действительно был Великим Художником, создавшим

Великое Произведение, в котором каждое слово, предложение, структурное подразделение работает на идею произведения – единение Руси перед великой угрозой.

*В.Ю. Подлипчук
Н.М. Цвирицько*

12.09.80 г.

В Отделение русской литературы и языка Академии наук СССР

Академику М.Б. Храпченко

Члену-корр. Г.В. Степанову

В продолжение нескольких лет я слежу за научной работой преподавателя Хабаровского педагогического института Подлипчука Ю.В. Осуществлённый им новый дословный перевод «Слова о полку Игореве» и свод статей, комментирующий его, представляет большой научный интерес и является, несомненно, новым словом в изучении памятника древнерусской литературы.

Уточнение словоупотребления и синтаксиса текста, тщательная научная аргументация предлагаемых прочтений, последовательное сопоставление и анализ существующих переводов и конъектур позволили исследователю прочитать «Слово» без нарушения норм древнерусского языка, без радикальных правок и дать убедительное обоснование предлагаемых прочтений.

Работа во многом представляется единственной в своем роде.

Несомненно, что некоторые положения могут оказаться дискуссионными и будут уточняться, другие дадут толчок к новым поискам исследователей, но несомненно и то, что работа Подлипчука Ю.В. способна стимулировать дальнейшее плодотворное изучение «Слова» на качественно новом этапе. Совершенно очевидно, что это вызывает необходимость скорейшего издания перевода и научного комментария.

Вызывает беспокойство тот факт, что вот уже четыре года, несмотря на наличие многочисленных отзывов и рекомендаций к печати (в том числе и моего краткого отзыва), судьба рукописи не может определиться. Я полагаю, что Подлипчуку Ю.В. необходимо помочь определить рукопись в издательство. Очень прошу Вас оказать в этом содействие.

*Директор Института археологии АН СССР
академик Б.А. Рыбаков*

Отзыв о работе Ю.В. Подлипчука

«Комментарий к дословному переводу «Слова о полку Игореве»»

Изучение «Слова о полку Игореве» уже отпраздновало свой 175-летний юбилей, литература о «Слове» огромна и умножается с каждым годом. Всё более ощутимым становится, что необходимо подвести итоги какому-то уже завершившемуся этапу осмысления этого памятника и продолжать его исследование на новом уровне. В этом убеждает многое: и накопление таких традиционных, но в истоке своём мало аргументированных толкований, против которого не так давно поднимал бунт О. Сулейменов в книге «Аз и я», и, наоборот, очевидная

неспешность такого «бунта», который опирается больше на художественную смелость, чем научную трезвость. Полемика Сулейменова и его оппонентов показала, в частности, характерный симптом: многие «открытия», гипотезы и конъектуры делаются в наши дни уже по второму разу, масса догадок старых учёных и находок прежних переводчиков остаётся в забвении и больше мешает, чем помогает новым исследователям. Это значит, что научное хозяйство приходит в беспорядок, всё тяжелее дающий себя знать. Как это ни странно, наша наука о «Слове», при всех её замечательных успехах, до сих пор не имеет даже издания «Слова» с академическим аппаратом обычного типа – исчерпывающим сводом всех конъектур и библиографией всех толкований к каждому спорному месту. Такое издание вместе с осуществляемым ныне словарём-справочником явилось бы началом нового этапа в исследовании «Слова». Работа такого рода может быть лишь плодом совокупных усилий всей русской филологии, но каждая работа, которая может облегчить этот главный труд и стать к нему подступом, может и должна приветствоваться. Именно поэтому рассматриваемая работа Ю.В. Подлипчука заслуживает сейчас особенного внимания.

Жанр работы не представляет собой ничего необычного: это новый перевод «Слова» («дословный», подчёркивает автор, и выражает это, печатая перевод короткими строчками строго параллельно подлиннику, что действительно очень облегчает чтение и изучение) и очень подробный комментарий с обоснованием почти каждого слова и словосочетания. Подход к тексту тоже не представляет собой ничего необычного: он строго консервативен, он решительно уклоняется от всех интерпретаций, которые требовали бы правки текста, автор более всего торжествует там, где ему удастся достичь понимания, не вводя новые конъектуры, а отбрасывая старые. На дерзкую оригинальность автор подчеркнуто не притязает: по каждому сомнительному месту он, прежде всего, приводит со щепетильной полнотой многочисленные уже существующие варианты его толкований и переводов и лишь затем делает аргументированный выбор, часто – с существенными коррективами. Новые чтения и толкования здесь есть, и в немалом количестве, но поданы они так скромно, что кажутся немногочисленными. Трезвость и здравый смысл – главные критерии автора. Работа никогда не обещает больше, чем она даёт. Зато очень часто она даёт больше, чем обещает.

В самом деле. Комментарий автора намеренно сосредоточен на вещах, имеющих только самое непосредственное отношение к «дословному» пониманию текста, но именно поэтому он даёт такие простейшие грамматические пояснения, до которых обычно не снисходят комментаторы, но которые, тем не менее, очень нужны. Читатель, не являющийся узким специалистом по древнерусскому языку и литературе, только из таких пояснений и может узнать, что достоверно и что гадательно в том сцеплении слов, общий смысл которого он угадывает сам и проверяет по переводу. Об этом не стоило бы говорить, если бы слишком многие появляющиеся в печати интерпретации не создавали впечатления, будто нормы древнерусского языка так неопределённые, что всякое сочетание слов может означать всё, что нужно интерпретатору. Это напоминание о фактах языка – первое достоинство работы. Консервативность в подходе к тексту тщательно соблюдается автором там, где речь идет о прочтении букв и слов, т.е. о том, что восходит в конечном счете к рукописи, но решительно отвергается там, где речь идет о членении слов и фраз, т.е. о том, что восходит исключительно к издателям рукописи. В работе предпринят последовательный пересмотр членения текста «Слова»:

колоны по-новому соединяются в фразы, фразы – в абзацы, абзацы – в главы («композиционные структуры»). Часто это действительно освежает и проясняет логику текста, иногда внушает сомнения, но сомнения эти сосредоточены именно на том, что должно подлежать сомнению: не на тексте, а на нашем представлении о тексте. Именно сквозной пересмотр членения «Слова» считает автор главной новацией своей работы и имеет к тому все основания.

И последнее. Отбирая старые и предлагая новые варианты перевода и толкования, автор пропускает их через такой перекрёстный контроль здравого смысла и исторической вероятности, которого не выдерживают ни традиционно-догматические веропрятия типа «это так, потому что как же иначе?», ни вызывающе-негативистские парадоксы типа «это так, чтобы было интересно». В результате догмы теряю догматичность, парадоксы теряют парадоксальность, а то, что остается, оказывается совсем не столь непримиримым друг с другом, как казалось на первый взгляд. Поэтому автору удаётся твёрдо выдержать и убедительно обосновать доводами самого разного порядка одну цельную концепцию, согласно которой Игорь отнюдь не является героем без страха и упрека, а выступает как герой, ошибающийся и искупающий вину, герой не панегирика, а трагедии. Здесь трудно говорить о доказательности, можно говорить лишь об убедительности; и думается, что в убедительности такой концепции нельзя отказать, она придаёт «Слову» гораздо больше глубины, чем привычное однолинейное прочтение.

Я не специалист по «Слову» и по древнерусской литературе, я один из тех филологов, которые, читая и изучая «Слово», во многом должны полагаться на интерпретации и переводы своих коллег и которые поэтому очень заинтересованы в том, чтобы знать, что в этих интерпретациях опирается на факты, что на традицию, а что ни на факты, ни на традицию. Именно такому интересу и отвечает тот тип исследования, который предлагает в своей рукописи Ю.В. Подлипчук. Поэтому я не хочу останавливаться ни на каких частностях, более убедительных или менее убедительных для меня, в комментарии ли или в переводе; так, мне кажется несомненным принимаемое автором толкование таких тёмных мест, как «въста зыби» или «дбрьски сани», сомнительным – раскрытие «Трояню» как «Тмурокань» или «Див» = «птицеподобный» архангел на древке (гипотезы О. Сулейменова и И. Новикова); как переводчик я бы смелее заменил «синие молнии» и «синее вино» на «чёрные молнии» и «чёрное вино», но не стал бы менять «стадо лебедей» на «стаю лебедей» («стадо» в значении «стая» свободно употребляется ещё Фетом), а «поганого», если уж нужно, предпочёл бы переводить не «язычником» (прозаизм), а «басурманином»; однако всё это не заслуживает обсуждения сейчас, когда решается вопрос об издании работы Ю.В. Подлипчука.

Научная высококачественность, методологическая корректность и актуально поставленная цель – вот три достоинства, каждого из которых порознь было бы уже достаточно для того, чтобы желать издания этой книги. Она подводит итоги, систематизирует достигнутое, пересматривает сомнительное и намечает перспективное, – и всё это в сжатом объёме, в сдержанном тоне, в ясной и доступной форме изложения; чем скорее будет издана эта работа, тем лучше.

1975 – 15.5.1995

*Академик Российской академии наук
М.Л. Гаспаров*

Сергей Филатов

Вот уже второй год в числе многих прочих писателей приглашают меня в Томск, на Межрегиональный фестиваль детского и юношеского литературного творчества «Устами детей говорит мир».

«Устами детей...» Читаешь многочисленные работы, слушаешь юных авторов, и думается порой этак по-булгаковски: «...обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних». То есть нас самих лет тридцать назад. Те же размышления – о смысле жизни, о добре и зле, о любви, об одиночестве, о бренности бытия, о неминуемости ухода; те же вопросы – что делать? куда идти?..

Только вот сам мир иной, изменившийся. И приметы его не те, что были вчера.

Приметы мира

Виктория Мишако, г. Томск

СОН

Я вижу сон, где я рождаюсь,
 Я вижу сон, где я расту,
 В семь лет я в школу собираюсь,
 А в двадцать замуж выхожу.
 Я вижу, как детей рожаю,
 Живу, старею, умираю...
 Тут я почувствовала страх
 И проснулась вся в слезах.
 И слышу: «На урок пора!»
 И вдруг я вспомнила – ура! –
 Что перед тем, как постареть,
 И перед тем, как умереть,
 Мне надо будет кончить школу –
 А это будет так не скоро!

Ася Агафонова, г. Барнаул

Через крохотное тельце
 с электронными мозгами
 пропускаешь моё сердце,
 душу и переживанья.
 Заменяешь ты мне письма,
 заменяешь мне будильник.
 Я должна тебе признаться –
 я люблю тебя, мобильник!

Даришь счастье, даришь радость,
иногда и грусть мирскую.
То тебя бросаю на пол,
то в дисплей тебя целую!

Евгения Володина, г. Бийск

ТАЙНЫ НОЧИ

Никто никогда не узнает,
Никто никогда не расскажет,
Внутри эту тайну оставит
И ниткою правды завяжет,
И будет молчать неподкупно,
И будет страдать бесконечно.
А ночью жестокою лунной
Те мысли, живущие вечно,
Те тайны, что дождь обрывает,
Те страхи, что в сердце таятся,
Злой ветер неслышно срывает.
И чёрт начинает смеяться,
И ангелы плачут на небе,
И боги на грешников злятся.
Лишь сайты, живущие в Вебе,
С сегодняшней мною простятся.

Наталья Суркова, г. Томск

МАТРЁШКИ

Пять матрёшек – всё прекрасно!!!
А четыре – всё отлично!!
Три матрёшки – хорошо!
Две матрёшки – всё нормально.
А одна матрёшка – плохо...
Очень грустно быть одной.

Полина Лемешко, г. Томск

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Спросил у внука дед однажды:
– Что в день рождения подарить?..
– На *днюху*, дедушка, купи ты мне *смартфон*.
– А это что, ты можешь объяснить?

– Ну знаешь, деда, *сдох* мой телефон...
 Мой старый *сотик* был *отстойный*.
 Ну а *смартфон* – это *прикольно!*
 Почти как *комп*, только поменьше.
 Ты понимаешь меня, конечно?!

Стоял январь,
 И дед решил не *париться*:
 Он подарил внуку словарь.
 Чтоб тот сумел *исправиться*...

Степан Лапин, г. Томск

ГОЛОСУЕМ ЗА ВЕСНУ!

Мы с мамой идём к остановке через площадь Новособорную. На этой площади часто проходят митинги и демонстрации. Сейчас здесь тихо, слышно, как шумит фонтан и перешёптываются листья на деревьях. Посреди площади на большой круглой клумбе недавно посадили тюльпаны. Они подняли свои зелёные листья, словно голосуют за что-то. «Кто за весну и лето?» – спрашивает самый большой тюльпан в центре клумбы. «Мы!» – отвечают все и тянут вверх бутоны и листья. «Кто за теплое солнышко?» – «Мы!» – тянутся к свету цветы. Всем надоела холодная погода. И нам с мамой она надоела, мы едем в отпуск к бабушке.

Наглый сорочонок

Соседский мальчик Андрей нашёл как-то в кустарнике гнездо сороки. Он взял сорочонок, унёс домой и кормил червяками. Когда сорочонок подрос, он стал летать по чужим огородам и орать. Это значило, что его надо накормить. Однажды бабушка Люба качала воду из колонки, а сорочонок прилетел и сел прямо на ручку. Так она и качала его вместе с ручкой. А в это время он орал на своем языке: «Давай червяков».

Малиновки

Однажды бабушка Люба проснулась от пения малиновок. Две птички с красными головками и красными грудками наперебой болтали: «Витю-видела?» – спрашивала одна. «Видела-видела!» – отвечала другая. Под окном спальни росли два куста смородины. Зачарованная их пением, бабушка и не заметила, как птички склевали все ягоды. Она им простила это, уж больно весело они распевали.

Дятел

От нечего делать я колотил палкой по земле. Вдруг из травы вылетел дятел и, сев на дерево, начал долбить его клювом. Я сразу перестал стучать и стал разглядывать его. Макушка у него была красная, мордочка белая, а спина желтая, как будто у него была желтуха. Я таких дятлов ещё не видел. Я видел только красных дятлов, у которых была краснуха.

Клест

Как-то бабушка Люба собирала смородину. Вдруг сзади раздался пронзительный птичий крик, похожий на скрежет металла. Так кричать могла только какая-то огромная птица. Бабушка не сразу разглядела маленькую пичужку, ростом меньше воробья. Это был клест. Бабушка просто руками всплеснула: «Что творится! Такая кроха, а как визжит».

Ласточки

У нас в сарае поселились ласточки. Они старательно носили в своих клювиках строительные материалы: перышки, глину, веточки, пух. Скоро возникло гнездо. Птицы совсем нас не боялись, каждое утро садились на провод возле веранды и рассказывали про жизнь на своём птичьем языке. Скоро появились птенчики. Из гнезда торчали шесть маленьких голов с большими разинутыми ртами.

Однажды в сарай ворвалась сорока. Ласточки с криками заматались вокруг. Одна прилетела к окошку и стала просить о помощи. Бросив свои дела, бабушка Люба прибежала на подмогу. Сорока испугалась и улетела, но гнездо с птенцами уже валялось на полу. Перевернув его, бабушка Люба нашла четырёх ещё живых птенцов, один лежал с разбитой головой рядом, а один исчез. Взяла лестницу бабушка и полезла под крышу, чтобы вернуть гнездо на место. А ласточки ещё долго не могли успокоиться, весь день слышались их тревожные печальные голоса.

Через месяц, когда мы вернулись домой в Томск, на Новособорной площади по-прежнему шумел фонтан, деревья вовсю шелестели листвою, а на большой клумбе, где мы видели голосующие цветы, красовались огромные ярко-алые тюльпаны. Только большой – главный тюльпан – давно осыпался и торчал пустым стебельком.

Было бы хорошо, если бы на этой площади всегда голосовали только за лето, за тепло и за солнечную счастливую жизнь.

Софья Рубакова, г. Северск

Шумит непримиримая вода
 У берега, у дальней переправы.
 Прощались каждый раз – как навсегда,
 И каждый раз оказывались правы.
 От речки пахнет тиной и водой.
 Судьба порой бывает столь бездушна...
 И месяц нежно-желтый, молодой,
 Над нами светит тускло-равнодушно.
 Душа терзает тело, словно плеть.
 Не выжить... не остаться... не проснуться!
 До неба невозможно дотянуться,
 До неба можно только долететь.

* * *

Художнику нужна отвага,
 А с нею – кисти и мольберт.
 Мешая краски на бумаге,
 Рисую белым цветом Смерть.

Живу без солнечного света,
 В руке сжимая карандаш.
 В очередном припадке бреда
 Мешаю слёзы и гуашь.
 Теперь уже не верю в сказки...
 А может, просто рвется нить?
 Мешая на палитре краски,
 Сама себе мешаю жить...

* * *

Букет осенний – красота
 На кухонном столе.
 Полет кленового листа
 От дерева – к земле.
 Прозрачен воздух, свеж и чист –
 Ни облачка вдали.
 Но я поймаю этот лист
 В секунде от земли.
 Полет прервался – ну и пусть –
 В осенней темноте.
 Ведь я сама себе кажусь
 Прожилкой на листе.

* * *

Ослепительный снег, что скрипит на зубах
 В предвесенний задумчивый вечер,
 Порождает в душе бессознательный страх,
 Тяжким бременем давящий плечи.
 И следы от трёх пар человеческих ног –
 Три цепочки на снежной дороге...
 Если более нас не помилует Бог,
 Значит, нету потребности в Боге!

Тишина состоит из чужих голосов,
 Распевающих гулкие гимны.
 Мы уходим, на сердце повесив засов,
 По дороге извилистой, длинной.
 Тишина заполняет пустоты небес,
 Облаками луну занавесив.
 Если более нас не попутает Бес,
 Значит, нету потребности в Бесе!

Елена Колесниченко, г. Омск

КОЛЬЦА

А сердце каждой жилкой подрастало,
 Неспешно зрело.
 Душистых теплых весен не считало,

Листвой шумело.
Не кольца сокровенные копились
В стволе прогретом –
Круги, круги неслышно расходились
По водам Леты...
А лес отважно кличет лесорубов
Себе на горе.
Всё, что хранилось, ты легко и грубо
Срубил под корень...
А я люблю седые пни сухие –
В них больше звону.
Я словно струны, кольца годовые
Легонько трону..

Дмитрий Суйканен, г. Новокузнецк

Стучится сердце, бьётся гулко,
Мясистым боком тычет в рёбра.
Маршруты тёмных переулков
Извилисты, как тело кобры.

Иду домой. Никто не слышит
Шагов, скользящих по асфальту.
Листвой пожухлой осень дышит,
И ветер тонко воет альгом.

Замёрзли руки. Мокрой спичкой
Пытаюсь тщетно высечь пламя,
А небо, следуя привычке,
Развесило заката знамя.

Из-под земли ревёт стихия –
Метро стучит на стыках рельсов,
Вагоны синие, лихие
Летят в депо обратным рейсом.

А я плетусь – сама беспечность!
Уютный дом раскрыл мне дверцу.
А впереди ещё вся вечность
Длиною в два биеня сердца...

Андрей Логутенко, г. Кемерово

Когда душа молчит, трезвонят нервы,
И ты живёшь в кромешной пустоте,
А в голове учёба или стервы,
И не найти спасения нигде.
Когда душа молчит, ты безнадежен

Грозде ильич

И не способен вынести напор
Грядущих дней, – ты слаб и уничтожен,
Но все ж вступаешь с этой жизнью в спор.
Ты думаешь, что победишь сомненья,
И знаешь то, что всё в твоих руках.
Но весь твой мир – одно стихотворенье,
И то оно у бога на устах.

Бийск.



Антон Порфирьев. Сухостой

Валентина Шафронская

Представляюсь: Валентина Шафронская, 39 лет. Живу в Пскове с 1978 года, выросла в него судьбой, жизнью, дочерью. Сама из Владивостока. Что ещё? Живу, работаю, пробуюсь, люблю... Вроде всё.

Просто верить

«Дедушка, здравствуй. Пишет тебе твоя внучка. Мне уже скоро будет восемь лет. Я хожу во второй класс. Сегодня нас принимали в октябрята, и теперь на моем школьном платье висит октябрятская звездочка...»

Примерно таким было моё первое письмо деду, пропавшему на войне без вести. Я тогда недавно приехала из сочинского санатория, где прожила полтора месяца. Одну девочку чуть ли не каждый день навещал дед – ордена весело позвякивали на его груди, висели какие-то цветные планки. Всякий раз девочка, гордо проходя мимо, говорила: «Это мой дедушка приходил. Он воевал на войне и побил всех немцев! Вот!» – и показывала нам язык. Ко мне никто не приходил, потому что наша семья жила очень далеко, каждую неделю летать никаких денег не хватит. Я молча смотрела вслед девочке и завидовала. Потом уходила в свою палату, ложилась на кровать и думала. Иногда мечтала, что вот наступит утро, распахнётся дверь, и нянечка меня позовет вниз, потому что ко мне пришёл незнакомый старенький дядя, весь в орденах. То-то обзавидуются все! Но ничего такого не произошло...

«Здорово, дед! Слушай, а ты у меня, оказывается, тот ещё герой! Да ладно, не скромничай, мне мама рассказала, как ты лихачил в юности. Молодец, наш человек! А правда, что твоя семья за те «вывихи» от тебя отказалась и что от тюрьмы тебя спасли только артиллерийское училище и моя бабушка? Ты у меня откуда-то с Алтая, вот бы знать точно, откуда, – вдруг когда-нибудь занесет туда!.. Мне уже исполнился двадцать один год. Ты в мои годы ушёл на войну, а я вот летаю, порхаю и плохо представляю себе, чего хочу...»

Впрочем, нет. Одно важное (помимо других менее важных) дело тогда у меня всё-таки наметилось. Тайком от родителей я, раздобыв адрес военного архива в Москве, послала письмо с запросом. Ответ, понятно, не пришёл. Но я, не зная об этом, всю «готовилась к встрече». Именно готовилась – в одной из телепередач, схожих с давней «От всей души» (ох и ревела я!), прошёл сюжет о том, что чьего-то отца и мужа тоже считали погибшим, а он выжил и нашёлся. И я тихо поверила в сказку. Мне казалось, что не мама, а я должна рассказать деду о том, что произошло после его отправки на фронт...

«...В 1941 году перед отъездом из Нижнеудинска, 5 сентября, ты оставил бабушке на столе записку: «дочь – Светлана, сын – Славка». Через семнадцать дней родилась дочь, моя мама. Хлебнули они с бабулей будь здоров. Но выдержали. Тебе есть кем гордиться, дед. Дочь у тебя получилась – кремень, с огоньком, она и меня вытянула назло всем жутким прогнозам. У бабушки спустя шестнадцать лет родился сын – Славик. То, что от другого человека, не суди, а то разругаемся в пух и прах. Она тебя ждала верно, просто жили очень бедно и худо, надо было за кого-то держаться. Правда, тот, Матвей его звали, вскоре пропал с концами, изредка пересылая мизерные алименты. Бабушка так и доживала одна, и Славка, выросший, стал чем-то неувлимо похож на тебя (и носит родовую фамилию), вот и не верь после этого в причуды генетики. Я очень смутно, по ощущениям, помню бабулю в свои пять лет. По аромату только что испечённого в настоящей деревенской печке хлеба и парного, звонко сцеженного поутру в блестящее оцинкованное ведро молока. Кажется, повея этими запахами слегка откуда-нибудь – тотчас узнаю, ребёнком себя почувствую и пойду, не глядя, как на волшебный манок... А запах кедровых шишек, которые измельчают (потом пошебуришь руками пахучую массу, ладони к лицу приложишь и вдыхаешь, пока голова не закружится!..), чтоб отсеять коричневые мелкие орешки!.. Ничего вкуснее в жизни не пробовала – зато и тянет меня до сих пор в глухоманную сибирскую деревушку под названием Укар. Почему такие странные ассоциации – не знаю, но, может, отчасти и потому, что именно она, наша большая сибирская родня, – единственная нить, связывающая меня с бабушкой, а через неё – с далёкими предками из польских шляхтичей...»

(Один раз, гуляя по Интернету, я всё же добралась до архива Польши, разбитого на города. Но полное отсутствие знаний в написании фамилии и хотя бы приблизительного места проживания своей взбалмошной прапрапра... Одна только примерная дата – 1860-е годы – уже приводит в совершенное смятение: хочется забиться в уголок своего родного и знакомого двадцатого века и радоваться, что не потерялась окончательно. В общем, увы.)

Спустя какое-то время я отправила еще одно письмо, наивно предположив, что прежнее потерялось. Но ответа тоже не дождалась. Зато из Сибири полуграмотные письма, почерка корявого и неровного, с одинаковыми до умиления ошибками приходят до сих пор, правда, с новостями большей частью грустными – кто помер, кто спился, кто уехал...

Один из институтских сокурсников, работая в поисковой бригаде, свёл меня с главой местной поисковой организации «След Пантеры». Там меня самым внимательным образом выслушали и сделали официальный – так больше гарантий, что не отмахнутся – запрос в Иркутск, но у нас снова ничего не вышло. Через пару месяцев пришла казённая бумага с отказом «в виду отсутствия точных сведений». Позже – ещё две. И я оставила попытки узнать хоть что-нибудь о возможных родственниках по женской ветви и о судьбе деда.

А потом подумала, что самое верное – пусть редко, но продолжать писать ему или разговаривать с ним, будто бы он где-то очень далеко, но есть, и каждое слово или мысль непременно дойдут до адресата... Может быть, так я приучаю себя к будущим неизбежным потерям тех немногих людей, которые даже не догадываются, насколько они мне дороги и любимы мной. Именно любимы – Господи, как же страшно говорить это вслух! И чем старше становишься, тем страшнее. Но как уютно и безмятежно молчит, когда эти люди рядом...

* * *

Дед, прости за то, что сейчас скажу, но, наверное, хорошо, что ты не дожил до этого времени. Ты ведь пытался представить, каким светлым и радующимся каждому живущему оно будет? Ты верил в лучшее. Вы все верили, иначе не победили бы.

У нас появилось много тьмы и грязи, они не обошли и меня, но давай я не буду об этом рассказывать. Не потому, что стыдно – да, стыдно, но пусть мои ошибки остаются при мне, так лучше.

Страны, за которую ты воевал, давно нет на карте, она осталась лишь в памяти тех, кто родился и вырос в ней. Зато появились такие понятия, как «неофашисты», «скинхеды».

В 1990-м в Москве, так уж получилось, на постановочной абитуре моими друзьями были ребята, съехавшиеся, казалось, со всех концов земли, – Санджар, Гия, Ляззат, Эрик, Айша, Гиви, Алмат, Кияз, Абдул... Дед, за две недели общения мы настолько прониклись друг другом, что никакая мерзость не задерживалась около нас. Мы стояли друг за друга горой, помогали, утешали, плакали, ругались... Пили горькую на радостях! Знаешь, как здорово – радоваться за своих! Со многими я потом переписывалась несколько лет, мы мечтали когда-нибудь снова встретиться там же, у старой общежитской пятиэтажки...

Но эти проклятые межнациональные конфликты! После 95-го мы потерялись, остались письма, фотографии, короткие записи в дневнике... «Невелико наследство!» – хмыкнет кто-нибудь. Для меня оно – на вес золота.

А знаешь, с чего начиналась моя юность? С повального дефицита всего и вся, с огромных беспросветных очередей, сплошь состоявших из людей с угрюмыми, тяжёлыми лицами (попробуй-ка схитри, просочись! – сотрут в пыль на месте, чтоб другим неповадно было). Продукты, хозтовары и спиртное выдавали строго по талонам. А спиртного нам надо было не то чтобы много, но... Выцыганишь за двойную цену всеми правдами и неправдами у знакомых пару бутылок портвейна «777» или водки и, пока «предки» на даче, – в отрыв! Врубишь во всю мощь колонок «Баньку», да под огурчики с картошкой... Душа пьянела не столько от градусов, сколько от хриплого: «Угорю я, и м-мне, угорел-ло-му-у, пар горячий р-развяже-ет язы-ык!..» А наши языки развязывались Булгаковым, Солженицыным, Гумилевым, Платоновым, Мандельштамом... (Гумилева и Мандельштама мне посчастливилось читать в 1987 году у музейной дамы, приютившей меня на несколько ночей в Смоленске. Лёжа на полу, в полутьме, я, затаив дыхание, листала ветхие издания начала прошлого века с ятями и ерями, попутно делая записи в дневнике).

Обсуждая стихи и книги, мы трезвели, пьянели, снова трезвели, не глядя на часы. До тех пор, пока какой-нибудь обезумевший от переизбытка децибел сосед не начинал колотить в дверь моей квартиры, срываясь на отборный мат... Мы делали звук потише, но ненадолго. Ну скажи, как можно слушать и сейчас мною любимую «The Show Must Go On» или «Still Loving You», песни Виктора Цоя, Игоря Талькова – вполуха, шепотом? Как?! Нет, нам надо было нервы с жилами мощным звуком рвать и смелеть, чтоб ничего не бояться. Мы, моё приподнявшееся поколение, «прозевали» подполье «Голоса Америки» и слепые перепечатки «Чонкина», «Одного дня Ивана Денисовича», стихов Бродского и многих, многих ныне известных книг и авторов. Упущенное мы навёрстывали жадно, хищно, порой наивно присваивая себе единоличное право на «открытие» того или иного

произведения или имени. В моих приятелях, а потом и друзьях всегда были люди старше на 15–20 лет, и это воспринималось нормально и естественно. Почему? Не знаю. Меня никогда не оставляло ощущение, что я припозднилась, с ровесниками мне и сейчас не о чем говорить, я не умею полноценно общаться с ними, – так, по мелочам обывательского толка, не более...

Что еще было в моей юности? Сторожевание Дома культуры, где в мои дежурства по ночам наши мальчики «с видеосалона» развлекались с местными проститутками – Таней и Юлей. (Я потом с ними познакомилась – память о «Маленькой Вере» ещё не остыла, да и любопытно было узнать, что за птахи такие. Безобидные, не наглые, надо сказать, девчонки лет семнадцати «радовались» жизни за пару новых колготок и жратву с коньяком (дефицит всего). В первые ночные дежурства я тоже общалась (в меру, дед, в меру) с мальчиками – куражилась, потом надоело. В пять утра меня, мирно спавшую в гардеробе на изъеденном молью, поломанном кресле, будили, я выпроваживала весёлую компанию на улицу и снова закрывалась на все замки – в полшестого приходили уборщицы.

Сейчас все наши забавы представляются безобидными выкрутасами поступертатных щенков, так оно и было. Взрослели мы стремительно, едва ли успевая оценивать и круто меняющиеся декорации жизни, и внутренние, порой разрушительные, метаморфозы. И очень часто «начинка» не совпадала с тем, что мы видели, что было на самом деле. Отсюда и наша замкнутость, и наша жестокость, и категорическая непереносимость лжи. Ни в чём, ни в ком. Знаешь, что самое трудное, дед? Видеть, что человек обманывает тебя, и делать вид, что веришь. Когда в голове пульсирует одна жуткая мысль, что вот это – крах. Ещё одно разочарование, ещё одна нелепейшая, бездарная потеря, по которой не бывает слёз, боли, – разве только рукой махнёшь. Почему люди забывают о том, что по глазам можно прочесть если не всё, то очень многое, порой самое сокровенное?..

Почему-то отчётливо запомнилось, как однажды, давно уже, в автобусе кондукторша кричала на старика-грузина (медали почти скрывали изношенный плащ), – у него не оказалось денег на билет. Я думала, она его просто вытолкает из салона на очередной остановке, и уже потянулась в карман за деньгами, но меня опередил мужчина. Он заплатил за старика и тихо сказал: «Прости, отец». Дед, я видела в глазах ветерана слезы, хоть он и отвернулся к окну. Мне было стыдно за себя, за время, в котором я живу, и жаль тебя.

Случалось и такое: на улице меня (а после и других людей) останавливал худющий, одетый в обноски (зима ли, лето, без разницы) ребенок и просил «дать денег». Всё текло по одному «сценарию». Я предлагала: «Пойдем, куплю тебе немного еды». «Нет, – раздавалось в ответ. – Мамка пьяная, опять бить будет, лучше деньгами...» Денег я не давала. Не потому, что жалко. Да ты же понимаешь, почему...

В марте двухтысячного я вспоминала о тебе ещё чаще. Что в тот день вывело меня в город? Я тогда сидела без работы (кухня-стирка-полы до смерти надоели), но вот сорвалась, поехала в центр. Автобус перед площадью Ленина остановили гаишники, двери открыли, и я пошла пешком через дорогу. Светофоры не работали, народу – уйма. Я не сразу поняла, в чем дело, стала оглядываться вокруг... И в какое-то мгновение лишилась слуха, мир словно накрылся огромным прозрачным коконом, утратив свои обычные звуки. Лучше бы мне остаться дома!.. Мимо меня, совсем близко, прошли строем военные, между ними на машинах медленно

(страшно медленно) провезли, кажется, двенадцать обтянутых красным материалом гробов с телами наших ребят, погибших в Чечне. Многим из погибших не исполнилось и двадцати лет. На митингах говорили, в газетах писали: долг, Отечество, героизм, «мы гордимся»...

Дед, я многого не понимаю, смогу ли когда-нибудь понять *это*?!..

Как называть Отечеством страну, в которой режим и «государева» воля под соусом патриотизма посылают на смерть вчерашних мальчиков (наших братьев, любимых, друзей)? Страну, в которой наизнанку переписывается История – твоя история, дед? Страну, в которой и сейчас от голода и нищеты мрут старики, твои ровесники? Где детские дома переполнены покалеченными – если не телом, так душой – детьми? Почему их не становится меньше?.. Почему в некогда великой державе, которую я называю Родиной, родное забивается чужим, обедняя нашу культуру, дух, язык?! В нас микродозами насильно впрыскивают инородное сознание, понимание жизни, самих себя в ней...

И *этим* «мы гордимся»?!

Я знаю, что это уныние, но мне и вправду неинтересно это время, понимаешь? Может, поэтому я ограничила себя в общении и лишь по необходимости выхожу из дома.

Наверное, мои слова подтвердят многие, лишённые нормальных отношений в семье, – с родителями у нас не получилось ни доверительного, ни равного общения. Мне вполне хватало книг и кумиров. Портреты последних заполняли всё моё «личное пространство» постепенно, начиная с 11 лет. Стены моей дальней комнаты в «хрущёвке» были увешаны фотографиями из газет и журналов: Олег Даль, Дассен, Асанова, Тарковский, Высоцкий, Шепитько, Миронов... Позже – Тальков. Мама, изредка заходя в мою комнату, старалась быстрее уйти и каждый раз говорила: «Жуть какая. Как можно жить здесь? Сплошные покойники...» Я же чувствовала себя хорошо, более того, мне казалось, они защищают меня, оберегают. И до сих пор я верю, что так и было, потому что так есть и сейчас. Имена тех людей, их лица – в моей памяти, в сердце, и я не могу избавиться от мысли, что они-то по-настоящему и вылепили мою душу. И остались в ней, время от времени проявляясь с новой силой и помогая, выравнивая, поднимая меня, упавшую или разуверившуюся в чём-нибудь главном.

Я всегда с благодарностью буду вспоминать время учёбы в училище культуры. Именно там я наконец осмелилась говорить о своём потаённом, насущном словами моих любимых авторов или героев их книг. Всё началось с монолога Маргариты Мастеру (помнишь – «Слушай беззвучие...»?), – шутка ли, но именно его я читала при поступлении, внутренне купаясь в каком-то дивном свете. Я ещё не знала, что это – Гармония, редкая счастливая возможность быть в ладу с собою. Интуитивно я стремилась к этому ощущению, позже выбрав для зачёта горький стих Галича «Памяти Пастернака». Немалых трудов мне стоило уговорить куратора нашей группы разрешить читать «мужской» монолог Павла Фарятьева – любимое моё моно, записанное с телевизора на старенькую аудиокассету. После сдачи экзамена по сценической речи мне предложили прочесть его на выпускном вечере... Дед, какое же это счастье – ничего не боясь, не стесняясь, говорить людям то, чем ты пропитан насковозь! То, без чего тебя уже не может быть, ибо это уже будешь не ты, но другой человек. А глаза незнакомых людей, обращённые на тебя?.. Такое чувство, что с меня – вернее, с того, о чем говорю – они, сами того

не понимая, «считывали» какую-то важную для собственного будущего информацию... Или мне показалось? В те минуты я впервые познала объединяющую и созидательную силу Слова. Нужно только верить, просто верить, прежде всего себе и в себя. Тогда всё получится...

Ну, вот, дедуль, дождались мы! Твоя правнучка впервые произнесла это волшебное слово: «деть», чуть смягчив последнюю букву. Ждали всей семьей больше года: «мама», «папа», «баба» дались быстро, а моему отцу – пришлось потерпеть. Но – надо было видеть его гордый и одновременно растерянный взгляд!.. На мгновение проступили черты мальчика – беззащитного, затюканного сверстниками детдомовского пацана, от которого отказалась мать, едва родив его! Ведь он, хоть и взяла потом его на воспитание родная тётя, так и живет в горькой обиде на всех женщин, выплёскивая её на нас, близких, – и ничем её не вытравить, не избыть, ничем... В нём есть доброе начало, но оно так слабо, так беспомощно, что мгновенно меркнет перед злобой и непросцением. Иногда я ненавижу отца: за себя, за свою дочь, которой не дано узнать, что же такое «дедушка», но которая очень хорошо знает, что такое «нелюбовь». И, наверное, никогда я не смогу ему простить фразы, брошенной по пьянке: «Эта б... не смогла мне родить здорового ребёнка...». Это он так на людях сказал про маму, угробившую на меня здоровье, силы, нервы. Хорошо, что она не слышала. Вот только как мне с этим жить?.. Как?..

Ой-ой, дедуля, прости, я же не сказала главного: твою правнучку звать Анной, Анночкой. Мама говорила, что ты бабулю так ласково называл. Ну вот, любуйся. Я на неё смотрю иногда со стороны и думаю: как же здорово, что мой ребёнок рождён от любви, даже такой сумасшедшей, какая была у меня...

...С тех пор к своему отцу я обращаюсь не иначе как «дед». Первое время аж глаза хотелось зажмурить от удовольствия и прижаться к нему, нараспев пробуя незнакомое: «де-е-ед». Прижаться не получилось, дичком как выросла, так и осталась. Знаешь, какие багалии у меня с ним шли?!.. Хорошо, что не знаешь. Он, видите ли, сына хотел, а получил меня. В общем, коса на камень нашла, да так и затупилась в постоянных придириках. Я отлично знаю, что такое «отец», но что такое «папа», какой он? – только предположения и мечты... Дураки мы, дураки оба: поставь нас перед зеркалом – одно лицо, одни жесты. Мама вечно причитает: «Ёшкин свет, как же вы похожи, где ж моё-то?» Теперь я ей всегда указываю на внучку: «Вот твоя точная копия!» А потом сама думаю, глядя уже на них: «Как же похожи! Где ж моё-то?..»

Дедуль, ты не переживай, я на твою Анночку больше похожу, фотография её сохранилась. И твой предвоенный снимок тоже в целости, только пожелтел совсем. Я их забрала у мамы, вдруг затеряет, она стала такая рассеянная.

Уже начало марта и скоро День Победы. Каждый год 9 мая мы ходим на могилу дяди отца, на Аллею Героев в городском парке. Больше-то не к кому, а так вроде и поминаем вас всех. Ветеранов становится всё меньше и меньше. Лет пять назад дочка захлеб рассказывала, как подарила цветы незнакомой бабушке: «Вся в медалях и прямоугольнички такие цветные слева...». Видел бы ты, как у нее горели глаза! В тот же день в Детском парке мы встретили её одноклассницу с прадедом. Девочка остановилась и сказала гордо: «Это мой прадедусшка. Он воевал на войне...». Узнаёшь? Я прямо растерялась от такого совпадения. Как же расстроилась Анюта!.. Ей не хватает тебя, слышишь? История повторяется, дед.

Знаешь, когда кто-нибудь начинает говорить: «Вот было время...» – и пускается в воспоминания о прекрасном, чистом прошлом, а потом начинает ругать наше поколение, обвиняя в равнодушии, грубости, чёрствости, у меня плохо получается смолчать. Да, мы выросли более злыми и жестокими, порой циничными, но это всё маски. Маски, за которыми прячутся от ещё более жестокого, злого и циничного мира. Где самые лучшие чувства могут быть осмеяны и растоптаны, где романтиков презрительно называют «ботаниками», где «светлое будущее» без недостатка – позорный пережиток, чушь...

Некоторые несчастные заигрываются, маски срстаются с кожей, и от человека не остаётся и следа.

Но не всё так ужасно, дед. Да, мы разучились держаться вместе, мы раскиданы поодиночке в блочных квартирках с никудышной звукоизоляцией и обманчиво самодостаточны. Мы как бездомные котята: позови таких – они головы чуть повернут, шагни ближе – они врассыпную, в родную темень подвалов. А нас даже не окликают никто, и случись беда – некому обнять и защитить. Мы учимся сами себя защищать. Мы стремимся чаще обнимать своих детей, надеясь от них «дополучить» тепла, которым были обделены в собственном детстве. Нам приходится самим искать или придумывать «идею», за которую можно было бы держаться, как за соломинку, и жить, всё-таки жить... Мы привыкли быть в одиночестве; там, где собирается больше двух человек, чувствуем себя потерянными и лишними; нам неуютно и хочется поскорей уйти. Но всегда готовы довериться тому, кто разглядит нас и поверит нам. Я знаю это чудо, дед. Такая сила просыпается внутри, такой свет яркий, которых, кажется, хватит на всё-всё, даже на огромный Мир!.. И тогда снова верится, что жизнь не так ужасна, что мы обязательно справимся с наростами порока и бесчестья, словоблудия и фальши. Что Будущее неизменно ясно и чисто, и в нём никто и никогда не испытает страха ни за убого доживающих свой век стариков, ни за своих детей, рождённых и не рождённых. Ничего, что мы не знаем, когда это случится, может, нам и не нужно знать, достаточно просто верить, иначе мы сойдём с ума.

Я – верю.

Псков.

Евгений Боушев

Родился в 1986 году в Крыму, СССР. В возрасте 15 лет переехал в Россию в связи с нежеланием принимать украинское гражданство. Закончил Смоленский государственный университет в 2008 году, в настоящее время работаю журналистом в г. Вязьме.

Два рассказа

СОБАКА

Увидел на рынке, заглянул в наивные, почти детские глаза. Стало жалко. Заплатил сотню, взял на руки и принёс домой.

Нашёл миску, налил молока. Наелась и завиляла хвостом.

Играла с галстуком. Вспоминал детство.

Заснули на одной подушке.

На работе вспомнил, что с утра забыл покормить. Позвонил соседке. Нужно быть внимательнее.

По пути домой купил ошейник и пачку собачьего корма.

Встречала у дверей. Глаза светятся от счастья.

Вывел на улицу. Знакомые улыбались и гладили.

Рассказал всем в чате. Горы смайликов. Она сидела на коленях и нажимала носом на клавиши.

Положил спать поверх одеяла. Ночью лизала лицо.

Утром наступил на хвост. Пугается под ногами.

По дороге с работы видел соседского сенбернара. Он красивее.

Погрызла покрывало. Отшлёпал, положил старую куртку у батареи.

Ночью сгонял с кровати. Не выспался.

Утром наступил в лужу. Стирал носки, опоздал на работу.

Смотрел в Интернете советы собаководам. Прививки ужасно дорогие.

В чате надавали кучу советов. Жаловались на повторяющийся бессмысленный набор букв.

Согнал с коленей. Обиженно лает. Запер на кухне.

Утром увидел спящей на свитере. Налил молока.

Нет, все-таки можно обойтись без прививок.

После работы выпил с друзьями. Соседка сказала, она скулила все утро. На полу снова лужа.

Наказал. Из носа пошла кровь. Стало жалко. До полуночи гладил и просил прощения. Положил спать в ногах.

На работе хотят послать в командировку на две недели.

Знакомые подержать у себя отказываются. На крайний случай есть приюты. Жаль.

Вернулся домой поздно. Порвала штору. Вывел на улицу и сделал вид, что ухожу.

Ночью спихивал ногами с кровати. Не выспался.

Утром оказалось, что забыл положить куртку у батареи.

Всё равно оставил голодной.

Вывел на улицу. Пропустил важный телефонный звонок.

Запер спать на кухне.

На работе сказали, усыпить совсем не больно. И дешево.

Кончился корм. Пришлось ещё раз бежать в магазин.

Наказывал за разбитый цветочный горшок. Зарычала.

Запер спать на кухне.

Спросил, где находится ветеринарная клиника.

Запер спать на кухне.

Взял на работе отгул.

В автобус с ней не пустили. Пошёл пешком.

Всё время семенит сзади. Тащил за поводок.

Попросили заполнить бланк заявления. В графе «Причина» написал: «Болезнь».

Унесли.

Визг. Зажал уши.

Жалко.

Визг.

Сказали, если без обезболивающего, будет дешевле.

Вынесли в пакете. Последние судороги.

Привёз домой. Попросил лопату.

Завернул в куртку.

Отнес в овраг.

Закрыв ей глаза.

Бросил в яму.

Свежую кучку земли прикрыл ветками.

По дороге домой купил газету с программой.

Выбросил миску.

Выпил валерьянки.

Спал.

ГИЕНЫ

Пожалуй, самое обидное, что может случиться с уставшим голодным человеком, стоящим у двери своего подъезда в половине шестого сырым сентябрьским вечером – это застрявший в замке ключ. Домофон обещали установить со дня на день, замок на двери подъезда хотели поменять ещё год назад, а теперь Владимир Иванович стоял под потоком льющей с карниза воды и предпринимал отчаян-

ные попытки вытащить ключ из железных закоулков. Настроение мигом покати-лось под откос.

Неподалеку прогуливались взъерошенные дворовые коты, нагло сверкая хитрыми глазами в сторону лысоватого мужчины в мокром пальто.

Замок не хотел сдаваться. Собрал последние силы, добавив пару замысловатых выражений из богатого речевого запаса человека с двумя высшими, Владимир Иванович вцепился в свободную часть ключа и, упершись ногой в мокрое железо, рванул изо всех сил.

Ключ сломался, и человек в пальто, нелепо взмахнув руками, полетел в удачно повернувшуюся лужу.

Когда осели брызги и иссяк словарь, Владимир Иванович неуклюже поднялся, грустно посмотрел на испорченную одежду и впервые за эти полчаса оглядел двор. Коты куда-то исчезли, а из соседнего подъезда вышел мальчик лет шести и сосредоточенно ковырял палкой грязь возле водосточной трубы. Мальчика звали Серёжей, и у него были серьезные проблемы с психикой.

Личная жизнь обитателей многоквартирного дома всё больше превращается в дремучую тайну. Постепенно уходят в прошлое времена, когда соседи одного подъезда – иногда целого дома – были одной большой семьёй, вместе проводили отпуска и встречали Новый год. Уже почти никогда матери детей-одногодок не надрывают телефоны друг друга в поисках педагогического озарения. Отцы семейств не ремонтируют впятером одну машину, а бабушки на скамейке от разговоров о «Соньке из третьего» переходят на обсуждение сериалов. Никто не слышит семейных ссор, бурных любовных баталий и строгих внушений, по-прежнему имеющих место за соседской стеной. Никто не приходит попросить соли. Новая эпоха с её толстыми стенами, железными дверьми и круглосуточными супермаркетами диктует свои правила.

Но Серёжа был непростым мальчиком. Он играл роль своеобразной информационной отдушины. Мальчика выпускали на улицу в любую погоду, и двор наполнялся безумными криками, по которым без труда можно было понять, как прошёл его день. Сейчас Серёжа изо всех сил бил ногами порванный футбольный мячик и тонко, на пределе лёгких выдавал следующее:

– Не смей больше подходить ко мне!!! Ублюдок! Мразь!

Мячик гулко бился о стену дома. Бабушки на дальней скамейке давно привыкли к таким акциям и дружно смотрели в противоположную сторону, сложив руки на груди.

Родителей Серёжи по понятным причинам недолюбливали, но здороваться не забывали и никогда не вмешивались в их жизнь. В наше время, как справедливо рассуждал Владимир Иванович, воспитание ребенка – личное дело самого ребенка.

Сверстники этого ребенка побаивались, а ребята постарше старались не замечать. Сергей был вполне самодостаточен и никогда не тяготился своим одиночеством. Если придуманная им игра требовала больше одного участника, – а так обычно и бывало, – Серёжа просто принимал в неё окрестных котов, скамейку под окнами, свой мячик или странных людей, которых никто кроме него не видел. Его родители не обращали на это внимания, а остальные взрослые просто смотрели сквозь мальчика и проходили мимо, что бы он ни делал.

Владимир Иванович вспомнил, как однажды Сергей встал у двери подъезда с игрушечным автоматом в руках и требовал пароль у каждого, кто пытался войти. Взрослые на секунду смущались, а затем одной рукой отодвигали мальчика в сторо-

ну, другой открывали дверь и спокойно проходили внутрь. Серёжа в такие моменты цепенел и только крепче сжимал свой автомат. Скорее всего, дома его били.

Владимир Иванович тряхнул головой и продолжил бесплодные попытки пробиться сквозь железную преграду. Позвать кого-то из соседей или даже просто постучать в окно первого этажа казалось невысказанным нарушением правил добрососедства.

Серёжа тем временем загнал мячик в лужу и разразился по этому поводу очередной серией воплей:

– Тварь! Я тебя содержу на свою зарплату, а ты не можешь нормально лужу обойти!

Владимир Иванович дёрнулся. Ждать счастливой случайности становилось всё трудней и, быть может, опасней. Детей он не любил, к Серёже относился особенно плохо.

Мальчик, будто почувствовав эту реакцию, повернулся к нему и заорал, глядя поверх Владимира Ивановича:

– А ты вообще не суйся! Иди в свою комнату, гадёныш!..

И тут же успокоился и начал лепить какое-то сооружение из мокрого песка.

Владимир Иванович зацарапался в дверь. Нет, он не испугался и не обиделся – просто не хотел быть столь явным свидетелем чужой беды. Эта роль вызывала в нем сильный внутренний дискомфорт. Захотелось поскорее попасть в свою квартиру, согреться, почитать журнал...

Дверь распахнулась, и кто-то из соседей по подъезду, коротко кивнув Владимиру Ивановичу, зашагал к гаражам на другой стороне двора.

Владимир Иванович проскользнул внутрь, поднялся на лифте до своего этажа и вошёл в квартиру. Он повесил одежду сушиться в ванной, надел шерстяные носки, прилепил на холодильник записку с напоминанием сделать дубликат сломанного ключа, приготовил себе довольно вкусный ужин, выпил стакан вина и задернул шторы. Темнело.

– Почему этот человек шатается, господин капрал?.. Сволочь! Сходи за хлебом!.. Гиены! Где вы, гиены?! – орал Серёжа снаружи.

Владимир Иванович поставил чайник, достал из сумки журнал и принялся искать очки. С работы шли люди, и Серёжа, сталкиваясь с ними, выкрикивал совершенно абсурдные вещи. Владимир Иванович нацепил очки и углубился в первую страницу.

– Я не боюсь вас, гиены! – доносилось из открытой форточки.

«Врачу бы показали, – беззлобно подумал Владимир Иванович. – Современные представления о кажущемся равновесии между средним классом и...»

– Гиены! Ржавая вода!

«...нередки случаи, когда такие...»

– Я разорву тебя! Выходи, трус! Смотри в мои глаза, гиена!

Гиены были новым словом в непрерывном Серёжином бреде. Владимир Иванович встал, выключил свет и подошел к окну.

Мальчик спокойно пытался установить сухую ветку на вершине построенной им песчаной пирамиды. При этом он продолжал кричать, обращаясь преимущественно к гиенам.

– Сдохни, тварь! Гиена! Я не боюсь твоих сородичей!

Серёжа воткнул ветку в песочную пирамиду и отошёл в сторону, оглядывая совершённое. Машина соседа сверху, разворачиваясь на пятячке перед окнами, наехала задним колесом на импровизированный курган. Мальчик дёрнулся всем

телом и, подобрав с земли палку, стал подкрадываться к автомобилю широкими зигзагами.

– Р-р-разорвать на части!

Владимир Иванович хихикнул. Серёжа постоял немного перед задним бампером, проводил глазами уходящего соседа, уронил палку и принялся переносить песок из-под заднего колеса на новое место.

Владимир Иванович смеялся, держась руками за бока. Вечер оказался неожиданно весёлым.

– Тать-тать-тать-тать-тать, гиены, – приговаривал Серёжа, сооружая новую конструкцию.

...Пожалуй, самое обидное, что может случиться с уставшим голодным человеком, стоящим у двери своего подъезда в половине шестого сырым сентябрьским вечером, – это внезапное появление домофона на двери. Квадратная коробочка упрямо светила в лицо красными квадратными кнопками, и теперь, чтобы попасть в подъезд, нужно было звонить кому-то из соседней. Разговаривать с незнакомыми людьми, объяснять им, кто он и откуда, просить об одолжении – Владимир Иванович воспринимал это как самую страшную пытку.

На этот раз ему не везло. Шло время, но никто не появлялся. Стемнело. Владимир Иванович бродил по двору, бросая грустные взгляды на дверь; сидел на скамейку; ковырял ботинком песок Серёжиного кургана; долго и выразительно смотрел на часы, а затем на окна.

В семь часов Владимир Иванович решил на робкий стук в дверь подъезда.

В пятнадцать минут восьмого родилась мысль позвонить в любую квартиру и сказать «это я».

Без пятнадцати восемь, после продолжительных мыслей о случайностях, роке и простудных заболеваниях, возникло необычное желание согреться рюмкой коньяка в ближайшем кафе.

В одиннадцать часов, после нескольких рюмок и превосходного пирога с капустой, Владимир Иванович с почти восстановившимся настроением решительно шагнул к двери подъезда. В результате продолжительного диалога с самим собой он пришел к выводу, что традицию добрых соседских отношений необходимо восстанавливать, причем силами каждого из жильцов. Он твердо решил позвонить в двадцать седьмую квартиру и сказать примерно следующее:

– Э-э-э... Добрый вечер. Извините за беспокойство, я ваш сосед по подъезду. Дело в том, что... Гм... поскольку домофон поставили лишь сегодня, я не успел обзавестись ключом. Не будете ли вы так любезны...

Далее он собирался в самых вежливых выражениях попросить открыть дверь и, чтобы не оставаться обязанным, тут же подняться к этим милым людям и немного побеседовать с ними. Выбор именно двадцать седьмой квартиры не имел никакого логического смысла – Владимир Иванович просто посчитал количество полосок на переднике официантки.

Итак, вопрос с дверью можно было считать решённым. Владимир Иванович свободной походкой проследовал к двери, но вдруг зацепился ботинком за торчащий камень и – упал в ту же самую лужу.

На этот раз буря была свирепой. Метая молнии, Владимир Иванович поднялся, рванул дверь и забарабанил в нее кулаком. Домофон равнодушно слепил ему глаза красными цифрами.

Хорошее настроение исчезло. Чтобы как-то успокоиться перед тем, как говорить с соседями, Владимир Иванович предпринял небольшую прогулку по двору, расшвыривая ногами пустые пивные банки, отряхивая пальто и глупо озираясь по сторонам.

– Надо же, как всё получается, – пробормотал он.

Поднял глаза вверх – и вдруг увидел в жёлтых квадратах окон тёмные силуэты человеческих голов. Соседи наблюдали за его вечерним променадом...

Беззвучный смех десятков невидимых оскаленных ртов.

Владимир Иванович замер.

– Гиены, – прошептал он.

Вязьма.



Антон Порфирьев. Натюрморт

Булат Безгодов

Меня зовут Безгодов Булат Борисович. Возраст 28 лет (1980). Настоящее место жительства – г. Цивильск. Среднее образование. Больше о себе рассказать ничего не могу, поскольку, если рассказывать, получится смешно (не учился, не работал, не служил, не женат). В романе большей частью написано о личном опыте.

Духовная оборона

Из романа «Влюблённые в Бога»

В школу я пришел с чувством облегчения, что не будет больше детского сада, детских извращений и что теперь, как мне и обещали, всё будет по-взрослому. Это был солнечный день с прищуренными лицами одноклассников, отчего казалось, что они плачут. Кругом были цветы, умилённые взрослые, звон колокольчиков. Прозвучала вдохновенная речь толстого завуча, нас строем повели в классы, требуя, чтоб мы шагали в ногу. Родители остались на улице. И как-то резко изменились преподаватели, лица стали жёсткими, интонации требовательными и повелительными, прикосновения небрежными. Кажется, всех нас обманули. Я посмотрел на большие настенные часы, маршируя по вестибюлю, и ужаснулся тому, что ближайшие десять лет буду вынужден посещать школу и исполнять чьи-то приказы. Как винтик огромного механизма, которому до меня нет никакого дела, и я лишь первичное сырьё, из которого нужно родить некий продукт. Помню, что ощущал себя маленьким и беззащитным и думал, что мне не вытерпеть эти десять лет. Странно, что я об этом думал. В уме я подбирал слова и не

находил нужные, которые точно объяснили бы то, что я предчувствую...

Первые два класса прошли в тумане. А потом летом родители отправили меня в деревню к деду. Дед всегда находился в сельской школе, где работал директором, либо уезжал в районные командировки, а бабушка вела хозяйство и изредка проводила уроки иностранных языков. Соседские мальчишки сразу же взяли меня в оборот: «Поддай, принеси, это наш песок, это наш бережок, наша улица». Их было шестеро, и держались они одной командой. Первые дни я подавал, приносил, уступал, потому что мнение большинства отчего-то мною воспринималось как незыблемая правда. Это и в школе нам прививали. И ведь действительно есть что-то неправильное в том, что ты хочешь одно, а большинство – другое. На третий день, когда меня несколько раз пнули, я задумался... Я ломал голову над тем, что же, собственно, неправильно я делаю. Помню, на четвёртый день я смеялся вместе со всеми ребятами, когда мать одного из них назвала меня маймулкой, ибо не сомневался, что эта взрослая женщина не скажет плохого, она просто по-доброму подшучивает.

Не зря же все так весело смеялись. На пятый день меня снова попинали ребята. Я снова ломал голову. Казалось, я во всём им уступал, услуживал, помогал, искренне полагая, что приношу пользу моим новым приятелям. За что же тогда меня пинали? И почему их лица во время телесного насилия надо мной выражали такое полное удовлетворение и удовольствие? Я не в силах был это понять. Зато на шестой день, с утра получив зуботычину от самого задиристого, чья мать окликала меня маймулкой, я в состоянии аффекта с упоением разбил ему лицо, сел сверху и накормил галькой. Потом я сидел у себя в саду, среди красной смородины и крыжовника, внимательно прислушиваясь к своим чувствам. Я испытывал полное удовлетворение, источник которого, наконец, обнаружил, и грусть от осознания чувства одиночества. Они вшестером перелезли через забор, окружили меня, и тот самый, задиристый, что-то вкрадчиво прищёпывал. Я обрадовался, думая, что они пришли мириться, – так добренько улыбалось его круглое пухлое загорелое лицо. Сначала меня ударили сзади по затылку камнем несколько раз, потом принялись пинать. В кутерьме я подхватил камень и сначала разбил голову одному, потом другому. Ребята стали разбегаться. Я поймал задиристого и несколько минут избивал его, пока дружки смотрели с другой стороны ограды. Я бил с наслаждением, и на этот раз он заметил это. В глазах его появился гнусный страх. В сад вышла бабушка.

В нашей компании всё поменялось местами. Мне приносили, мне подавали: это мой песок, это мой бережок, моя улица. Мне заглядывали в рот, слушая, что я скажу. В их глазах я читал страх, уважение, всё исполнялось с раболепием, и в то же время я замечал, что это их сильно мучает. Всякий раз казалось, что это выплеснется, взорвётся, и хотя я был маленьким, я опасался

даже, что они меня как-нибудь потихонечку убьют. Было в их глазах что-то вымученное и постоянно настороженное. Однако ничего не выплескивалось, не взрывалось, и ребята терпели меня. А мне становилось тем страшнее, чем дольше я наблюдал, что происходило в их душах. Они надламывали и задавливали сами себя, чтобы им стало легче подчиниться мне. Именно это меня пугало. Но вот мать задиристого заметила перемену в нашем общении и всякий раз, когда видела нас вместе, загоняла сына домой. И, кажется, вдалбливала, чтобы он со мной не общался. Это стало подсказкой для меня.

Я перестал общаться с ребятами, и мне сразу полегчало. Спать я стал крепче и спокойнее. Я рыбачил, весь день шёл вдоль по реке, удаляясь довольно далеко от села. Пойманную рыбу ел сырой с хлебом и дикими травами. В леса я не заходил, чтобы не заблудиться и не нарваться на хищника. С наступлением темноты возвращался по болотистой речной долине, по кочкам, на которых гнездились коньки. Они несколько раз нападали стайей, сбивая меня с пути. Клевали и гадили, и едва я огибал определённое место – тут же отставали. Долина, мгла, тяжёлое небо, мне девять лет... Кажется, вот-вот испугаешься, запаникуешь, сорвёшься в бега сквозь мглу и больше уж не вернёшься в эту мало кому понятную стихию. Но изо дня в день возвращаешься с любовью к этой ласковой, суровой и неожиданной тишине, которая, кажется, любит, подкармливает и не насылает опасности.

Дома, в зале, от пола и до потолка тянулись стеллажи с книгами. Однажды, вернувшись к ночи, поужинав, я подошёл к ним. Прямо перед моими глазами шли два ряда полочек с надписями «Психология». Ага. Давайте посмотрим сами книги: «Язык жестов», «Восприятие невербального», «Гипноз», «Массовый гипноз», «Нейролингвистическое программирование»,

«Дианетика», «Массовое сознание и психология» и много других. Имена авторов подсказывали мне, что книги эти фантастического характера: Фрейд, Юнг, Карнеги, Берн, Цвейг... Меня смутило лишь слово «гипноз», суть которого я более-менее понимал из трансляций Кашпиоровского. Я открыл одну из них, «Психологию для начинающих», и во вступительном слове прочёл первое предложение: «Эта книга поможет вам понимать людей и влиять...». Это было то, что мне нужно.

Рыбалку я забросил. Я поедал книгу за книгой, с чаем в руке, с бутербродом во рту, в туалете, в предбаннике, в саду, как будто боялся, что не успею прочитать всё это. Я не спал. За месяц я осилил обе полки. Я поедал одну книгу в два дня, при этом старательно зубрил всё важное. И ещё за три недели перечитал всё сызнова, чтобы закрепить. И хотел перечитать ещё раз. Тем временем мне всё-таки приходилось прерываться, чтобы сбежать по поручению бабушки в магазин. Ребята отвыкли от меня, снова осмелели, бросали в меня камнями, когда видели на улице, причем кидание камнями сопровождалось оскорблениями: «Татарин, маймулка, убирайся отсюда, поганка!» Я и вправду стал выглядеть дурно. Тощий, с дикими зрачками, эдакий беспризорник. Бабушке было не до меня. Как раз в те дни, когда я ещё только увлёкся чтением, к нам приехала подруга дяди (тётя Эльвира) с двумя маленькими сыновьями. Первому, Ренату, не было и года, а второму, Ильдару, всего лишь три. Дядя почему-то не желал возвращаться с выгона, чтобы встретиться с подругой и своими детьми. А подруга всё ждала – поселилась у нас. Дома настало время гама. Пока я читал, прячась в саду от шума, дома происходили события. Тётя Эльвира частенько показывалась в трусах передо мной, когда бабушки не было дома. В этом смысле она мне нравилась. Помимо меня она

ещё нравилась деду, и это было заметно по вечерам, во время ужина: дедушка распался и затевал какой-нибудь интересный разговор. Тётя Эльвира, в свою очередь, буквально поедала деда глазами.

Тётя Эльвира была суровой матерью. Когда бабушки не было в доме, влетало обоим моим братикам. Когда Ренат плакал, мать поднимала его, как обезьяну, за руку и швыряла куда-нибудь в угол. И поскольку он был ещё несформировавшимся неокрепшим младенцем, рука его однажды сломалась, и кость вышла наружу. Я зачем-то тогда заглянул в дом и видел, как это произошло. На вопль моего братика вбежала бабушка, увидела кровь, кость, подошла к тётё Эльвире и сказала: «Ещё раз, когда-нибудь, и я тебя убью». Выгнать тётю Эльвиру бабушке было нельзя, оставаться с ней в одном доме было невыносимо. И бабушка продолжала жить вместе с тётёй Эльвирой. В тот день я впервые услышал слово «неизбежность» и вспомнил первый день в первом классе, а ещё подумал о моих братиках, но додумывать не стал и сразу же постарался забыть об этом. Это событие произошло как раз тогда, когда я хотел в третий раз перечитать мою «психологию»...

Возвращение домой, в Казань, для меня должно было стать событием. На пороге меня встретила мать. Что-то было не так – что-то, что я принёс с улицы. Я подошёл к окну. Напротив стояла хрущёвка, за ней ещё одна, и ещё одна, и так бесконечно. Все они были выкрашены в черные, коричневые и серые полосы, как тюремная роба, которую я видел в старом фильме об Освенциме. Я впервые увидел на примере, что такое массовый гипноз, и подумал о долгих-долгих годах моей жизни в этом гетто. У окна ли, на улице ли, я видел эти унылые полосы, как будто сообщающие мне о некоем внимательном надзирателе. Я жутко напугался на всю жизнь вперёд.

Первого сентября я пришёл в школу. На перемене после первого урока ко мне подошёл одноклассник Иншаков, протянул мне красную повязку и в приказном тоне сказал, чтобы я подежурил вместо него. Мне вдруг стало ясным, почему первые два школьных года так мутны в моём сознании. Я отказал. Он дважды ударил меня в живот. В ответ я разбил ему нос. Немедленно хлынула кровь, залила школьную синюю сорочку и пиджачок. Иншаков плакал навзрыд и при этом крепко держал меня за руки, причитая: «Ты ведь больше не будешь?! Не будешь ведь?!..» – как будто боялся, что я ударю его снова. Сбежались его дружки. Иншаков ревел, безуспешно пытался остановить течь, а дружки почему-то требовали, чтобы я извинился. Им было обидно за него. Они уверяли меня в том, что после моего извинения справедливость будет восстановлена. Они очень хотели заставить меня извиниться. Между тем, глядя, как Иншакову дурно, как он унижен и испуган, я засомневался в своей правоте. Мне уже было очень жаль его и вместе с тем стыдно, словно я разбил редкую красивую вазу. И я вдруг подумал о том, какой я мерзавец! Они убедили меня. Я искренне извинился. Иншаков извинился передо мной и сказал мне, чтобы я больше так не делал. В тот день он был моим другом, был внимателен, общителен, справедлив. Я возвратился домой счастливым, полагая, что теперь моя жизнь станет спокойнее, что я подружился с ребятами. На следующий день он обозвал меня, как бы в шутку. Ещё через день он обозвал меня дважды. На третий – высмеял мои старые ботинки и некрасивые черты моего лица перед классом, но тут же дружески похлопал по плечу. Каждый день он выматывал меня, изворотливо обижал так, чтобы это не казалось прямой агрессией. А когда я всё-таки не выдержал и возмутился, приготовившись с ним драться, он сказал, что всё это мне просто кажется. Ему помогали дружки. Они дразнили и обзы-

вали меня гурьбой. И я не мог сосредоточиться на ком-нибудь одном, чтобы выяснить отношения. Это были более коварные ребята, чем сельские. То они прикрывались дружбой, чтобы к чему-нибудь меня принудить, – и я наивно обманывался; то требовали напрямик – и я отказывал, и тогда снова меня задирали на каждом шагу. Особенно обидно было, когда издевались надо мной при девочках, а ещё обиднее, когда девочки смеялись. В итоге я сломался. Почему? Это я сейчас пишу, как было, потому что понимаю. А в те дни я ломал голову над всё тем же животрепещущим для меня вопросом: что не так я делаю?.. И с каждым днём я всё более считал себя виноватым. А они становились всё более правыми. Я совсем запутался. Мне стало невыносимо жить униженным, да ещё и кругом виноватым. Я просто морально сломался. Повесил гриву. Не отвечал на насмешки.

Но было ещё кое-что, что усугубляло мою жизнь, – я читал людей. Зубрёж литературы по психологии не прошёл даром, на всех людей я смотрел сквозь призму этого опыта. Общаясь, передвигаясь, воспринимая, – в общем, живя, – я параллельно классифицировал людей по типам, давал характеристики, старательно подмечал позы, жесты, мимику, движение зрачков и совокуплял всё это с голосом, интонациями, тембром и содержанием речи. Постепенно это стало частью меня, стало привычкой. Чтение людей превратилось в механический и рефлекторный процесс. Моя восприимчивость изменилась. И здесь я снова нашёл, над чем поломать себе голову. Вопрос возникал за вопросом. Я тщился понять: а остальные видят то, что вижу я, или нет? И если они видят, то как они с этим живут?.. Первый день в первом классе, стена, часы – впереди десять лет. Бабушка с тётей Эльвирой в одной комнате – впереди годы. Ренатка со сломанной ручкой – впереди жизнь. Я считал себя дураком и всем заглядыва-

вал в рот, надеясь, что кто-нибудь мне объяснит эту жизнь. Но все смотрели на меня повелительно, умно молчали, умно говорили, умно приказывали и, кажется, что-то знали, но суть скрывали, замалчивали, как будто боясь утратить какое-то преимущество. Потом у меня появилось странное ощущение, будто я живу в более медленном темпе. Люди вокруг меня были быстрыми, много говорили, много шевелились. От каждого я получал гору информации. И в каждом меня смущало и то, что мне говорили, и то, что недоговаривали. То есть я слышал одно, а чувствовал другое, чего мне не сказали. Я замечал, когда мне врал. Сначала я говорил об этом лжецам напрямик, лжецы легко убеждали меня в обратном – я не мог устоять, казалось постыдным не верить таким честным глазам лжецов. Со временем вдруг правда всплывала, и я говорил: «Ну, как же! Помните? Вы всё-таки тогда соврали», но в лучшем случае от меня небрежно отмахивались, а в худшем били или с усердием принимались заверять и убеждать меня в ошибочности моих суждений. И если меня заверяли, я снова верил. Потому что заверения всегда звучат чистосердечно...

* * *

На перемене, перед вторым уроком, я, сам не понимая для чего, побрёл в столовую. У меня был бумажный рубль в кармане, выдаваемый мне на пропитание. И каждый раз меня мучила дилемма. Можно копить пять дней по рублю на банановую жвачку «Вон бим вон» и, не отставая от всей страны, создавать иллюзию сытости, либо копить два дня, чтобы в полдень в столовой купить стакан молока с куском чёрного хлеба. Но топлёное молоко всегда было переварено и непременно отдавало гарью, а жвачка-то сладкая, со вкусом африканских плантаций. У прилавка – настороженная очередь за молоком с хлебом. Счастливики покупают сладкий чай с

коржиком. Но ещё больше таких, как я, бесцельно слоняющихся по залу, блудливыми взглядами озирающих столы. За длинным столом десять ребят, подпавших под государственную программу «для детей из неблагополучных семей», под присмотром унылого историка поедали завтрак. В столовой царили гвалт, невообразимая суета, поварахи едва успевали продавать товар. Вот на входе появились пятеро гопников из криминальной группировки. Очередь начала редеть. Трое хулиганов остановились на входе, чтобы отловить убегающих, двое других подошли к прилавку к тем, кто не заметил их появления. В душе я безумно радовался, что у меня нет денег и что их не придётся отстаивать. Лица в очереди стали заметно испуганными, каждый боялся оказаться униженным на глазах у всех. Кажется, один только Иншаков (мой одноклассник), пользовавшийся покровительством авторитета Барина (друга отца), оставался беззаботным и не спрятал в карман обеденных ста пятидесяти рублей. Даже ребята постарше, хотя и пытались сохранить лицо, но заметно нервничали. Наверное, именно из-за этой наглости, бросавшейся в глаза, хулиганы из принципа подошли к Иншакову.

– О, братан, поделись с пацанами, дай сотню!

Иншаков никак не ожидал такого поворота. Ответил заискивающе:

– Бля, пацаны, сам есть хочу, спросите у кого-нибудь ещё.

– Чё, ты сотню жалеешь для пацанов? – Хулиган посмотрел искренне, совестливо, с укором.

– Да мне самому едва на обед хватает...

– Ты чё, мразь, нюх потерял?!

Гопник неожиданно и потому легко выхватил обе купюры из рук Иншакова:

– Чтобы не жадничал!

Иншаков покраснел, зная, что за ним в эту минуту наблюдает вся очередь, и процедил сквозь зубы:

– С Бариним пообщаешься.

И тотчас же получил по носу. Несильно, но обидно.

– Ты чё, сука, меня пугаешь? Пошёл вон.

Потом Дзот подошёл к старшекласнику, потребовал денег взаймы и получил двадцать рублей. Я радовался тому, что в этот раз никто не избежал позорной участи: ни надменные старшекласники, ни школьные хулиганы, кичившиеся своими покровителями. Я радовался, что все те, кто любил изгаляться и измываться, теперь не могли скрыть страха и бессилия перед собственным унижением. Между тем другой хулиган донимал мальчишку из семьи беженцев, Нуриева Марата. Поскольку мальчишка был из нищей семьи, было совершенно неясным, каким образом он оказался в очереди. Может быть, украл деньги у матери. Такие ребята даже на общую фотографию класса не сдавали денег и в эти дни просто не приходили в школу под разными пустыми предлогами. Я не слышал, чем и как угрожал Марату хулиган, а только слышал один и тот же, словно испорченная пластинка, тупой ответ:

– Я сам хочу есть.

Отодвигаясь от вымогателя и теснясь к прилавку, Марат неестественно изогнулся, словно из него душу вынимали. Он растягивал слова как резину, как жвачку, выговаривая с детским упрямством, почти капризно, словно дело касалось не хулиганов, а строгих воспитателей. Как будто дело было совсем не в том, что в кои-то веки он смог позволить себе купить сладкий чай с коржиком. Как будто он был одним из всех и каждый день отстаивал длинную очередь в столовой. Но обут он был в старые советские кеды, в которые уже давно стыдились обуваться, и одет в школьную робу, которую носили только такие хмыри, как я. И я не понимал, почему такие ребята, как Марат, никому и ни за что не признались бы в нищете,

как не признавались в трусости наши мучители, которые, тем не менее, были унижены на глазах у всех в этот небывалый день другими, ещё более злобными мучителями. Не понимал потому, что все ухищрения нищих казаться наравне со всеми со стороны были отлично видны и выглядели смехотворными, и так же смехотворно выглядели бахвальство и наглость, когда за этим скрывалась трусость. Но если в первом случае все насмеялись над нищими, то во втором почему-то никому не пришло в голову посмеяться, например, над Иншаковым.

Несколько ударов в живот привели, наконец, Марата в чувство. Деньги перекочевали к хулигану, а Марат остался сидеть на корточках поодаль от очереди, пытаясь отдышаться. Я подбежал к нему, желая успокоить, но не нашёлся, как это сделать, и лишь спросил:

– Ну что?

Марат задорно взмахнул копной волос и сквозь гримасу довольно искренне беззаботно улыбнулся:

– Всё нормально.

И я в тот же миг отошёл от него, отвлекшись на другие события. Да, действительно, у Марата всё хорошо. Как моментально преобразилось выражение его лица после моего вопроса: совершенно ничего не произошло – всё в порядке. Он ещё немного посидел один, приводя в порядок дыхание и удивлённо взмахивая гривой.

Тем временем дети из неблагополучных семей справились с завтраком, дружно поднялись из-за стола и ушли. Унылый историк вышел вслед за ними. Я инстинктивно приблизился к их столу, который через минуту-другую должны были прибрать дежурные. Что я вижу?! Чуть больше половины ватрушки. Даже повидло с краю осталось. Ватрушка, конечно, надкусанная, но чистенькая и даже очень видно что вкусная. Пока я размышлял над тем, что мне делать, к столу, загадочно переглядываясь меж

собой, подтянулись ребята, подобные мне самому. Самый прыткий из них вдруг ловко подхватил сладкий обедок и принялся есть. Но остальные хором заверещали: «Нищеёбец, мразь! Фу!» Мальчишка немедля швырнул обедок на пол, словно какую-то заразу, но было поздно. Все показывали на него пальцем и кричали: «Мразь, загашенный чёрт! Фу!» Я очень удивился, ведь каждый из них только что готов был, не брезгуя, доесть обедок, а теперь все они заклеями мальчишку, оказавшегося быстрее, чем они сами. А может быть, для того они и подтянулись к столу с обедками, чтобы посмотреть на того, кто подымет ватрушку, кто «загасится», ради какого-то необъяснимого удовольствия?.. Какая мерзость – видеть это в таком свете. Будто три десятка голодных ребят молча, ухмыляясь, ждут, когда жертва, такая же голодная, как и они сами, дотронется до обедка, поднесёт ко рту, откусит первый кусок, затем второй, – чтобы потом закричать: «Фу, мразь!» И никто из них не признается в том, что боролся с едва ли преодолимым желанием съесть обедок самому. Прозвенел звонок, и я побежал на второй урок, очень довольный тем, что меня дважды миновала позорная участь. Из-за задержки в столовой я опаздывал на две минуты. Летел, как ветер, по коридорам и рекреациям, взлетал на этажи, перепрыгивая по три ступени разом, и вместе со мной неслись многие другие опоздавшие. Потоки стлелись в коридорах, на поворотах, на углах, весёлая кутерьма скатывалась со ступеней. Наконец я достиг рекреации, в конце которой был нужный мне кабинет. Но весь класс толпился возле кабинета, лица ребят были сконфужены, разгневанная математичка зачем-то кричала на них, чуть в сторонке стоял чем-то очень довольный Иншаков. Ещё чуть дальше – группа лохов из нашего класса. При моём появлении лица ребят просветлели, почему-то мне

казалось, что их лица выражали надежду. Приготовившись оказать любую помощь, какая от меня потребовалась бы, обрадованный смутной перспективой удовлетворить надежды всего класса, простодушно улыбаясь, я подошёл уже совсем близко, и вдруг прихвостни Иншакова набросились на меня, стали заталкивать в кабинет, а я вяло сопротивлялся, всё ещё не понимая происходящего. Мальчишки кричали: «Вафлёр¹, фу, вафлёр!» В суматохе я потихоньку сообразил, что Иншаков сказал всем, что тот, кто первым переступит порог кабинета, – вафлёр. И никто не входил: ни девочки, ни мальчики, ни отличники, ни лохи, успевшие отбежать на безопасное расстояние. Даже когда подошла учительница и начала возмущаться по поводу их поведения, никто не сдвинулся с места. Как раз к апогею ситуации появился я – чмо и лох, на их счастье, ничего не подозревающий. Меня схватили, стали заталкивать в кабинет. С тоскою я смотрел на учительницу, но её возмущение уже улеглось, и она только тихо мямлила:

– Ну, будет, будет вам, ребята.

Фантастическое начало апреля! За окном рошица раздышалась. Почки, цветочки, листочки. Зелёные побеги на бурых прогалинах нежно колышутся над землей, как сонный июльский пух. Акации вдоль школьной аллеи особенно безобразны, угловаты, изломанны перед цветением, а через неделю они уже станут зелёными, а в мае сплошь покроются сладкими жёлтенькими свистульками, будто солнышко нарядило кусты лучистыми искрами. За аллеей, на школьном стадионе, собралась местная молодая шпана и, судя по угрюмым лицам, решала какие-то глобальные проблемы. Хорошо бы оказаться на улице, подобно этим угрюмым ребятам. Среди них ученики из моей школы. Наверное,

¹ Вафлёр – грубое оскорбление. (Здесь и далее примечания автора.)

им приятно смотреть на школьные окна извне, когда у нас в кабинетах кружит пыль, в протухшей атмосфере пощипывается душок, и учительница извлекает корни из наших мозгов. Наверное, здорово получать хорошие отметки за одно лишь отсутствие на уроке, отнимать деньги и унижать всех без разбору, приезжая иной раз в школу на японских или немецких брничках. Хотя кому не ведомо, что у них каждую неделю строгие сборы² и там им частенько изрядно влетает, если к тому же учесть, что вся шпана посещает тренировки по боксу. Нет, это слишком жёстко для меня. С соседнего ряда слышно, как Иншаков и компания планируют в этот день присоединиться к банде. О, Господи, только не это! Возможно ли будет появляться в классе при таких обстоятельствах? Если сейчас я ещё могу отстоять свой жалкий рубль, ещё могу дать сдачи за оскорбление, ещё могу избежать принуждения и издевательства, то возможно ли это будет завтра? Но Бог тут ни при чём, и то, что завтра я лишусь последних иллюзий о собственном достоинстве, – неизбежно. Каждую перемену я тщательно продумывал маршрут передвижения по школе: со второго на третий этаж попадал непременно через первый, поскольку на первом этаже учились начальные классы, и шанс наткнуться на шпану минимизировался. Избегал центрального коридора на втором этаже, ибо, помимо учителей и серой массы учеников, там «протекал» весь хулиганский сброд, а захожие гопники прогуливались как у себя дома. Выбегая на переменах на улицу, за школу или в овраг,

чтобы перекурить, я тщательно проверял, нет ли там тех или иных моих мучителей. Но если мои одноклассники присоединятся к группировке, то все мои ухищрения потеряют смысл, и мне не миновать неприятностей. Это всё равно что войти в горящую избу и не обжечься.

Казалось, что от голода желудок наматался на позвоночный столб, а вместе с этим ощущением во рту появлялся привкус мазута. Потемнела весна в окне, потому что на солнце налезло огромное облако. Я собрал пожитки в пакет и запросто вышел из кабинета, никому ничего не говоря и не обращая внимания на разинутые от удивления рты. Через рекреацию к лестнице, потом на первый этаж, через раздевалку к вестибюлю на выход. Шёл, глядявываясь в школьную даль, чтобы при появлении на горизонте какой-нибудь школьной шпаны (настоящая шпана находилась на сборах на стадионе) вовремя остановиться, сделать вид, будто что-нибудь забыл, развернуться и пойти в обратном направлении. Мне везло – никто не попадался на пути. Со школьного крыльца я, к своей радости, за дорогой в овраге узрел мальчишку из параллельного класса – Лёху Грошикова. Месяцем ранее нас с ним подружил неприятный случай. Однажды утром я вошёл в рекреацию, где ожидал начала урока класс Грошикова. Лёха стоял в сторонке, один. Я подошёл к нему и протянул руку, но он тихо сказал:

– Не здоровайся со мной, а то скажут, что ты тоже опущенный³. – И добавил: – Не верь, это Ананьев слухи распускает.

Я посмотрел на стоящий поодаль класс, внимательно наблюдавший за нашим разговором. Над всеми возвышалась белобрысая голова гопника Ананьева. Все молчали. Мне стало обид-

² Строгие сборы – 1) для младших ребят всеобщий обязательный сбор. Старшие ребята отходят поодаль, становятся в круг и вызывают по одному младших. Каждый младший входит в круг и не выходит до тех пор, пока каждый старший не удовлетворит свою страсть физического насилия над ним. Таким образом выясняются отношения, проводится воспитательная работа, наказываются проступки; 2) всеобщий обязательный сбор для обсуждения проблем банды.

³ Опущенный (пожизненное звание) – человек, изнасилованный или запятнанный отходами человеческого организма (синонимы: помазок, петух, вафлёр).

но, что никто и не подумал предупредить меня, чтобы я не здоровался с Грошиковым. Ведь в этом случае и сам немедленно переходишь в разряд «опущенных». Я переспросил Лёху:

– Так это неправда?

– Нет.

Я сам пожал ему руку. Лёхин класс тотчас же завершал, показывая на меня пальцами: «Фу, помазок, опущенный!» Я и не думал подходить к ним, чтобы поздороваться, но они кричали: «Фу, иди на х., не подходи, мразь!» С неделю меня называли опущенным, и отношение ко мне было соответствующим, пока миф о Лёшкином прошлом не был развенчан. Ананьев признался случайно: «Я пошутил», и все порадовались, говоря о том, как благородно поступил Ананьев, развенчав унижительные слухи. Поэтому, завидев Грошикова в овраге, я обрадовался искренне. К тому же мне нечего было курить. Я с удовольствием закурил предложенную сигарету. Лёха спросил:

– Тебе нужна денди⁴ на три дня?

– У меня денег нет.

– Да без денег, просто поиграть на три дня возьмёшь? Пять картриджей дам.

Денди на три дня, запросто?! Это шутка такая? Это же моя давняя мечта, поиграть в денди, запереться дома, не выходить на улицу, не открывать двери, не отвечать на звонки, не думать ни о чём, кроме танков и твердолобого мужичка по имени Марио. По такому поводу можно даже позабыть о школе, тем более что завтра класс пополнится новоиспечёнными гопниками. А через три дня будь что будет.

– Спасибо, Лёха, конечно возьму!

Лёха побежал в школу, а через пять минут вернулся с пакетом. Весь светится, улыбается – удружил мне. Какой он всё-таки добрый, Лёха Грошиков. Я немедля, чуть ли не вприпрыжку пос-

какал домой, далеко, конечно, огибая стадион, на котором собралась шпана. На всё было плевать, в том числе и на третий урок, и на все уроки, и на завтрашний учебный день, и на послезавтрашний, и на всю школу. Я планировал погрузиться в мир, в котором я был единственным по-настоящему живым обитателем. Я вбежал домой, подключил к телевизору подозрительно легкую приставку, включил в розетку – никакого эффекта. Я корпел и так и этак, принимался за дело с одной стороны, потом с другой – всё бесполезно. Только тогда я догадался отверткой отвинтить винтики и заглянуть под корпус. Абсолютно пусто. Ни схем, ни деталей, голый корпус. Похоже, Лёха подшутил надо мной. Я прибежал в школу к завершению третьего урока, нашёл Лёху, отдал пакет.

– Чё такое? – настороженно спросил Лёха.

– Не смешно, Лёх, – сказал я, – голый корпус, ни одной схемы нет...

– Чё ты лепишь?! – искренне возмутился мой приятель. – Ты что, приставку сломал? Это вообще Ананьева приставка, попробуй, объясни ему.

Продали, как стеклоару. Эх! Лёха предал меня собственному учителю за игровую приставку. На перемене ко мне подошли гопники. Завели в туалет, сначала долго угрожали, потом долго избивали, потом снова угрожали, и я просто морально устал – вымотался. Я твердил одно и то же, что денег не дам, что моей вины нет, что все они меня разводят как лоха. Меня снова попинали ногами и оставили в покое, сказав на прощание:

– Чтобы завтра деньги были. Не принесёшь – опустим, и вообще домой будешь на карачках возвращаться каждый день. Ты понял, чушпан?

Я ничуть не сомневался. Незачем повторять несколько раз. Вас много. Вам доставляет удовольствие унижать. Уже давно ясно, что люди сбиваются в кучу только для того, чтобы легче было унижать других людей. Братик, прихо-

⁴ «Денди» – игровая 8-битная приставка.

дя из детского сада, постоянно жалуются на то, что его обижает компания ребятшек из группы, которые смогли скооперироваться между собой. Мать, говоря по телефону с приятельницами, решает: кого выжить из школы, кого «срочно поставить на место», кому из коллег «перекрыть кислород». В свете этого становится ясным, почему Иншаков решил присоединиться к банде, невзирая на наличие авторитетного покровителя и возможность решать любые проблемы. Теперь поддаётся объяснению поведение отличников и подхалимов, ищущих опеки учителей в ущерб собственному достоинству: изо дня в день они поливают цветочные горшки, моют полы и доску, надеясь на то, что появятся новые подхалимы, к которым плавно перейдут презренные обязанности. Но что делать мне, если они повсюду, если они сильнее меня, если всякий сброд пытается унижить и забить меня, довести до состояния послушного дебила, если каждодневная лоботомия неизбежна. Коридоры, рекреации, гетто и люди, люди, люди. Как памятен тот школьный туалет с бычками и плевками на шашечном полу, с презервативами в унитазах, с разводами на стенах и зелёными стеклянными кирпичами вместо окон. После экзекуции я шёл по школе с непонятным желанием найти сочувствие в глазах встречных школяров и учителей. Но школяры злобно ухмылялись. Потому что в последний год я стал выделяться из общей покорной массы и, по их мнению, получил заслуженное возмездие. Несколько лет я как будто пребывал в смутном беспомыслии, а теперь вот пытаюсь возродить в себе человека, и это не нравилось школьному окружению. Или я не вовремя решил вернуть свою честь и нужно было дожидаться окончания школы, как, по-видимому, дожидались остальные? Или это было не возрождением, а воплем протеста против сложившегося общественного устройства,

и я возомнил о себе слишком много? Или в какой-то момент я тихо сошёл с ума и теперь видел мир не таким, какой он был на самом деле? В который раз я чувствовал себя выпавшим из мира людей. В который раз я шёл битым и униженным по коридорам, по рекреациям, по лестницам мимо ухмыляющихся школяров и одноклассников, мимо равнодушных учителей. Я шёл и остро чувствовал, что между мной и этими людьми есть огромная и неведомая разница, которую нужно выявить и ликвидировать, чтобы обрести покой. Как я был близок к истине тогда! Но истина была так проста и так безумна, на первый взгляд, для мальчишки, не имевшего за душой жизненного опыта. Поэтому истина прошла мимо меня, поэтому я не стал даже вдумываться во всё это.

Более всего было обидно, что уже не имело смысла идти на предстоящую школьную дискотеку, где я планировал признаться в симпатиях Наташе Архиповой. Медленные танцы, интимный полумрак, девичье шушуканье и приторные запахи туалетной воды – это удовольствие стало утерянным для меня. Шпана такие мероприятия не пропускала. После экзекуции в школьном туалете и обещанной расправы глупо было полагать, что за меня не примутся вновь, если я появлюсь на глаза своим мучителям раньше срока. Оказаться униженным перед всеми девочками школы казалось мне самым невыносимым, что могло произойти. Я сидел на лавке, уныло размышляя о завтрашнем дне, когда во дворе появился Третьяк с компанией. Сам Третьяк был взрослее своих приятелей, сметливее и сильнее. Первый раз он избежал судимости, сбегав в армию, причём побывал в дисциплинарном батальоне. Второго срока за разбой ему не удалось избежать. Он был действительно сметлив, а попадался в руки правосудия лишь потому, что, воруя и грабя, невозможно оставаться на воле долго. Вместе с компанией при-

ателей он грабил поздних прохожих, но прямого участия не принимал, зато воровством занимался в одиночку, и поэтому о делишках его никто ничего не мог донести органам правосудия даже под пыткой. С этой же компанией Третьяк кутил. Гопники его не трогали, потому что в компании Третьяка были пацанята Гаврик и Компот, их старшие братья были взрослыми авторитетами в банде. И, конечно, при таком раскладе лучше кутить и бездельничать, чем блюсти строгую дисциплину, посещать бокс и тренировать лицо на строгих сборах. Гаврик был самым отчаянным. С Компотом у меня были особые счёты, поскольку нам довелось драться за два месяца до этой встречи из-за пустяка – не разошлись на узкой тропинке. Он был толст, силен, задирист, но я дал ему хороший отпор и победил в драке, а на следующий день после этого меня били гопники по просьбе его старшего брата. Также были в компании Третьяка два брата: Косой и Рыжий. Правда, сначала их было трое, но один скончался от туберкулёза, подхваченного в колонии. Рыжего – Женю – тоже ожидала смерть от СПИДа. Но он по этому поводу ничуть не унывал и даже хорохорился, что проживёт с ВИЧ ещё пятнадцать лет, то есть столько же, сколько прожил. Люди чурались Рыжего, не любили о нём говорить, избегали даже думать о нём, наверное, потому, что он был для всех олицетворением мрачной перспективы: уродливый, придурковатый, смертельно больной. Он был совершенно простодушен и даже бил кого-либо всего лишь ради веселья. Только компания Третьяка воспринимала Рыжего запросто. Его старший брат Илья, он же Косой, был крепким парнем; достоверно был известен случай, когда однажды он залез по соседским балконам в свою квартиру на восьмом этаже, поскольку мать уехала с любовником на Дальний Север, не оставив сыновьям ключей от квартиры.

Компот смотрел издали, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. Теперь он был с друзьями. Он вышагивал вольготно, как у себя дома, смотрел на меня надменно и победоносно. Я же сидел на лавке в довольно унылом настроении, с кровоподтёками и синяками на лице, в школьной робе, жалкий. Рыжий с Гавриком смотрели с нескрываемым ехидством. Косой нейтрально отводил глаза. Третьяк смотрел как-то настороженно, что меня слегка удивило. Приблизившись ко мне, Компот, сладко улыбаясь, начал говорить:

– Ну что, чушпан...

Я тотчас встал и прервал его речь ударом по носу. Несмотря на разницу в возрасте, я их всё равно не боялся так, как боялся гопников. Рыжий с Гавриком кинулись на подмогу Компоту. Началась возня, в ходе которой никто не мог добиться успеха, пока в потасовку не встрял Третьяк, хорошенько ударив меня в челюсть. Я упал, но всё тот же Третьяк не дал приятелям добить меня ногами. Он помог мне подняться и отряхнуться, а потом сказал как-то добродушно:

– Пойдём с нами.

Мы все пошли домой к Илье-Косому, а Рыжий побежал за водкой. О, если бы работал лифт! Мы поднимались на восьмой этаж пешком. На третьем этаже нам повстречался сосед Косого – старый алкоголик. Увидев его, Гаврик почему-то рассвирепел, принялся его бить, остервенело прыгать на его голове до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Но всего этого мы не видели, поскольку не стали задерживаться, поднимались дальше и на тот момент уже находились в квартире. Как не видели и того, что на крики выбежала жена соседа, тоже алкоголичка, которой также изрядно досталось от Гаврика. Потом Гаврик вошёл в их квартиру в поисках наживы – тут-то его и повязали два мента, один из которых был соседом алкоголика и случайно

заскочил с другом домой, чтобы пообедать. О происшедшем нам поведал вернувшийся с тремя литрами водки Рыжий. Ему удалось проскочить лишь благодаря тому, что менты ещё не успели съехаться к месту происшествия. Основательно запершись и забаррикадировав дверь, мы начали пить водку, поминая усопшего соседа и Гаврика, и заедать квашеной капустой, кроме которой в доме из съестного ничего не было. Все разговоры в пьяном угаре сводились к дракам, разборкам, грабёжам. Они осуждали какого-то им знакомого хулигана, изнасиловавшего прошедшим воскресным днём на территории детского сада третьеклассника. Обсуждали перспективу грабежа соседской квартиры. Говорили о том, что неплохо было бы вечером пройтись по району, чтобы насшибать денюжат, поскольку водка скоро закончится. Вспоминали знакомых дворовых ребят: тот в колонии строгого режима, другой зарезан, третий повесился, четвёртый долго болел и умер, многие остепенились и работают грузчиками, водителями, чернорабочими. С удовольствием говорили о бабах и о том, кому из них можно дать в рот. Вспомнили какого-то знакомого, бывшего, бывшего и, в конце концов, зарубившего свою мать. Расправляясь с четвёртой бутылкой, помянули покойного Барина, накануне расстрелянного в собственной квартире (что стало для меня новостью). Поминали с грустью, сентиментально смахивая несуществующие слёзы, словно имели причастность ко всему произошедшему. После пятой бутылки начали ругаться между собой: «Как мне надоела твоя рожа, сука!», обменялись несколькими ударами, опрокинули стол, схватились за ножи, пока Третьяк не успокоил одного ударом в ухо, другого пинком в живот. Не участвовавший в потасовке Рыжий случайно порезал руку, и все заметно занервничали. Все сидели раздетые по пояс, дополняя непрехотливый натюр-

морт на столе нательными татуировками. Каких только не было: тарантулы, ползущие по паутине, рыцарские мечи с вензелями и надписью ЛОРД – «Легавым Отомстят Родные Дети», свастики, оскалы волков и львов, собор с куполами под ликом Казанской Божьей Матери. И среди всего этого синего великолепия на серебряных и золотых цепях колыхались нательные крестики. Косой вдруг поцеловал свой крестик:

– Прости мя, Боженька. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.

Остальные молча перекрестились и тоже поцеловали кресты. Только Компот по мусульманскому обычаю погладил ладонями лицо: «Бисмилла...»

– А ты чего? – спросили меня. – Не веришь в Боженьку?

– Верю. Просто пока не знаю, что ближе.

Компот начал меня упрекать, что я отказываюсь от веры моих предков. Другие стали склонять к православию. За столом стало спокойнее и уютнее. Косой с Компотом вышли из кухни, чтобы поговорить наедине. Там было две комнаты, в которых я ещё не был. Их не было довольно долго. Третьяк с Рыжим продолжали пить.

– Чего это они так долго?

– Трахают, наверное.

– Кого?

– Там сука в зале лежит, бухая в хлам. Она у нас уже три дня бухает, – небрежно пояснил Рыжий и добавил простодушно, словно желал мне угодить: – Хочешь, сходи, трахни её.

Испугавшись чего-то, я пошёл проверить. В зале на деревянном полу лежала невменяемая пьяная женщина лет сорока. Бордовая, базарная, рыхлая, она лежала на спине, широко раскинув голые ноги. Нательный железный крестик лежал на обесцвеченных потрескавшихся губах, медная цепочка висела на ухе, растрёпанная причёска походила на мокрую мочалку и местами открывала плешь. Пах едва прикрывала оран-

жевая блуза. Дряблые ляжки лениво сотрясались: меж ними покатывалась бутылка. Компот с Косым стояли над ней, плотоядно ухмылялись и заталкивали ногами пустую бутылку от шампанского в неё, *туда*. В буйной радости оба посмотрели на меня, дескать, гляди, как весело, давай развлекаться вместе. С каждым толчком баба рефлекторно постанывала: «О, Господи, Господи!» – слова тонули в рвотном клокотании и булькании. Ребята с ещё большим усердием принимались толкать бутылку, и по ним было видно, что вызываемый этим воздействием рефлекс доставляет им непонятное сладострастное наслаждение. «О, Господи...» Я был глубоко потрясён увиденным и поднял глаза, желая встретить взгляд Косого, ибо полагал, что раз он обладает хотя бы небольшим представлением о справедливости, то и частичка добродетели в нём наверняка ещё осталась. Но мои глаза увидели жуткое зрелище: откуда-то из-под лопатки торчало совершенной формы чёрное крыло, застывшее в таком положении, как будто Косой сложил его на спине для роздыха. Вдруг чудовищно что-то взвыло, чей-то холодный поцелуй легко коснулся моего затылка, от этого волосы на голове зашевелились, как живые черви, и поднялись дыбом. Сознание подсказывало, что это галлюцинация, что на самом деле загудели чугунные радиаторы, а в затылок подул случайный сквозняк, но вдруг взглянувшие на меня Компот с Косым изменились в лице и страшно побледнели. Нас разделяло метра три. Их глаза как зеркало отражали мои собственные испуганные мысли. Косой перевёл взгляд на пьяную бабу, потом на бутылку, упал на колени, но крыло осталось, как бы зависнув в воздухе. И тогда стало видно, что это была всего лишь чёрная кофта, висящая на гвозде, забитом в косяк балконной двери. Косой опёрся руками о пол, чуть наклонился, как будто его сильно замутило, и замер. Я подошёл поближе,

дотронулся до плеча, реакции не последовало. Тогда я с силой попытался поднять, но Косой был гораздо сильнее и прижался к полу. Чтобы убедиться в своей догадке, я страстно хотел заглянуть ему в глаза и пытался сделать это, но он молча и отчаянно мотал головой, пряча лицо. Наконец он заплакал, и после этого я почему-то с лёгкостью убедил себя, что Косому просто стало дурно. Компот всё ещё стоял на прежнем месте. Я спросил:

– Что ты видел?

Компот застыл, уцепившись взглядом за несуществующую точку, глядя в никуда. Но кто-то неизвестный был виден в глубине его зрачков, и этот кто-то отчаянно рвался наружу. Как будто замученная, задавленная личность, проведшая жизнь в темнице, вдруг увидела образовавшийся проход и пробудилась, забеспокоилась, затревожилась, попыталась вырваться. И в тот момент, когда Косой плакал на полу, и мы с Компотом стояли друг напротив друга, и я настойчиво повторил вопрос: «Что ты видел?» – Компот почувствовал себя тем, кем на самом деле являлся и каким себя никогда не знал. Вся грязь и мерзость, вся жизнь промелькнула перед его глазами, как стремительный ночной кошмар. Это было страшно и ново – почувствовать себя жертвой. Ведь это страшно, узнать вдруг, что всё доселе известное и познанное – ложь; что ты не мучитель, а жертва; что город, в котором ты живёшь, – тюрьма. Его передернуло от ужаса, потому что в это бесконечно короткое мгновение он всё увидел глазами узника. В один-единственный миг он осмыслил, что вот только сейчас родился на свет, что кругом мрак, что он натворил много зла и что творил это зло по примеру других людей. И не успев домыслить всё это, не успев родиться по-настоящему, он, ужаснувшись, тут же отринул всё и моментально забыл испытанный ужас. Озверел, выхватил финку, полоснул воздух передо мной

и зашипел: «Уходи, зарежу, гад!» На меня смотрел прежний Компот, давно известный мне. Я бежал от них, как от прокажённых, испытывая неутолимую жажду очищения, мечтая забыть всё слышанное и больше никогда не видеться с ними, словно от этого зависело моё будущее.

– Стой, куда?! – остановил меня Третьяк в прихожей. – Подожди, сейчас уже все пойдём гулять, денег найдём, нормальных баб позовём.

Меня вырвало на пороге квашеной капустой.

– Там тебя легавые загребут. Спи здесь!

Но я вырвался. Я им был нужен не только для того, чтобы вместе с ними бить и грабить прохожих, и не для того, чтобы веселее было пьянствовать. За выпивкой ко мне относились почти трепетно, с почтением, даже Компот стал гораздо дружелюбнее. Я был им нужен для маленького ощущения света, поскольку в их глазах до поры до времени я не был извращён познанной ими грязью, ставшей повседневностью.

На свежем воздухе значительно полегчало. Кое-как добрёл до родного подъезда, присел на корточки под козырьком, чтобы отдышаться и прийти в себя. Какой пронзительный, какой бескорыстный воздух! Как он невозможен в известном мире. С какою звонкостью разносятся гулкие шаги людей. С какою нежностью польхают лужи отражением окон. Сколько ласки в расплескавшемся вечере. Сколько апреля в моей груди чахнет, мучительно задыхаясь в предвкушении будущего. Сколько грусти в мусорном контейнере, стоящем возле подъезда, и сколько отчаяния в старухе, разгребавшей помой в поиске пищи. Против воли я вспоминал поведение Компота с Косым и втайне признавал себе: да, что-то было. Если уж такие вымороженные люди, как они, поддались ужасу, источник которого не имеет объяснения, зна-

чит, что-то действительно было. Мысли метались, ища освобождения от боли и инфицировавшей голову заразы, – всем узнанным за последние часы. И я был несказанно рад увидеть Вовку, моего соседа по подъезду (он учился в параллельном классе), смутно надеясь, что общение с ним отвлечёт. Поэтому даже не пришло в голову поинтересоваться, почему Вовка вернулся так рано.

Вовка деловито закурил и сообщил новость:

– Наташку Архипову сегодня пустили по кругу.

– Кто?

– Иншаков, Сорокин и ещё трое из вашего класса.

– Всё враньё! – Я возмутился. – Всегда распускают слухи.

– Всё – правда. Архипова сама пожаловалась завучу. Её на дискотеке под шумок завели в кабинет биологии, четверо держали, пятый трахал, потом менялись. – Вовка усмехнулся. – Только Низамову не далась. Конечно, такому дебилу позорно давать... Вырвалась, когда до него черёд дошёл, и к завучу побежала...

– Ну и что, вызвали ментов?

– Нет, не вызвали, хотели так замать.

Но Архипова домой убежала.

– Плакала?

– Наверное. Не видел. Говорят, заявить обещала. Она по-любому сдаст.

– Ну а завуч почему не вызвала милицию?

– А я знаю? Сказала, сами разберутся. Тебя, кстати, гопота искала...

* * *

Спустя какое-то время карета скорой помощи увезла меня в психиатрическую лечебницу. Старое коричневое здание лечебницы располагалось в центре города и было абсолютно неприглядным для проходящих мимо обывателей. Высокая каменная ограда скрывала территорию и первый этаж здания. Огромные зарешеченные окна

были затушёваны белой краской, и увидеть то, что происходило внутри, с улицы не представлялось возможным. Въезжая за ограду через чугунные ворота, снедаемый бредом и жаром, я смутно догадывался о месте назначения и испытывал мучительный страх перед перспективой оказаться в обществе буйных психов. Чьи-то сильные руки проволокли меня по коридорам. Лестницы, перила, этажи, громыхали замки, скрежетали массивные петли. Мельком проносились широкие дверные проемы без дверей, открывающие взору просторные белые палаты и пациентов: убогих, перекошенных, настороженных, безразличных или, наоборот, хищно пронизывающих взглядом новенького. Меня положили на койку, попытались подсоединить к капельнице, но я испугался того, что меня собираются накачать препаратом, который изменит настоящего меня, ещё более сильным, чем электромагнитные волны или телевизор, и стал отчаянно сопротивляться. На меня навалились, сели, сделали успокоительный укол и подсоединили к капельнице – ничего страшного не произошло. Шли дни. Барбитураты и транквилизаторы действовали на меня как на нормального человека. Глубокий покой занял большую часть души. Закончился бред, миновал кризис. Память слабела с каждым днём, уступая место возобновляющейся реальности. Прогулки по отделению возвращали меня в мир людей. Пациенты были гораздо взрослее меня, много было старых. Подавляющая часть пациентов сливалась в одну безликую массу запуганных, задёрганных, рассеянных человечков. В скудном общении между собой, возникающем только в случае ощущения полной всесторонней безопасности, они становились маниакальными занудами. Воздействие барбитуратов на них сводилось к подавлению паники, но от бреда не избавляло. Другая, малая часть пациентов, которая была представлена тремя молоды-

ми парнями, на первый взгляд казалась абсолютно здоровой. Их группа представляла жёсткую иерархическую структуру. Взаимоотношения обуславливались степенью буйности и отличием их мировосприятия от общепринятого. Один неверный взгляд или жест легко навлекал на собеседника необузданное бешенство.

В каждой палате на ночь оставляли ведро для нужд, поскольку в туалет водили только под присмотром в определённые часы дня. В нашей палате был тихий интеллигентный старичок, который следил за исполнением обязанности дежурных, чтобы они относили парашу к выходу из отделения, где ведро забирали уборщицы и уносили в туалет. Как-то утром старичок попросил самого буйного из трёх молодых пациентов, Мотю:

– Мотя, сегодня пришла твоя очередь, отнеси парашу.

Мотя живёхонько откликнулся и унёс парашу. Прошло десять дней, снова пришла очередь Моти. Старичок, помня, что выход из отделения находится возле столовой, сказал:

– Когда пойдёшь завтракать, не забудь захватить парашу.

Мотя моментально озверел:

– Не разговаривай со мной так! – Он накинулся на старика, стал бить, пытался вцепиться зубами в горло.

Мотю по этому случаю на пять суток закрыли на карантин. Я искренне посочувствовал обоим, понимая, что последняя фраза старика подразумевала скрытый манипуляционный характер, как бы приказывала исподволь. Так говорить можно, но только с нормальными людьми, которые всё стерпят. С параноиком, обладающим чрезвычайно острым, чутким восприятием действительности и яростно оберегающим личную свободу, это слишком опасно. Старик не понимал истинного содержания фразы, а значит, не понял сути произошедшего конфликта.

То же самое произошло в столовой на завтраке, когда пожилая раздатчица, о чём-то задумавшись, без всякого повода механически сказала Моте, подавая овсяную кашу:

– Если хочешь, миленький, можешь поесть кашки.

– А что мне ещё остаётся?!

Мотя набросился на неё только из-за того, что она предоставила ему иллюзию выбора. Конечно, все, вплоть до врачей, подумали, что Мотя особо буйный, выпавший из логики субъект, не поддающийся никакому внушению. Его перевели в изолятор, где неделю пичкали транквилизаторами, доведя до инертности. Хотя я прекрасно понял природу трёх буйных, я всё же избегал их, опасаясь, что в какой-то момент «зависну», как всякий обыватель, и, сам того не желая, скажу что-нибудь нехорошее. Я нисколько не идентифицировал себя с душевнобольным, но все пациенты казались мне «своими», поскольку все были предельно понятны. У каждого была своя оригинальная мания бреда: кто-то прятал сухари под подушкой, у кого-то был выдуманный приятель или недруг, иные не хотели быть собой. Но всех душевнобольных объединяли два фактора. Во-первых, каждый из них с гордостью считал себя исключительным. Во-вторых, все они страстно любили испытывать страх или заставлять испытывать страх других. В этом-то и проявлялось занудство этих больных взрослых людей. Я прятался от них в тихих углах, но меня находили и приставали с разговорами, ревнуя меня к тишине. Непосвящённым тягостно лицезреть суетливые тела и вывороченные наизнанку лица, но меня ничто не пугало в них, а только раздражало упрямство. В своих порою гениальных умозаключениях они стояли на месте, словно дети, остановившиеся в развитии.

Мотя постепенно очухался от транквилизаторов и снова готовился буйствовать. Транквилизаторы, конечно,

вредны: могут превратить человека в овощ, но покуда это не случилось, логика пациента остаётся неизменной. Были все основания подозревать, что решением врачебной комиссии Мотю доведут-таки до грядки. Однажды я отвёл его в сторонку, угостил яблоком, добился, чтобы он стал добродушнее в лице и сказал:

– Послушай, Мотя, я понимаю, по каким причинам ты разозлился на бабу Надю. Но она бабуля добрая, и ты зря её ударил. И в прошлый раз старика тоже зря ударил. Потому что все люди говорят в такой отвратительной манере, но говорят несознательно. А тебе с рождения дана сила внимания. Ты бдителен, Мотя. Ты видишь то, чего не видят другие, поэтому, когда ты начинаешь драться, тебя никто не понимает, и это плохо. Нельзя ли тебя попросить как-нибудь по-другому выражать своё возмущение? – с пафосом заключил я.

Мотя странно усмехнулся и хлопнул меня по плечу:

– Хитрый татарин!

Развернулся и пошёл. Разительная перемена в поведении Моти не осталась без внимания. Теперь, когда ему что-нибудь не нравилось в словах, он начинал довольно логично поддевать собеседника и издеваться. Помимо прочего, взгляд стал осмысленнее, и порою казалось, что Мотя в задумчивости! Кто бы мог представить... Младший медперсонал, привыкший исподволь помыкать пациентами, значительно потерял в авторитете. Ибо Мотя встал на защиту справедливости, и когда кто-нибудь, например, кричал: «Щукин, если не будешь заправлять постели, пожалуйста, отнеси кружку в ординаторскую!», то неизменно встревал Мотя: «Щукин, из двух зол выбирай меньшее, ничего не делай!»

Проблески остроумия достигали цели. Постепенно душевнобольные начинали вникать и расшифровывать фразы. Медперсонал поначалу реагиро-

вал на остроты сдержанно, но с усилением бунтарского духа в рядах подопечных сдержанность переросла в гнев. Порядок и уклад отделения были нарушены. Всё чаще пациенты проявляли непослушание. Годы безрезультатного лечения и исполнения навязанных персоналом мелких обязанностей вдруг стали выливаться в негодование душевнобольных. В интонациях, жестах и словах забрезжил призрак насилия. В конечном результате верх одержала бы сторона медперсонала, и тогда, скорее всего, многие пожизненно отправились бы на грядки. Но в первом бою можно было одолеть надзирателей и всем скопом вырваться за территорию. Вот только не было вожака. Мотя же, как зачинщик и толкатель масс, не мог стать лидером лишь по одной причине: он не знал, что делать за территорией. Напрочь забыл гражданскую жизнь. К тому же иногда ему мерещился огромный паук, и тогда Мотя становился невменяемым от ужаса. Я знал, как избавить Мотю от галлюцинации, но не делал этого. Я уже усвоил, что этим людям можно абсолютно всё доходчиво объяснить, но объяснять придётся всегда, ибо их способность к внутреннему прогрессу атрофирована – к сожалению, в этом пациенты были подобны обычным людям. Был случай, когда один шизофреник два дня носился по отделению с воздушным шариком. Хлоп! шарик лопнул. Удивлению шизофреника не было предела. Предмет, с которым он прожил два дня, вдруг принял иную форму – бессмысленную и бесполезную. Точно так же душевнобольные не способны были увидеть будущее, которое их ждало, и будущее, которое они могли бы сотворить сами. Они не видели смысла в смене персонала, объясняя это себе тем, что бесполезные годы лечения никто не отменит. Нечего было и думать о том, чтобы выписаться. Администрация просто не позволит никому выйти. Даже если случится чудо – всеобщее исцеление, тогда придётся расформировать

целое психиатрическое отделение, а значит, урезать бюджет, уволить персонал, лишить заработка приличных людей, их семьи, – а это уже экономика. Даже новых пациентов делали полноценными психически больными. Всё это, как ни странно, больные чётко понимали. Они позволяли себе вспылить, подраться, побуянить, но были дальнзорки, не видя будущего за завесой мрака и не поднимая открытого бунта. Вследствие чего недовольство пошло на убыль, и весь протест стал сводиться к бесполезным перепалкам. Мотя по-прежнему выкрикивал разные глупости. Однажды воскликнул:

– Я понял, мы все здоровы!

Душевнобольные насторожились.

– Ну а что же ты тогда здесь делаешь? – снисходительно усмехнулся дежурный психиатр, Мотин лечащий врач.

– Вас кормлю!

Врач почему-то побагровел, ушёл в ординаторскую. Через час меня вызвали. В ординаторской я до тех пор ни разу не был. Кабинет скорее напоминал комнату отдыха, нежели лабораторию светил науки. В дальнем углу на комод – телевизор. Перед ним уютный полукруглый диванчик. На работавшем мониторе компьютера (на столике перед окном) были отлично видны фигурки «Тетрис». Прямоугольный стол для заседаний, заваленный какими-то кипами, папками и бумагами, стоял в центре. Я подозревал, что в этих бумагах запротоколированы душевнобольные. В открытом шкафу у стены заметил шахматную доску, домино и коробку с настольной игрой «Монополия». Почти у входа находилась софа, на которой спали дежурящие врачи. Семён Петрович спросил:

– Как чувствуешь себя?

– Спасибо, хорошо.

– Пожалуй, тебя пора выписывать. Ты вполне здоров, – сказал врач, внимательно глядя за тем, как яотреагирую на похвалу. – Кризис миновал.

– Пожалуй, – равнодушно отозвался я.
 – Ты что, не хочешь выписываться?
 – Пожил бы у вас ещё годик.
 – Отчего же это?
 – Через год у меня выпускной в школе.

Семён Петрович улыбнулся, самодовольно почмокал, шевеля бородой:

– Э, братец, так не пойдёт. Стресс – это поправимый недуг, и учиться ты пойдёшь. Тем более, каждый день о тебе справляются родные. Ты лучше расскажи, о чём вы с Мотей постоянно разговариваете?

Шахматная доска на полке шкафа интересовала меня больше, чем разговор с врачом. Он, конечно, проследил взгляд:

– Я люблю шахматшки. Ты умеешь играть?

– Изю всех сил.

Мы начали партию. Семён Петрович играл белыми.

– Ну, так о чём вы разговариваете с Мотей?

– О слепоте, – ответил я доверительно, – о душевной.

– Вот как?! – Не вникая в суть, Семён Петрович начал было говорить: – Да что тебе с ним говорить об этом? Ты молод, здоров, неопытен, а Мотя неадекватен, у него же бредовое мировосприятие. Почитай литературу, понаблюдай за жизнью, столько ещё впереди...

– Почитал, понаблюдал, жизнь впечатлила, а остальное – нет. Сделайте другой ход, Семён Петрович, вы вилку не предвидели.

– Значит, не те книги читал. У меня сын такой же. Вы, молодёжь, либо фантастику читаете, либо какую-нибудь ерунду про мерзавцев. Вот и весь стресс. Почитай классиков. Достоевского не рекомендую, а вот Зоценко или Толстой тебе не нанесут вреда.

– Я только это и читал. Толстой скучен. Вам шах.

– Что значит скучен? Он же мыслитель!

– Верно. Талант. Излагает красиво и набожно. Но, знаете, Семён Петрович, здесь есть и другая сторона медали. Толстой ориентирован на людей, умеющих переваривать мысль. Ведь мыслящего человека можно покорить и убедить красотой формы. То есть достаточно соблюдать красоту формы, и ум человеческий, следуя за этой приманкой, либо просто не заметит пробелы в логике произведения, либо самостоятельно их заполнит, не проверяя при этом на прочность. В этом смысле граф, призывающий людей к непротивлению, мне вполне понятен и скучен. Ой, Семён Петрович, ошибочку делаете, ферзя потеряете...

Соперник снял белый колпак и почёсал затылок. Посмотрел на меня исподтишка, и с этого момента стало происходить нечто. Семён Петрович плавно скопировал мою позу, стал повторять мои жесты и, казалось, стремился даже голосом подражать мне.

– Верно. Призывал к непротивлению. И что скажете, дорогой друг, по этому вопросу?

– Думаю, Толстой нанёс своей работой существенный урон людям. Даже после его смерти книги оказали и оказывают влияние на многих людей. Фактически он утверждал, что непротивление богоугодно. Но ведь непротивление, в сущности, – это потворство, соответственно, граф призывал читателя потворствовать несправедливости и злодеяниям повседневной жизни. Сыто и широко живя, вполне легко и удобно говорить о непротивлении.

– Да. Согласен. Это очень хорошо сказано. Вполне можно не соглашаться с Толстым, как ты. В этом смысле, кому как угодно, тот так и бредит...

– Это спорно, Семён Петрович. Вот возьмём для сравнения ваши последние три обращения ко мне. Вы, между прочим, в первой фразе согласились и ни разу не возразили мне. Во второй фразе согласились и возразили однажды. В

третьей фразе согласились и возразили дважды. И каждый раз возражали скрытым образом. А перед этим подстроились физически, скопировали позу, повторяете жесты, даже слегка подражаете моему голосу. То есть, как человек, обладающий опытом воздействия на людей, столкнувшись с моей логикой, попытались исподволь овладеть моим сознанием, вероятно, чтобы изменить мою точку зрения. Что ж, весьма лестно, значит, интересно. Только сознания во мне мало.

Мне было чрезвычайно приятно выражение лица моего взрослого опытного собеседника, вызванное моей речью. Надо сказать, Семён Петрович раскрыл рот от изумления, ибо не ждал от меня, малолетнего юнца, такой осведомлённости в специфике его работы.

– Вы, конечно, извините, не обижайтесь, но вы не граф Толстой, хотя и действуете с ним по одному принципу: сначала расположить, а потом уже воздействовать. Но методика графа куда изысканнее и красивее. Более того, человек, читая книгу, проникается сюжетом, эпизодами, персонажами и поступками. Читающий человек задействован эмоционально, следовательно, сопереживает и потребляет. И всякий образ, всякий поступок, всякий эпизод, описанный в романе, остаётся в голове и становится частью человека. Каждое прочитанное слово наращивает сознание. Каждое слово всё равно что стакан водки, который опьяняет и оставляет небольшой вклад в истории болезни печени. Читая, конечно, можно хорохориться, уходя в оппозицию, возражая и протестуя, или, наоборот, соглашаться, но в результате прочитанное в любом случае остаётся стереотипом поведения, мерой для оценки и сравнения новых вещей, явлений и понятий. А о том, что эта изящно внедрённая система вредна для личности и представляет угрозу людям, никто и не подозревает. А если ещё учесть бесконечные воз-

можности киноиндустрии! Вот и вся библия, Семён Петрович. От узды и от тюрьмы не зарекайтесь. Кстати, мы прозевали пат.

Семён Петрович крепко и надолго замолчал. Я понял, что, возможно, нахожусь на краю пропасти из-за своей болтовни. Хотя мне очень нужно было знать: вызывает ли моя теория отклик у кого-нибудь, тем более у специалиста в области подавления психики, ибо я был слишком юн и не мог быть уверенным ни в своей правоте, ни в реальности собственного мировосприятия, в чём я более всего хотел убедиться. Но что если вдруг мои подозрения верны, а Семёном Петровичем овладеет паразит, и он сделает из меня овощ? Чтобы не выпустить в мир. Чтобы не дать распространения моим мыслям. Чтобы созидание ада шло своим чередом, и ничто не пошатнуло сознания в людях, даже такой слабый бред, как мой. Ведь паразит могуч, вездесущ, коварен. И я как раз почувствовал его нарастающее присутствие. Нужно было немедленно увести врача за собой, пока он не задумал что-нибудь гадкое.

– Семён Петрович, давайте не будем терять контакта. Вы как врач и как психиатр, скорее всего, не верите в Бога. Дескать, не найдено такого места в человеческом организме, где могла бы скрываться душа. А между тем у вас есть сын. Предположим, как отец вы стоите передвыбором, отправляя сына в жизнь. Если чудом, невзирая на внешние факторы и обстоятельства среды, вам удастся воспитать сына на истинно нравственных ценностях – справедливости, милосердии, сострадании, то, скорее всего, сыну туго придётся в жизни, ибо не секрет, в каком циничном мире мы живём. Такие светлые люди в этом мире подобны дурачкам. Если же готовить сына к борьбе, закладывая в него мысль, что выживает сильнейший, научить его быть гибким, чтобы он умел прогибаться и прогибать, то сын наверняка будет

успешен среди людей. Но любить по-настоящему, Семён Петрович, вы его уже не сможете, и он вас любить не будет. Рано или поздно вы состаритесь и одряхлеете. Когда это произойдёт, как прикажете уважать вас, если это против природы представлений, которые вы сами внушили сыну? Рассчитываете ли только на кровные узы между вами?.. Вы будете жить как чужие. В чём тогда прелесть отцовства? В чём прелесть взросления, если ребёнок вынужден всё глубже и глубже погружаться в мир, в котором заведуют лжецы, рвачи и хапуги, воспитанные по тому же принципу? Следовательно, воспитывая дитя, приходится выбирать между его комфортным будущим и своей любовью. Но это же иллюзия выбора, ибо непременно пожертвуете ради ребенка любовью во благо беззаботной жизни. В этом контексте иллюзия уже изначально давит на самое живое и бескорыстное чувство – любовь. Вот именно эту, на первый взгляд мнимую, проблему я и хочу решить, дабы развеять иллюзию и найти другой путь. Я очень прошу вас, Семён Петрович, не замышляйте плохого в отношении меня, ведь и я ничего плохого не замышляю, как это, может быть, могло показаться.

Психиатр совершенно серьёзно спросил меня:

– Кого ты называешь хапугами?

– Много кого, ведь мы с вами живём в расцвет социально-коммерческого феодализма.

– А что ты предлагаешь? – спросил он по-прежнему серьёзно. – Давай свергнем всех, давай устроим террор, наконец, вернёмся к диктатуре. Сменим хапуг на волков.

– Нет, всё это уже давали людям...

– Всё это мракобесие, – перебил меня психиатр. – Ты, молодой человек, Фома неверующий.

Какая жалость, что Семён Петрович, говоря со мной, был совсем невнимателен. Я говорил про любовь, а он про

хапуг, о которых я заметил лишь косвенно. Если бы он слушал внимательно мой бред, то тогда бы легко проследил логику и мог попытаться сформулировать опровержение. Но он не захотел сдерживать гнев, вызванный абсолютно противоположной ему точкой зрения. Конечно, Семён Петрович не был идеалистом. Наоборот, будучи циником, он большей частью был недоволен несправедливым миром. Но он не имел понятия о том, как должно выглядеть будущее, и поэтому существующий мир стал для него «своим» и незыблемым. И вот появился я – тоже недовольный существующим порядком, но при этом отвергающий такой мир. Семён Петрович возмущён. Как же! Все живут – не рыпаются, а тут появляется некий всё отрицающий щенок. Чем логичнее и основательнее говорит этот щенок, тем сильнее возмущён Семён Петрович, потому что возражать становится всё труднее, – а как легко можно всё разрушить и не предложить ничего взамен. Но, Семён Петрович, будьте же внимательнее. Не поддавайтесь страху. Не кажется ли вам, что этот страх искусствен, как искусственны любые человеческие фобии. Вдумайтесь, ведь это страх перед потерей целостности существующего порядка, который вам совсем не нравится. Значит, страх этот навязан существующим порядком, который даже слегка пошатнуть не так-то легко. Когда вы в этом мире существуете, то совсем не кажется, что в нём есть хотя бы крупица добродетели, но когда предлагают изменить существующий порядок, то это представляется концом всего сущего. Почему же, Семён Петрович, вам это не кажется подозрительным? Почему же вам не приходит в голову спросить меня о том будущем, которое я способен видеть? Почему, задав вопрос и не дослушав, прервав ответ, вы поступаете вопреки элементарным представлениям о последовательности? Почему не хотите осмыс-

лить причины неэффективности тех заповедей, которые согласно признаны всем человечеством, но нарушаются на каждом шагу?

– Не старайтесь ввести меня в заблуждение, Семён Петрович, вы ведь не верите в Бога, а у меня достаточно устойчивая психика. Давайте опираться на логику. Поймите же, я очень надеюсь на то, что путём неоспоримых и точных доказательств вы переубедите меня. Я даже хочу, чтобы вы меня убедили, я обращаюсь к вам за помощью, ведь ясно как день, что с такой теорией, какую исповедую я, жить мучительно и невыносимо. Так не лучше ли сделать выводы, разбирая какую-либо тему, чтобы выводы помогли освободить меня от заблуждений и определили настоящую реальность?

– Ну, если ты называешь лжецами даже демократов и коммерсантов, то о чём с тобою говорить? Погляди, вокруг бандитизм. Лично я только рад буду, если настанет расцвет купечества, в чём глубоко сомневаюсь. Но жизнь, которую ты хаешь с лёгкой руки, всё равно прекрасна. Благодарю родителей за то, что тебя вскормили, взрастили, воспитали, дали тебе эту жизнь, дали образование. Нужно ухаживать за собой, братец, беречь и оздоравливать психику, чаще контактировать с людьми, набираться сведений о мире, смотреть новости, читать газеты. И ты увидишь, что всё не так уж плохо, как тебе мерещится.

– Ох, Семён Петрович. Как читать газеты и смотреть телевизор, если жуть какое количество информации ежедневно внедряется в голову? Как можно при таком объёме отличать полезную информацию от вредной? Или вы предлагаете потреблять её без разбора? Ведь каждое слово становится частью меня. Ведь не получится долго плыть по этому океану. Я либо утону, либо отравлюсь. Что проку знать, что какая-то певица справляла бенефис в Кремлёвском дворце, а потом ужинала в «Метрополе»?

Что проку мне от нововведённых законов, если для меня это не благо, а вред? У меня жизнь набекрень, и мне ещё приходится помнить, что я за эту данную мне жизнь навечно перед кем-то в долгу. Дескать, за безопасность надо платить. Но где же эта безопасность? Одна иллюзия, пшик. Фактически люди платят налоги садистам. Это странный мир, Семён Петрович, в котором первые бьют вторых, и вторые получают удовольствие! Что проку от полученного образования, если я выйду в мир со знаниями, которые годились полвека назад? Ну хорошо, придёт гипотетический конец бандитизму, когда принуждают без объяснений, открыто и нахально; но думаете, купечество будет лучше? Скорее, купечество будет изощрённое, и принуждать будет исподволь, как вы или граф. Положим, я пытаюсь согласиться с вашим оптимистичным тезисом и посмотреть на всё в другом свете: дескать, жизнь прекрасна. Я прихожу со своей проблемой к психотерапевту. И что же? Он поможет устранить проблему, вызвавшую мою депрессию? Нет! Он не может устранить беду, зато изменит моё отношение к проблеме, исказит мой взгляд. Вроде как нет проблем. Но это же агрессия! Это то же самое, как если бы в сорок первом году пришли к нам психотерапевты и сказали: что же вы, люди, переживаете зря, ну был грузин, теперь придёт немец, ничем не хуже и не лучше, такой же тиран и паразит; так какая же, в сущности, разница, кто будет вашим мучителем? Ну, придёт купечество, настанет капитализм, но до этого уже была демократия, ей предшествовал коммунизм, ещё ранее была империя, царство, феодализм. Ведь всё это кирпичик за кирпичиком под видом рая, с именем Божиим, воздвигает такую стену ада, которую уже никогда не перепрыгнуть человеку. Послушайте, Семён Петрович, вы человек разумный, позвольте мне сказать вам два слова от Бога...

– Сгинь! – замахал руками психиатр. Я кожей почувствовал его страх. Семён Петрович был опустошён и, кажется, внутренне таясь от меня, мысленно к кому-то обращался, надеясь заполнить образовавшуюся в ходе беседы брешь. – Изыди в палату, мракобес, чтоб я тебя не видел!

Засыпая в ту ночь, я испытывал противоречивые чувства. Я был счастлив сознанием того, что моё мировосприятие небезосновательно. Отказ Семёна Петровича услышать два последних слова не означал, что он не заинтересовался моим бредом. Напротив, после длительных содержательных монологов любому человеку было бы чрезвычайно любопытно услышать ёмкий и меткий итог. Открыть слух Семёну Петровичу помешал страх, заложенный самой жизнью и сознанием. Так боятся многие ныне, так боялись наши предки. Так боятся, когда узнают дату своей смерти. Так боятся религиозные лицемеры, когда вдруг необыкновенное стечение обстоятельств намекает им на существование Высшей Справедливости. Так боятся умирать те, кто для удобства или по нерадивости жил, закрыв глаза и заткнув уши. Так боятся услышать истину. Семён Петрович смутно догадывался, к чему я клоню. Тем сильнее боялся он убедиться в том, что логика, незаметно зарождавшаяся в нём, действительно реальна. А значит, хотя бы что-то из всего произнесённого могло быть правдой. Получалось, не таким уж и сумасшедшим я был. Но что если вдруг волею психиатра из меня сделают овощ?..

Утром в палату вошёл медбрат и приказал мне следовать за ним. Этот медбрат был известен своим крутым нравом, он был широк в плечах, высок, статен и обладал холодно-белым жестоким лицом, которое обычно имело выражение странного добродушия. Мотя провожал меня, взирая сострадательно. Он-то хорошо помнил этого истязателя, поскольку Мотю уже давно

беспокоила тупая боль в почках. Но я утром уже не чувствовал никакого страха и о конвоире ничего дурного не подумал. Когда мы спускались по лестнице, я только припомнил, что на третьем этаже и в подвале творятся нехорошие вещи. К облегчению моему, мы пошли по первому этажу. Случайные безнадзорные пациенты «из тихих» шарахались от моего конвоира как от чумы. Видимо, знали. Вот и дверь. Конвоир впихнул меня, и я очутился в небольшом кабинете с голыми стенами и двумя табуретами посередине. На одном сидел Семён Петрович с папкой в руках.

– Ну, здорово, братец, – сказал он как ни в чём не бывало. – Даю тебе минуту на раздумье. Альтернатива такая: либо сегодня выписываешься, либо переводись в психиатрию военного госпиталя.

– Зачем?

– Мне кажется, ты не совсем здоров. Служить в армии тебе ни к чему, с таким-то характером, – добавил Семён Петрович, лукаво подмигнув. – А там тебя обследуют, и если очень повезёт, обеспечат на будущее военный билет. Конечно, это маленький шанс, но пока открывается такая возможность, рекомендую воспользоваться. Солдатно бояться нечего: во-первых, ты гражданский, во-вторых, там нет таких больных, как у нас. Так что решай и помни, что устроить это мне было не так-то легко. Ну?

– Спасибо, Семён Петрович, я согласен.

– Ну, тогда в путь! Оставь-ка мне номер домашнего телефона, так, на всякий случай.

Я ни с кем не прощался. Покидал отделение с лёгким чувством, помня, что за время пребывания здесь я никогда не пытался увлечь за собой и всё нёс в себе.

Александр Сёмочкин

Мир всё сокращается, и уже нетрудно представить его в виде одной большой деревни. А может, и не особо большой. И поэтому все события в этом мире – события деревенские, так или иначе трактуемые господами литераторами и господами политиками в направлении, им интересном. Что ж – вольному воля. А спасённому – рай. Так-то вот.

Ну да...

О Rus!
Нор.

Ну да,

был у нас в деревне мордovorот такой, Лёшка Сидоров. Здоров, гад, и водку в три горла жрать горазд, да.

Нигде ни дня не работал, а водку жрал. Он чё надумал. Деревня у нас – тупик, значит, дорога кончается, автобусу тут кольцо. Придёт три раза в день, развернётся и уйдёт.

Потому у нас в деревне один асфальтовый пяточок, а так, после дождя, в резиновых сапогах если.

Дачники, там, приедут на машинах, да и так кто. (Не, не свои, те знают.) Тут Лешка их и прихватывает. Ему чего, он тут сбоку и живёт. Выйдет с метлой – и к ним. Так и так, мол, я тут старший. Опять-таки, убирай за вами.

Короче, пару червонцев стрясёт, а то и полтину. Да ему и хватает. Да. Его у нас так и прозвали: ВЛАСТЕЛИН КОЛЬЦА.

Автобусного, значит.

Ну да,

была у нас в деревне бабёнка такая шустрая. Сама-то она приезжая, у Нефёдовых поначалу невесткой была, пока Ваньку в гроб не вогнала.

Из Молдавии, слышь, что ли.

Так она сама пила как лошадь, прости Господи, и мужиков вокруг себя табун держала. Чем брала? Ни кожи ни рожи, чернявая да тощая, ухватиться не за что, но – держала.

Пили крепко, от неё один был путь мужику – в могилу. Ну, кто лечился, да только потом всё вспять. Да.

А их у нас так и звали по деревне:

ХРОНИКИ НАРНИИ.

Ну да,

есть у нас в деревне придурок один, около самой речки живет, у Ламанки. Речка та невелика, да и сам придурок невелик, метр с шапкой.

А присох он к Ленке-почтальонше. Ну, та девка из себя видная, небось, о путном ком думает, а тут этот.

И уж он по-всякому ей – Дульцинея ты, говорит, моя ненаглядная. И что за имя такое? Как свинью поросую, прости Господи.

Мы ему: ты чё, дурень, разве так можно! А он: сами вы дурни, тут тонкий ход надобен!

Его у нас так и зовут:

ТОНКИЙ ХОД ЛАМАНЧЕСКИЙ.

Ну да,

есть у нас в деревне кот. То есть котов и кошек, понятно, много, но этот особый. Увидите, так поймёте, о чем я.

Не кот – котяра, в нём полпуда точно есть, а сколько сверх того – врать не буду.

И чего он, сволочь, наладился – курей давить. Задавит, что сожрёт, а что так бросит. Ну, решил его мир извести. Поручили это дело нашим шелопутам, Ваське да Ганьке. Те на это дело споручны и коту изловили. Как – не спрашивай, не знаю, но изловили.

Ну, говорят, ты, гад, курей давил, теперь мы тебя давить будем. И удавили на петле в сарае, а для верности ещё кирпич на хвост привесили.

Пошли на радостях к бабке Онисье, она-то главная от кота пострадавшая была. Та им налила, понятно, – шутка ли, от такой напасти деревню избавили. Погуляли ребята, только глянь – на другой день опять этого кота видели, живёхонек! Как он, ирод, из петли выскочил?

И до сих пор шкодит, змей.

Его у нас так и зовут:

КОТ ДАВИНЧИК.

Ну да,

это у нас в деревне колхоз ране был. Назывался Рабин-Гранат Тагор. Имени. Никто ничего понять не мог.

Это, говорят, ещё до войны дед Солуха так колхоз обозвал. Он хитрый был дед, водку не пил, всё книжки читал. Вот и дочитался.

Его, говорят, спрашивали, что за зверь такой – Рабин-Гранат, а он всё ухмылялся: а вот, дескать, как на «твою мать» похоже!

А в районе возьми да утверди. Прогрессивный, мол, товарищ и всё такое. А нам что – так Рабин-Гранатом и прозывались.

Это уж потом мужики разобрались, да, вишь, поздно. Грохнули нашего Рабина, да, Гранатой. И ровно на той горе, где жил.

Бабы наши ахнули – вот те и дед Солуха, даром что не пил, не вам, извергам, чета. В корень глядел.

Так что если там всё взад повернется, мы снова свой колхоз РАБИН-ГРАНАТОМ назовем. Геройский товарищ, однако.

Ну да,

тут у нас в деревне фермер появился. Из самых, значит, кавказских гор. А звать его Тер-Ованесян, язык сломишь. Ну, у нас его просто Тер кличут. Тер да Тёр.

Он всё было хвастал – бычков, мол, выращивать будем, заживём как и при барине не жвали.

Да только Тёр – мужик хитёр, не до бычков, а до баб наших специалист оказался. Враз троих охаживает. И как успеваешь-то?

А их у нас так в деревне и зовут:

ТРИ МАШКИ ТЁРА.

Ну да,

живет у нас в деревне чудик один, Ванькой кличут. Большой, однако, специалист по грибной части. Леса-то у нас знатные, ну а гриб – то он есть, то его нет. Не прикажешь.

Но у Ваньки он всегда есть, как ни пойдет, так цельный короб тащит.

Уж наши его и так и эдак – не говорит. Леший. Ходить за ним пытались, выследить, значит, места, – куда там! У него как глаза на затылке: поводит, поводит, а потом раз – и нету его.

А деревенские-то иногда сутками с того лесу выбирают. Да.

Однажды подпоили его мужики, так он им – а вот, мол, в усах всё дело. Куда ус дёрнется, я туда, мол, и иду. И враз на грибы.

Усы-то у него впрямь знатные. Да. Врёт поди.

У нас его так и зовут:

ИВАН С УСАМИ.

Ну да,

учителя тут прислали с города. Школа-то три класса, в четвёртый уже в райцентр отправляют.

Ну, конечно, когда-то все семь классов были. Теперь нет, на три класса восемь ребятшек, да.

Дак этот учитель нас всё учил молчать. Помолчим, говорит, о текущем моменте. Мы и молчим, дураки. Помолчим, говорит, о светлом будущем. Мы опять молчим.

И видно, молчать ему с нами надоело. Наберет девок молодых, с ними и молчит. Сегодня, говорит, будем молчать о Вечности. Чтоб, говорит, о ней молчать, нужно, говорит, два предмета. Предмет первый – это, говорит, я сам, молчащий. А предмет второй, говорит, – это сама Вечность, в образе, скажем, Маши Степановой. Я буду молчать о вечном, а Маша будет молчать о конечном. То есть о том, что имеет конец. То есть обо мне.

Вроде бы всё одни слова. Однако малое время спустя та Маша пухнуть начинает и к повитухе Онисье бегать, а там и вот оно, дитя.

...Целый день мы ходили и ходили по родным его окрестностям. Ему не терпелось показать всё, обрадовать меня своей землёй, увлечь ею, заставить полюбить – потом я увижу, он делает это со всеми приезжающими на Выру людьми. Любовь к земле, как всякая настоящая любовь, ищет быть объявленной всему свету, потому что одному её слишком много. – Благословенная земля. Подлинно под благословением Божьим. И не зря так населена красотой и преданием. Здесь ведь не только Шишкин и Набоков были счастливы. Тут любил писать Крамской, и старики ещё помнят и «Полесовщика» по имени, и «Мину Моисеева с уздечкой». Тут Аполлону Майкову было так светло, что он в благодарность построил в Сиверской нарядную церковь, и она служит на радость окрестному народу. Тут, в Батове, в трёх верстах отсюда, родился Рылеев, и оттого писал про царевича Алексея как про соседа. Да ведь и Арина Родионовна – наша, Кобринская, и изба её цела! И Пушкин ведь в Москву рождаться отсюда поехал (Надежда Осиповна была беременна), так что и он родом наш – с этой земли... Дом станционного смотрителя и был первым по-настоящему счастливым делом Сёмочкина... Кто бы знал, что на этот дом уйдет восемнадцать лет труда! Зато теперь это лучший Музей русской почты. И, конечно, легко догадаться, что лучший экскурсовод по нему – сам Сёмочкин. Кому выпадала радость пройти с ним от прихожей до конюшен,

Учитель-то и не упирается особо, всех этих ягнятками своими кличет, ягнятки мои, мол. Мы ему: ты чё, баран? Ты, брат, козёл, скорее. Так что и эти – твои козлята. Да учителя нам не перебить, куда – учёный ведь человек, да. Их у нас в деревне так и числят, как
МОЛЧАНИЯ ЯГНЯТ.

Ну да,

был у нас в деревне оболтус такой, Яшка Гульдякин. Что где сошкодить или, там, безобразия какое учинить – он тут первый. Ему бы уж в армию пора, а он всё косит и забывает на это дело.

Его уж девки давай стыдить – мол, чего-то там у тебя, Яшка, не в порядке, что тебя в армию-то не берут.

Достали, короче, Яшку. Он тут решил сам в военкомат топать. Отвальную ему, как положено, полдеревни пьяные ходили.

А Яшка посереды с девками в обнимку, да всё песни орал:

Посылают, милка, нас
 Бить душманов в Азию,
 Потому последний раз
 На тебя залазию.

Ну, там, чего и куда он лазил, не знаю, сам нетрезвый был. А Яшка утречком ушёл. Да. Рассолом похмелился и ушёл.

Только вот загвоздка – не видели его в военкомате. Куда делся?

А тут распоряжение с района пришло – сделать памятник боевой славы. Патриотизм, мол, и всё такое.

Мы им – с каких это шишов? Немец, царствие ему небесное, как туда шёл не стрелявши, так и назад топал без бою. Где-то воевали, дак это не у нас.

А нам опять: вы что, хуже других? У всех боевая слава, одни вы в навозе по уши. Ну, короче, решили поставить. Валунов там натащили, трубу, доску, как положено:
НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ ЯШКЕ ГУЛЬДЯКИНУ.

А чё? Всё верно. Мы ж не знаем, был он солдатом или так, мимо протопал.

Ну да,

а вот Авдотьев-то сынок в той армии никак пять лет отбухал, от звонка до звонка. Где служил, не знаю, да и никто не знает, сам темнит, да только ясно, что далеко и шибко секретно.

Там к ним все пять лет никто подобраться не мог, в одной шинелишке всю службу проходил, да в ней и на гражданку выпихнули.

И вот, понятно, приходит он в клуб на посиделки да на танцы. Сядет, а вокруг сразу место освобождается.

Девки носы зажимают, меж собою шепчутся:
ШИНЕЛЬ НОМЕР ПЯТЬ пришел...

Ну да,

жили у нас в деревне два дедка – Савка да Прошка. Обоим под сто, а они всё в своей гражданской войне воюют.

Савка, вишь, тогда у Деникина был, а Прошка у самого товарища Будённого за лошадьми ходил. И вот как они сойдутся, так и давай спорить.

Один кричит: твои красные всех толковых мужиков извели! Одних недомерков да придурков наплодили. И ты, Прошка, самый первый из них и есть!

Савка смелый, потому – старый, его уж теперь не посодют.

А Прошка ему: при твоих белых при керосиновой лампе сиживали, а при наших красных лампочка Ильича горит! На нашей речке, на Ламанке, кто электрическую станцию пустил? То-то, старый хрен!

Савка орать: Пустили, пустили, свету по неделе нет, особенно зимой. То у них провода спёрли, то ещё чего. А вот солнышко-то каждый день светит, не ломается. Ни тебе проводов, ни керосину ему не надобно. Его-то не ваши красные пустили, оно при наших светило, да и получше, чем теперь!

У нас деда Савку так и дразнят:

БЕЛЫЕ СОЛНЦЕ ПУСТИЛИ.

Ну да,

тут у нас ещё один горный орёл в деревне нарисовался. Зовут – Имир. Ну Имир так Имир, никто спорить не стал.

Спор о другом вышел. Мы его Чечнёй кличем или, там, чеченом, или чеченей – он обижается, возникает. До драки дело доходит. Зовите меня, говорит, вайнах, а не чечен, – потому мне это обидно.

А как поспоришь – он у нас сельповский магазин откупил, и кто его не так назовет, тому он и в долг не даст. Не то что там бутылку – хлеба не даст. Да. Так вот себя поставил. Потому его вся деревня так уважительно и зовет:

ВАЙНАХ ИМИР.

Ну да,

тут у нас в деревне красавчик один, из Тимохиных, значит. Вообще-то его Лёшкой зовут, но наши бабы, кто помоложе, его Ромеом кличут, уж не знаю, за что. Видать, что хорош собой да к женскому полу обходителен, дак они его Ромеом.

Ну, понятно дело, подрос наш Ромео, да только мы его и видели, в город слинял. Разве что в воскресенье да в праздники к матери прикатит.

А тут, значит, объявляется он не один, а с кралей, – так и так, мол, женился я. Это глянули мы на

потом были уверены, что знают ямской быт до точки, будто это у них у всех деды держали тут постоянные дворы...

Я не спрашивал, сколько он построил. Довольно того, что я успевал увидеть в свои редкие приезды, заставая его то за выведением сложнейшей кровли дачи принца Ольденбургского, то на конюшнях «Дома Самсона Вырина», то на срубках храмов в Печорах и Суйде, то за бережным выкладыванием любимых им оконных арок в циклопических валунных фундаментах, то, наконец, в последнее время на рождественской усадьбе Набокова, в доме, ставшем его судьбой... Они с набоковским домом шли друг к другу сужающимися кругами, пока наконец в 1994 году Семочкин не сдался на уговоры и не стал директором Рождественской усадьбы.

Всякий, кто проезжает теперь по шоссе Петербург – Киев, видит сейчас эти два лучших детища Семочкина: почтовую станцию с весёлой часовой и возносящийся над речками Грезной и Ордежем, воскресающий из пепелища дом, ещё не одетый, но уже живой, уже пошедший, как после тяжёлой болезни, на окончательную поправку, так что и село опять собралось вокруг него и надежнее глядит вперёд. Есть, есть в этом что-то знаковое – в судьбе Семочкина, судьбе набоковского дама, какой-то вразумляющий поворот, что-то большее, чем страница частной биографии.

Я всегда жду его писем с волнением, потому что знаю: в них будет свет, которого часто недостаёт мне самому,

молодуху и ахнули – чернява, тоща, патлы крашенные торчат, сама курит и матерно как мужик выражается.

Жуть, короче. Да.

У нас-то их так и зовут:

РОМЕО И ЖУТЬ ЕТТА.

Ну да,

был у нас ещё при колхозе мужик один. Трактористом работал, а водку не пил, всё мантры какие-то читал.

Мужики водку пьют или там самогон, а он мантры читает. То про чью-то харю, то про какой-то аум.

И никак его мужики в свою нормальную компанию затащить не могут, чего только ни делали. Его Железным через то прозвали, да.

Дом у него, двор, скотина там – всё в полном порядке. А чего ему – он не пьёт, времени у него на все эти дела много.

Но тут гукнулся наш колхоз. Такое началось – коммунистов отменили, везде братки крышуют и колхозное добро по частям рвут.

Мужикам что – они как пили, так и продолжают, а вот Железный сломался. Запил, да так запил, что беда.

Его в те поры так и обозначили:

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТЁК.

Ну да,

тут у нас в клубе кино показали, «Интердевочка» называется. Это про блядушку одну, теперь, значит, на них такая мода вышла.

Ну, наши дуры, понятно, туда же намылились. Кто, значит, рожей попроче – на шоссе пошли стоять, иные в гарнизон за пятнадцать вёрст бегают.

Одна Ленка, что почтальоншей у нас работала, себя поставить сумела. К ней-то городские всё ездили, да.

Наши кобели попробовали сунуться – куда, она такую цену ломит, все и отсыпались. Короче, Ленка – золотая, сказать, звезда.

Да. Покуролесила Ленка вдоволь, а там, глядим, у неё постоянный хахаль обозначился. Из райцентра, слышь. Уж не нашим чета, у него лайба всю нашу деревню стоит, джип называется. У нас его так в деревне и прозвали:

КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ.

Ну да,

как у нас колхоз-то рассыпался, так, кто из мужиков пооборотистей, те трактора себе забрали. В частную, значит, собственность.

А и не дураки оказались. У нас за речкой, за Ламанкой, садоводство дачное ещё при коммунистах открыли, так там тебе с трактором-то завсегда рады. Кому песок, кому навоз, кому лесу, там, наворовать или ещё по какой надобности.

А дорога в садоводство у нас одна, через мост. Правду казать, мостом это только наши и назвать-то могут. Бревнышки по речке накатаны да кое-как тросом обвязаны. Его у нас с давних пор Пугачёвским бродом называют, не знаю уж с чего.

Вот тут и наладились наших прихватывать, и куда денешься, другого моста нету. Сам начальник гаишный тут стоит, капитан, дань собирает.

Ушлый, гад: туда едут мужики, так нету никого, а как назад с деньгой наработанной – он тут как тут. Да.

У нас это место так и прозывается:

КАПИТАНСКАЯ ТОЧКА.

Ну да,

тут у нас беженец объявился, из соседней, слышь, области. И то сказать, беженец: сам ободран, дик видом и глаза шальные.

По деревне идёт и подвывает: Горе-от у мя! Горе-от у мя! Люди добрые!

Ну, люди добрые подошли, пытаются – что за горе такое.

А вот, говорит, поверил я этой сволочной власти, значит, фермером заделался. Кредит взял, двор построил, индюков да уток завел, да.

Не успел и развернуться, тут пошло-поехало. Всем дай! Да помалу не берут, гады, дай хорошо, чтоб, значит, тонну баксов. Это он так выражается. А где, мол, взять.

Одного послал куда подальше, другого, – сожгли! Так полыхнуло, сам чуть живой выскочил. Шесть дён шёл, всё лесом, не зная куда, – так тошно было. Да. Одними, значит, грибами да ягодками и питался по лесу.

Горе-от у мя!

Ну, его наши приютили, конечно. В школе сторожем работает, да там в каморке и живет. Да. Ему только прозвище в деревне дали –

ГРИБОЕДОВ.

Ну да,

это у нас тут один – само-усовершенствоваться решил. Во словечко, прости Господи!

Значит, как его Пелагеюшка померла, и вот он мяса не ест, и рыбы не ест, и молоком брезгует, а водку вовсе бесовским зельем величает. Во до чего!

Всё, говорит, природное должно быть. Травка там, ягодки-грибочки, прочую водоросль речную, значит, можно. Можно и зёрнышки пожевать, у кого зубы, понятно. Варить нельзя, это-де не по-природному.

Знамо, с такой жизни жиру не наешь и с бабёнками не забалуешь. Сам весь высох, один нос остался,

и назавтра после его письма я буду глядеть на мир с радостью и надеждой. Письма как письма: быт, жизнь, но иногда провётётся что-то, что обычно человек таит на доньшке и не решается сказать вслух, опасаясь несвойственной русскому человеку торжественности. И как же прекрасно, что ему хватает отваги нарушить эту опасливую традицию. Я не всегда берегу его письма, но некоторые рука сама откладывает в укрепление себе. И кода прижмёт, ты развернёшь его, и опять можно жить.

В начале одного из минувших годов он написал: «То ли удачно были выстроены новогодние праздники, то ли момент такой настал, что всё радует и притоднимает, но я вижу красивые лица молодых мужчин и женщин на экране и у нас за столом и понимаю, что мы снова становимся красивой нацией. Я слушаю их и сознаю, что они любят свою страну не так, как мы, а больше, сильнее, цельнее. Конечно, это уже не та Россия, то есть не та, которую мы исповедовали как конечную инстанцию Истины. Конечно, что-то там такое произошло, что уже мешает признать, что это вообще – наша Россия. И тем не менее это всё так – она возрождается опять в невиданном качестве. И снова это уже теперь Держава, избавленная, слава Богу, от оков ложной имперскости. И скоро, скоро всё вернётся на свои места. Нам-то уж там, правда, места не будет. Но ведь и умереть спокойно – редкое счастье и удача...».

Валентин Курбатов.

Псков – Рождествоно.

не нос, носяра! Из волосев торчит, потому сам оброс весь, небрит-нестрижен, да и немыт тож.

Волосья бурые сваялись, как тина болотная, и нос торчит – беда!
А у нас его так и кличут:
БУРА ТИНА.

Ну да,

тут история у нас приключилась – совсем съехал мужик с катушек. Оська, значит, Лупанов. Вдруг решил английский учить, а сам уж полтинник разменял. Какая учеба? Что сегодня запомнил, то уж завтра забыл, да.

А тут ещё взялся стихи сочинять, да всё норовит английские словечки ввернуть, чтоб, значит, покрасившее. А потом нам читает, громко так.

Есть на свете Раша
Родина, знать, наша.
А посерёдке Раши –
Вот, деревня наша.
Потому по свету
Круче Раши нету!

А то вот ещё:

Воман, много водки пьёте!
Потому что вы не бьют.
Чтобы воман бьют быть
Надо меньше водки пить

Ты, Оська, баб бы не трогал. Себе дороже будет. Ты про политику лучше.

Наш пипл хавает картошку, макароны и овёс,
А ты не гляди нам, Рейган, в плошку,
Тебя переживём небось!

Да уж. Сам-то Оська говорит: это у меня типа на стыке двух измов – патриотизма и идиотизма.

ЛАДНО ХОТЬ ПОНИМАЕТ!

Деревня Выра Ленинградской области.

Сергей Гузев

Родился в 1974 году в Таганроге. В период с 1991 по 1994 год учился в Таганрогском педагогическом институте на факультете иностранных языков. В 1996 году поступил в Литературный институт им. Горького на отделение поэзии (семинар Евгения Рейна), где проучился вплоть до 2001 года. Пишу стихи с четырнадцати лет.

1998 год

Тошно от серого и высотного.
Вдоль по артерии третьесортного
Рима – не родственника, не сводного
брата, а так, с киселём вода –
пру восвоеси, на лире дзынькая,
по сторонам, как ищейка, зырякая.
Улица корчится безъязыкая –
грешный-то вырван; да не беда.

Первое марта. Морозно. Слякотно.
В недрах желудка – плодово-ягодно:
жижица – цветом навроде яхонта –
ох, не зря драла пищевод.
Дрянь, от которой во рту оскомина.
Сердце – вот подлая-то штуковина! –
скок да поскок, что твоя Истомина,
резво-нетрезво по рёбрам бьёт.

Что-то календы недолго рыпались:
белые мухи на плешь посыпались.
На перекрёстках, где блядь да сифилис,
снег Уральским торчит хребтом.
На три вершка под ногами млечности.
Зябнут скрюченные конечности.
Впрочем, с точки зрения вечности
это мелочь, и речь не о том.

Старой погудкой душонка вздрочена.
Даром разменяны дни и ночи на
стряпанье в рифму – моя ли вотчина?
мой ли мотивчик? пустой расчёт?

Сиднем сидит в забуревшей печени
песенка, сложенная предтечами.
Диво ль, что ног не кладёт на плечи мне
век-волкодав или кто ещё.

Истина где? Подскажите, антики.
Сколь ни забочусь о перистальтике,
до положения риз опять-таки
терпкой влагою до краёв
переполняю бурдюк утробы я.
Всякую гнусь вперемежку пробую.
Вряд ли доволен своей особою.
Жив, но едва ли вполне здоров.

Душу кому запродать бумажную?
Плакаться нешто в жилетку каждую –
я-де снедаем духовной жаждою,
уголь пылающий кто водвинет
в тощую грудь, впопыхах отверстую?
Рылом не вышел, не соответствую:
блядствую, бедствую, самоедствую,
тело канючит, скулит, вольнит.

В общем, до тыну рябина клонится.
А ведь когда-то: Гомер, бессонница...
Были и мы рысаками, помнится, –
эх, не забрался бы чёрт в копыто!
Времечко, надо сказать, былинное.
Где вы, дружочки, сердца орлиные?
Мамка-словесность что поле минное –
здесь не надейся на шито-крыто.

Много полку полегло там нашего.
Кто-то землицей присыпан заживо,
кто-то из дюжего люда, ражего,
ссучился, спился, отбросил щит.
Ратников было, как рыб на нересте,
ажно от злобы сводило челюсти
у неприятеля. Брали крепости.
Каждый, казалось, не лыком шит.

Баста. Прошло головокружение.
Сделалось суетным муз служение.
Капитуляция. Поражение.
Нить обвисает в руках у Парки.
Жить не по лжи мне велит растение,
что означает: словес плетение
есть лишь пословице подтверждение –
мёртвым уже ни к чему припарки.

Право, рефлексия хуже опия.
Может, не стоит, ломая копыя,
петь о тебе, моя мизантропия?
Пусть его, может? какого ляда?
Если пенять на кого – на зеркало.
Эвона, рожу перековеркало!
И вообще, начинать, так с мелкого:
с хроники собственного распада.

Нету на свете печальней повести,
чем о развалинах в чёрной пропасти
рта – посвятить этой самой полости
две-три строки, уподобить это
дело какой-нибудь Древней Греции.
Дескать, не подлежит коррекции.
Пусть себе дряят резцы в литсекции!
Этот искус не для поэта.

Ну и так далее. И подобное.
Лоб толоконный, как место лобное,
в трещинах. Чудище, лайя, облое!
Мозг-то куриный, поди, иссушен?
Чёртова гибель там сору разного.
Гаснет от ветра светильник разума.
Еле чадит. Ну да хер с ним – раз его
вновь не разжечь, так на кой он нужен?

С докторской тщательностью обследуя
место, откуда, стыда не ведая,
ноги растут (entre nous – отседа я
вынул всё то, что сказано выше),
то есть бесстыдно копаясь в анусе,
как не вести разговор о данности –
всё вопиет о моей бездарности,
плотной струёй каковая брызжет.

Старый вопрос на повестке: быть или
нет?.. Вон порядка, гляди, блюстители!
Руки заламывают. Обидели.
Не выходи, мол, один на дорогу!
Бьют по зубам. Вшивота, убогие!
Бля, милицейская стоматология!
Если так дальше пойдёт, то ноги я...
Вот и отмаялся. Слава Богу.

Екатерина Челпанова

Время кустов

– Люди делятся на два типа, только на два. Если вам кто-то когда-то будет говорить, что больше, – не верьте. Только два типа. Те, у кого детство продолжается вечно, и те, у кого оно раз навсегда закончилось. Первые вхожи в Царствие небесное.

Когда Владимир Филиппович говорит самое важное, никто не смеет вздохнуть. Тогда существуют только его слова. Кроме них нет ничего. Даже Владимира Филипповича нет – он только проводник слов. Как в электричестве. Воздух электризуется. Маша Воронина смотрит на него, открыв рот. Причём положение рта меняется в зависимости от направления мысли Владимира Филипповича. У Маши две тоненькие золотистые косички, волосы гладко убраны, и уши торчат. На слова Владимира Филипповича она обычно отзывается ушами и ртом. Наверное, это самые чувствительные части её тела.

Обычно после таких самых важных слов Владимиру Филипповичу становится не по себе. Слова насквозь прожигают его самого.

Он выскакивает из аудитории и хлопает дверью.

– Сейчас вернусь, подождите!

Курит. То есть мы, конечно, не видим, что он курит, нам не положено, мы дети. Но каждый знает, что в этот момент Владимир Филиппович стоит на крыльце художественной школы, мучается один в темноте и курит, глядя на помойки.

Нам жалко его. Мы молчим и ждём. Шорохи кисти о бумагу. Стены. Длинные, жёлтые.

Он возвращается грустный. Грустный Владимир Филиппович – это совсем не то же самое, что просто грустный человек. Он как подстреленный в такие моменты. И обращаться к нему бесполезно.

Теперь из него ни слова не вытянешь, будет сидеть на своем стуле до конца занятия, сияя глазами.

Видите ли. Глаза-то у него – совсем не то, что обычно понимается под этим словом. Глаза его прочищают дыхание. Медленные мерцающие глаза, чёрные. Пьяняще-живые. Знаете, как солнце вдруг выплывает из туч, и небо синее, и тени длинные бегут по взъерошенному от ветра полю. И от этого хочется орать и прыгать на одной ноге, благо никто не видит. Кто в поле может увидеть?.. Так и глаза Владимира Филипповича. От них трудно не начать орать и прыгать, чтобы

усидеть на месте, требуется огромная сила воли. Нам её не всегда хватает. Иногда мы всё-таки прыгаем. Иногда хватаем его за рукав куртки, когда нам хочется, чтобы он остался, а ему пора уходить.

Он всё понимает. Он широкий как поле, и с ним легко дышится, как в поле.

К жизни-то мы, оказывается, такие непривычные, что от одного глотка опьянеть можем. Владимир Филиппович – живой. И больше про него и говорить нечего, потому что тяжело про него говорить. Сразу захочется в полную силу жить. Как он. И слов не хватает, чтоб в полную силу.

Слова наши – калеки убогие.

Сначала он до черноты грустный, потом оттаивает.

– Владимир Филиппыч, а объясните ещё про два типа... Как это? А почему первые вхожи в Царство, а вторые нет? Это же несправедливо. Вторые что, ни под каким предлогом не могут войти, ни на секундочку? И что это за Царство такое?

– Да нет, не то... И вторые войдут, если вспомнят. Но не вспомнив – невозможно. Они же сами не захотят...

– А, ну если сами не захотят, тогда и ладно.

Опять чернеет глазами. Стены меняют цвет под его взглядом. Я заметила, что и воздух меняется от его взгляда, особенно воздух. Когда у нас занятие с Риммой Павловной в этой же аудитории, здесь затхло и слишком светло. С Владимиром Филипповичем стены превращаются в поле.

Он вот почему мучается. Потому что ведь не всё он нам может сказать, что думает. Мы что? Кому двенадцать, кому тринадцать, кому вообще девять, как мне.

– Кто забыл, тот может вспомнить, – вдруг ни с того ни с сего снова начинает он, подождённый словами.

Поле вспыхивает огнём, как стог сена. Пожар.

– Суфии говорили: вера всем от рождения дана, но её нужно вспомнить.

Рисовали мы сегодня сказки, кто какую хотел, я выбрала про Каменный цветок, изумрудно-искристое подземелье. Но вот теперь уже жалко. Теперь хочется суфиев рисовать. Суфии – это кто? Сказочники в чалмах, и от них пахнет пустыней и пылью. Как от Владимира Филипповича. От него всегда пахнет пустыней и пылью. Глаза у него чёрные, как ночь в пустыне.

В пустыне цветут мысли, пустыня – тенистый сад дум.

Этого он не говорил, но это понятно становится, когда посмотришь на него.

Дата: 18.10.08 01:07

От кого: Екатерина

Челпанова

Кому: sayakovlev@yandex.ru

Тема: рассказы от

Челпановой Е. А.

*Здравствуйте, уважаемый
Сергей Ананьевич.*

*Пишет Вам прозаик Катя
Челпанова из Петербурга,
мне двадцать пять лет.*

*Прежде всего хотелось
бы поблагодарить Вас за
встречу¹. Действительно,
я ощутила свежий ветер,
чудом прорвавшийся в
нашей затхлости. Хотя
в Союз питерский меня
приняли, на заседания я не
хожу, на них всегда такое
ощущение, что потолок
надо лбом начинается,
даже писать расхочется.*

*Мне кажется, руководство
нашего Союза не интересуют
ни новые авторы, ни
писатели с «искрой». Они
признают только друг
друга и живут какими-то
фантастическими
дискуссиями –
фантастическими, потому
что то время, откуда взяты
дискуссии, уже прошло, и
дискуссии эти теперь стали
абсурдом, почище Кафки и
пострашнее. Поэтому я бы
сказала, что в Союз наш
ходить не только скучно, но
и – прежде всего – страшно...*

¹ 11 октября 2008 года состоялась презентация журнала «Письма из России» в Санкт-Петербургском отделении Союза писателей России. Благодаря этой встрече, подготовленной Романом Всеволодовым, в журнале появились и некоторые другие петербургские авторы.

– Владимир Филиппович, а суфии – это кто?

Маша не выдерживает и спрашивает. Нам всем это хотелось спросить, но решилась только она. Она в привилегированном положении. Во-первых, мольберт её ближе всего к столу Владимира Филипповича. Во-вторых, ей ответ просто жизненно необходим, иначе уши не встанут на место.

– Суфии, – тянет он теперь словно издалека, из пустыни, – это мусульманские мудрецы.

– Так если мусульманские, получается, они людей режут?

Юля всегда глупости спрашивает и не к месту. Она совсем не думает о том, какой прекрасный Владимир Филиппович. Мы как-то шли с ней от школы до трамвая, и я не успевала за ней, такая она быстрая. Я хожу слишком медленно, ботинки неудобные, слишком тяжёлые. Я вообще-то не люблю ходить, я люблю



Графика – Антон Порфирьев

думать. Юля спортивная, она ходит только пешком. Но если быть как она, засыпать ночами будет не страшно. Я смотрю на неё и думаю, что ей не страшно засыпать ночью.

– Никого они не хотели резать. Наоборот даже, страдали от того, что другие хотят. Они хотели только петь и стихи писать.

Суфии – это те, кто поют в пустыне. Ящерицы бесшумно скользят по камням в ночи, а они поют, не ведая страха. Звуки отражаются в небе. Звуки их песен – как махровые цветы.

Я хочу рисовать суфиев в пустыне. Они мне представляются на одно лицо, все с лицом Владимира Филипповича.

Но как нарисовать ночь в пустыне?

Пустыня – это там, где нет ничего кроме мыслей.

Но как нарисовать мысли?

Надо у него спросить.

У него вообще-то страшно спрашивать. Голова кружится, когда с ним рядом стоишь.

И потом хочется, чтобы всё время так – точно земля утекает из-под ног.

Разучишься на земле стоять.

Ничего нет чудеснее, чем что-нибудь спрашивать у него.

Когда он отвечает – не то что всем – а именно тебе!

Он весь, пустыня и звезды и бескрайнее поле, – вдруг, на минуту – твоё.

Весь мир, с камнями и скалами, с изумрудными пещерами, все века разом – минуту подержать.

Где-то должна быть другая жизнь. Смутное, необъяснимое чувство... Если б не он, я никогда б не думала о таком.

Где-то есть жизнь с полями и реками, с сильным дыханием. Там слова не ковыляют убогими калеками, а взмывают под самое небо.

Я хочу жить. Я хочу понимать пустыни и горы. Жизнь – это Владимир Филиппович. Я люблю жизнь. Я люблю Владимира Филипповича.

* * *

Два типа, только два типа. С вечно ддящимся детством и те, у кого оно закончилось. Почему об этом мне никто не говорил, кроме него, если это так важно? Почему, кроме него, никто не говорит о том, что самое важное? А вдруг бы он не сказал, я бы не удержала детство, и тогда мне было бы не видать Царства? Что это за Царство, мне неизвестно. Слово пахнет мраморной крошкой, как в музеях. Нет, не то. Я вообще-то не люблю музеев, от них есть хочется, и там ничего нельзя трогать.

Царство – это как в книжке про древние города. Они пахли морской солью и мраморной крошкой. Там было всё настоящее. Настоящие пифии, настоящие поэты и арфисты. Теперь мы их только рисуем.

Почему для того, чтобы ходить между мраморными дворцами и фонтанами, нужно удерживать детство?

Никак не сходится.

Вот он ещё сказал «небесное Царство». Это значит, как в церкви, славянская вязь и пахнет свежими. Если долго плакать, тебе уготована награда. Если ходить в чёрном и обтирать подсвечники, потом, после смерти, у тебя будет самый красивый

Если говорить о моем творчестве, то я Вас попрошу не смущаться ИНОГДА проскальзывающими фантастическими мотивами-образами, я считаю свою прозу реалистической, и если элемент фантазии и присутствует подчас, то в основном как «усилитель реальности».

Хотя, конечно, у всех свои вкусы, и Вам виднее.

Если Вы хотя бы откроете и прочитаете присланные файлы, я уже буду бесконечно благодарна. Такое редко случается, что издатель читает рукописи...

С уважением,

Катя

Дата: 19.10.08 00:14

От кого: Сергей Яковлев
<sayakovlev@yandex.ru>

Кому: Екатерина
Челпанова

Тема: Re: рассказы от
Челпановой Е. А.

Дорогая Катя,

Вы пишете замечательную прозу. Мне особенно повезло: я почему-то начал читать с рассказа «Время кустов». Его и ещё «Двери» хотелось бы напечатать. Две другие большие вещи тоже интересны, но они – другие. Там больше того, что называется беллетристикой и сочинительством, а я ищущий отверстия раны. Такая у нашего журнала специфика. Так что я постараюсь включить Ваши рассказы в ближайший выпуск.

Убеждён, что Вас в конце концов заметят и Ваша писательская судьба сложится удачно.

наряд, какие на земле никому и не снились. Это не трудно вообще-то, над математикой ведь тоже можно мучиться все выходные, зато потом тебя ждёт законная пятерка. Так уж устроено. Я буду ходить в чёрном и обтирать подсвечники, это очень даже красиво и не так уж трудно, но для этого нужно, как минимум, чтобы тебя никто не провожал в школу и не встречал.

Царство небесное – это ещё святые в золотых коронах и одеждах, они золотые, потому что всё мужественно выдержали и теперь живут там. Их туда без вопросов пустили. Ещё бы. Каждый вечер, каждое воскресенье – математика, математика, математика. Другие идут в театр, в парк, а ты – за математику! Тогда легко победить на районной олимпиаде и на городской, а там ты уже математик, и никто тебе два не поставит ни за что, ты сам лучше знаешь, как надо решить.

Так устроено. Кто с этим станет спорить?

Что в Царстве небесном есть такого небесного, чего на земле нет, не очень понятно, но альтернатива-то одна – ад. Туда, ясно, никому не охота, и поэтому святые правильно сделали, что всё предусмотрели, и их без вопросов пропустили.

Всё очень справедливо устроено, может, чуть скучно, почти как в школе, но ничего не поделаешь.

Математику хочешь решать или не хочешь, тоже ведь никто не спрашивает.

Надо – значит надо.

Только вся эта логика, золотые святые и мраморные города с фонтанами никак не вяжутся со словами Владимира Филипповича про вечно длящееся детство.

Раньше я понимала. Пока он всё не перепутал. Ездили же мы в монастырь на экскурсию прошлым летом. Там пахло картофельными клубнями и деревом – вкусно. Ещё пахло хлебом, но не таким, как все обычно едят, а настоящим, как в сказках. Стены белые, и они поют, а внизу озеро синее, глубокое, но его не видно. Тётя, строгая и чистая, рассказывала нам про то, как в монастыре живут и почему, если в нём жить, в рай почти наверняка попадёшь (ну она, конечно, говорит – нельзя всё равно чтобы наверняка, но мы-то знаем, что просто так жизнь устроена: контрольную сдаёшь и щечкоchet под ложечкой, но чувствуешь же, что правильно решил, а если кто спросит – нет, нет, боюсь, двойка...). Платок у тёти был такой, как будто она его долго-долго гладила. И пахло от неё утюгом и ситцем. У святых одежд много-много, и стоят они всегда на пригорке зелёном, а вдалеке – города нарядные, купола белосахарные. Красота, тишина. Трава колыхается. Трава-мурава. Здесь – мурава. А в озере – лешие. Это потому монастырь и построили на берегу, чтобы они не досаждали. Я хочу быть взрослой и строгой и есть хлеб настоящий, как в сказках. Вот оно, Царство. Белокаменные высокие стены.

Я жила бы в монастыре и никому не рассказывала о том, что на самом-то деле я люблю Владимира Филипповича и мечтаю родиться Хозяйкой Медной горы, чтобы у меня была коса изумрудная и ящерки бы мне служили. Глаза его изумрудные. Ночью я хотела бы летать над озером. Лес неприступный. Ёлки стеной сомкнулись, сторожат тайны. И это бы всё осталось – детством. Я бы выросла и понимала бы всё.

И вдруг – насмарку мои мечты, детство-то моё будет вечное. Значит, вечно мне любить Владимира Филипповича, и мечтать об озёрах и ёлках, и говорить не сметь?

Детство – запретное, бессловесное.

Почему он говорит всегда коротко и не объясняет ничего?

Мне так не хватает его слов. Мне не хватает его. Жизнь – он. Почему за жизнью все время нужно гоняться? Почему её всегда не хватает?

Жизнь – запретное, тайное пламя. В запахе вечерних стогов и в сталактитовых пещерах. Её можно только нарисовать, нет, даже нарисовать её нельзя, её можно только желать. Она изнутри мучает, потому что к ней прикоснуться нельзя. Неугасимое пламя.

Как ему удалось овладеть ею? Так, чтобы она из него – лилась?

Жизнь можно укротить, как бешеного скакуна.

Тогда ты летишь над полями и реками. Я хочу летать.

Спрашивать у него что-нибудь, подходить к нему близко – летать над полями и реками.

Они думают, что живут. Они не пробовали летать над полями и реками. Жизнь можно только оседлать, схватить силою.

Чтобы подойти к нему, нужно выдумать повод. Нельзя же сказать: мне нужно подойти к вам, потому что я хочу летать над полями и реками. Хотя нет, он бы понял, он и так понимает всё.

Легко обтирать подсвечники, трудно летать над полями и реками.

Царство – не дремотный мраморный город, Царство – полёт в мглистой дали. Глаза его мглистые. Огненные слова. Огненные дали. Жизнь – огонь, Царство – огонь, Владимир Филиппович – огонь.

Зимний вечер, глухо, темно, сидим над мольбертами. Врубель.

Врубель похож на Хозяйку Медной горы. Картины застыли сталактитовыми пещерами. Вот бы потрогать мерцающие искристые камушки. В нём жизнь. Я её узнаю. Жизнь – то, что горит, как глаза Владимира Филипповича, пьянящие.

Врубель. Демон.

Мы столпились вокруг него, смотрим.

Демон. Дух захватывает, а трогать нельзя. Дрожь, дрожь, мы дрожим, дрожь – предчувствие жизни. Маша отрывается от Демона и смотрит на Владимира Филипповича. Благо он не замечает. Нам не насмотреться на него. Жизни сколько ни пей – всё мало, а может, мы просто до жизни жадные, другие живут ведь без жизни – и ничего. И не мучаются. Мучается тот, кто её хоть раз попробовал. Жар. Демон мог летать над полями и реками. В небе. Высоко. И никто не видел его.

Мы дрожим в унисон, кто стоит ближе к Владимиру Филипповичу, тот дрожит сильнее.

Напишите чуть больше о себе. Где учились, где живёте сейчас (в Питере или окрестностях). Откуда такое внимание к церкви (и знанию). Мне всё это удивительно, и хочется уяснить для себя.

Сердечно

С. Яковлев.

Дата: 21.10.08 00:23

От кого: Екатерина

Челпанова

Кому: sayakovlev@yandex.ru

Тема: от Кати Челпановой

... Спасибо Вам большое за такой удивительно быстрый и искренний ответ. Поразило меня то, с каким вниманием и интересом Вы относитесь к письмам малознакомых людей. Ведь это требует огромной душевной энергии и сил. Тем более что Вы связываетесь с писателями из самых разных регионов. Честно говоря, я даже и не думала, что бывают такие редакторы-энтузиасты... Очень символичен Ваш интерес к девятнадцатому веку, ведь это век искренности и подлинности в литературе, век искания Правды. По крайней мере, я его таким вижу...

О себе я Вам с радостью напишу побольше. Я историк-медиевист по образованию, закончила Петербургский госуниверситет, через месяц вот защищаю кандидатскую по византийскому искусству. С этим, кстати, и связаны некоторые средневековые мотивы в моих произведениях, они волей-неволей присутствуют, потому что Средние века – это

К нему подбираются слова, вот-вот захватят. Я чувствую, когда слова подкрадываются к нему. Его глаза начинают словно что-то искать. Заветное, единственно нужное. Настоящее – всегда единственное.

– Смотрите. Почему стала знаменитой эта картина? Как вы думаете?

Никто не может ответить. Все язык проглотили. Дрожим и ждём.

– Дали, – наконец произносит он торжественно, победно. – Фигура Демона тут совсем не важна. Жизнь картине даёт то таинственное зарево вдалеке, видите? Это от него дух захватывает. Посмотрите, как он его написал.

Зарево вдалеке. Жизнь вдалеке. Жизнь мерцает на горизонте таинственным заревом. Я дойду до зарева, если долго идти, то обязательно дойдёшь.

Демон сидит и мучается заревом. Мучается жизнью. Небо горит.

* * *

Два типа, только два типа. Первые вхожи в Царство.

Она приходит за ним. Он огромный, с огромными руками, почти медвежьими. Она – почти невесомая, улыбается застенчиво, мы её стесняемся, она для нас божество. Потому что он её любит. Зовут её Надежда. Кто не знает, думает, что она вполне человек. Надежда. Мало ли Надежд. Но мы знаем, кто она, и поэтому дышать возле неё боимся. Никто лица её толком не помнит, хоть она и приходит так часто, мы не решаемся смотреть на неё. Неприступность божества. В других богов можно верить, а можно не верить, но её божественность – данность. Как трава растёт – и никто с этим не спорит, так всем очевидно, что она – божество. Ещё больше, чем он. Мы поклоняемся ему, да. Он для нас как бог. Но она – ещё выше, она так высоко, что мы даже поклоняться ей не дерзаем.

Мы не можем поверить. Жена приходит мужа встречать. Жена Владимира Филипповича. Это в голове не укладывается. Он – и его жена. Можно понять всё. Тысячи математических формул, принципы светотени и самую сложную музыкальную тему. Как становятся святыми – тоже можно понять. Можно даже самому попробовать.



Непонятно, как может быть он – и его жена.

Мир качается. Мир качается, как колосс на глиняных ногах.

Формулы, книги, молитвы – глиняные ноги.

Он каждый раз радуется, когда видит её. Все годы, сколько они женаты, – он каждый раз радуется, когда видит её.

Я не знала раньше, что бывает так, чтобы кто-то кому-то всю жизнь радовался.

Как он выбрал её? Ну привет, а это – я!

Это я, поля и реки, мглистое небо, дымная жуть морозной ночи, все века, я жил на земле все века, я видел инеистых великанов и карликов с края мира.

Привет, а это – я!

Мне любое количество лет, сколько ты сама выберешь. У меня юношеская походка, мальчишеская улыбка, а когда я думаю, мои глаза – это глаза тибетского мудреца с самой вершины недостижимых гор.

Есть горы, куда никто не поднимался, есть бездонные пещеры мрака, они будут твоими, они – я.

Привет, а это – я!

Его жена похожа на весеннюю рощу. Такая же тонкая и прозрачная. Мы чувствуем, что он её выбрал, потому что ему легко дышится с нею. Все дело в дыхании.

Она счастлива.

Не так, как те, которые говорят, что счастливы. Они лгут.

Счастлива она. У неё есть вершины недостижимых гор, провалы и реки.

У нас ничего нет. Мы нищие. У нас жизни – по маленькой капле.

Мы рыдаем, глядя на душистые стога. Их нет в нас. К ним прикоснуться нельзя. Мы их только рисуем.

Она не рисует. Его жена – не художник. Зачем рисовать то, что у тебя и так есть?

Рисуют только то, к чему нельзя прикоснуться. Пишут только о том, что нельзя понять.

Ходят они домой вместе. Он похож на медведя, она на фею. Но и его, и её все же можно попытаться понять. По отдельности.

Но самая-то невозможность в том, что они – вместе.

Думать об этом – не то, что вытирать подсвечники.

Я хотела бы вытирать подсвечники и ходить в чёрном платье – только бы никогда не думать о том, что всё равно невозможно понять.

действительно моя стихия, и я её остро чувствую. Никогда у меня не возникало желания «надумать» средневековой сюжет (например, про епископа), эти образы и темы рождались из моей собственной жизни, средневековые мотивы сплавились с лично пережитым.

Хотя по специальности струго я никогда не работала, она у нас слишком неденежная.

Я работаю давно гидом-переводчиком по Петербургу, с англоязычными туристами, и бортовым гидом на речных круизах – опять же с американцами в основном. Так что теперь иногда и месяцами дома не появляюсь в сезон, приходится плавать подолгу. Зимой на частных курсах преподаю языки, но только взрослым, не детям.

Очень обрадовалась Вашему вопросу про интерес и знание церкви. Действительно, тут Вы ухватили самую суть – и текстов моих, да и жизни. Знание моё церкви, к сожалению (или к счастью), не лубочное, не каноничное и не елейное. Оно самое что ни на есть выстраданное.

Причём здесь всё было выстрадано от начала и до конца, начиная с моего прихода к религии в 14 лет «наперекор» неверующей семье да и наперекор себе самой (никогда бы прежде не поверила, что такое может со мной произойти). И так же потом были выстраданы и тяжелейшие разочарования – после полного безоговорочного принятия церковных реалий

Он объяснит ей, почему от врубелевского Демона захватывает дух и почему есть только два типа людей, объяснит ей, как войти в Царство.

Он объяснит ей медленно, внимательно, всю жизнь будет объяснять, и терпеливо научит тому, что самое важное.

По каким-то непостижимым причинам получилось так, что только он один из всех знает самое важное.

Он объяснит ей всё, объяснит то, о чем нам говорит только урывками и намеками.

Тогда они вместе войдут в Царство, он ведь не захочет там быть без неё.

Он натягивает куртку, от которой пахнет пустыней и пылью, она стоит рядом, и он не может оторваться, смотрит и смотрит на неё.

Мы застываем с открытыми ртами.

Теперь у меня есть тайна, к которой я никогда не смогу привыкнуть и о которой буду думать всю жизнь.

Неприступная тайна. Однажды он нарисовал горы. Он рисует лучше всех на свете художников, но об этом мало кто знает. Изредка устраиваются его выставки, но, кажется, ему всё равно, ходит ли кто на них или нет. Не людям служит он. Он поддерживает пламя. Ночью сторожит костёр. Цвета, оживотворённые им, пламенеют. Неугасимое пламя. Горы, которые он нарисовал, сияли снегами. У этих гор не было вершин, такие они высокие. Дьявольские горы в вечных снегах. Он не горы вовсе нарисовал, он нарисовал детство, моё – ещё не закончившееся, и своё – которое длится вечно. Детство – горы безумия в вечных снегах.

* * *

Два типа, только два типа.

Зима дышит на ладан. Я его уже вечность не видела. Ни его, ни Юлю, ни Машу. Огонек в будке во дворе художественной школы – выходишь всегда в темноту, двор жуткий, с помойками и гарью – теперь кажется райским светом. Да и не было ничего этого. Ни стен жёлтых, пробуравленных мыслями, ни Демона с заревом, ни его, который был одновременно и горами и реками. Я болею всю зиму, зима длинная-длинная. Сны зимой растут в глубину. Кольшутся лианами. Летать я по-прежнему хочу. Теперь – в болотной мути, стынувшей, дурманной. Над болотами, над кочками болотными. О, как я люблю болотные кочки! Всё время о них думаю. Даже про Владимира Филипповича не думаю, хоть и люблю его по-прежнему, его одного, – но думаю про болотные кочки. Про него не смею думать. Он – свет.

Кустики растут на болотах тощие, ягоды кровавые, стеклянные. Не тлеют. Никогда не умрут. Болота – никогда не умрут.

Я же видела картину с болотом. Не помню, где. Наверное, Владимир Филиппович рассказывал, поэтому я не помню ни художника, ни названия. Как всегда.

Воздух над болотами ядовит и свеж. Щёки горят, глаза пламенеют. Небо зажигается кислотными оттенками.

Зарево важнее, чем Демон. Зарево в картине должно гореть.

Последнее время я боюсь умереть. Не от болезни вовсе – болезнь ерунда, – а от страха. Страх перед тем, как уснуть. Свет везде погашен. Все приготовились к смерти. Холодильники в коридоре больничном гудят. В холодильниках застывает кефир. Даша, соседка по палате, пьёт всё время кефир. Он застывает к утру комками, так холодно в холодильнике. Даша. Я смотрю на неё – она соскальзывает в сон, я не смею её удержать. Подбородок острый торчит.

Волосы скомканы. Ведьма. Она не девочка вовсе, у нее кожа пронизана морщинами. Как мозаика. Мы с Владимиром Филипповичем смотрели мозаику. Лица на мозаиках у всех старческие. Царицы с глазами старух. Д... д... Даша. Ну зачем прикидываться? Знаю я вас, знаю. Страх из влажного безглазого – как водяной – становится огненным. Стены горят. Простыни горячи.

Сажусь, жду. Шевелиться не смею. Время остановилось. Минуты слипаются, как от сахарного песка. Простыни синие. Небо синее. Сколько много синего цвета, оказывается. Я и не знала.

Доползаю до подоконника. Ночь. Фонарик горит. Тихо, улица. Стены светятся, они такие белые, что даже светятся. Ночью дома белые. Белый дом ночью. Так он нарисовал. Француз, который с ума сошёл, потому что ему не давали жить. Я тоже хочу жить – и нельзя. Больно любить жизнь. Я любило белые дома ночью. Жизнь прячется в темноте. Вот она, близко. Нужно только услышать её дыхание. Если слышать её дыхание, можно нарисовать всё что угодно, даже белый дом ночью. Жизнь совсем близко. Я почти живу. Почти. Никогда нельзя жить в полную силу. Он захотел так жить – и умер. Я завидую ему. Он знал всё о моем детстве. Знал про то, какие дома ночью белые. Жизнь распускается кустом невиданным, близко. Увидеть – и умереть. Голова идет кругом от кустов. В детстве кусты текут сквозь тебя, ты сам немного кусты. Я хочу чувствовать кусты вечно. Мое детство никогда не закончится, я не отпущу его, не отпущу кусты. Как он – не отпустил. Он ушёл, но его кусты куда красноречивее его слов.

Дрожу до полусмерти, не помню, как падаю обратно на кровать уже без сил.

А потом сразу утро. Время зашевелилось, сердобольные нянечки, должно быть, отмыли его от сахара.

Утро – какое счастье. Снег за окном душистый, хлопьями ложится.

Болезнь ерундовая, только длинная.

Ещё одно сражение со страхом выиграно в мою пользу.

Время привели в чувство общими усилиями.

Красок мне приносят видимо-невидимо. Говорю же, не трудная болезнь. От неё только слабеешь, и болота снятся, а ничего не болит.

Там, на втором этаже... лежат. С подвязанными челюстями, без носов. Я хожу до лестницы и обратно. Не ходить на второй этаж. Ни за что не ходить. Не смотреть.

до полного их отторжения. И ещё с колебаниями «туда-сюда». «Просто верующей» у меня быть не получилось, сначала я восемь лет была невестой одного семинариста, потом два года близко дружила с одним довольно неординарным священником. Но обе «дружбы» закончились для меня весьма драматично, если не сказать трагично. В церковной среде меня предавали так, как нигде больше. И, к сожалению, довелось мне «изнутри» узнать её реалии и нравы – со всем лицемерием, абсолютной властью тех, кто «наверху», и беспредельным отчаянием и зависимостью «подчинённых». Но у этого «чёрного опыта» была и иная сторона – особое, ни с чем не сравнимое ощущение «горькой» свободы. После всего могу сказать, что Правда (для неверующего) или Христос (для верующего) обретается именно в горьком опыте, в разочарованиях и предательствах. Меня никогда не привлекали догмы, и подлинный верующий для меня не догматик, а правдоискатель. «Обличения» церковных мрачных сторон мне скучны, но невозможно не писать о пережитом – именно как об опыте, не слащаво и не чернушно (и тот, и другой подход мне претят). Мой ракурс освещения церкви отталкивает от меня и церковников, и антицерковников. Для первых я «еретик», для вторых – «пишу о поповщине». Хотя у

А как бывает страшнее? Если не только челюсть, но ещё и руки-ноги – искорёжены? Или когда, как у прадедушки, – рак? Говорят, с ним заживо гниют. Прабабушка соседке рассказывала. Рассказывала – и ничего. На лестнице стоя рассказывала, а из сумки огурцы торчали и кочерыжки. Мясорубка. Змеиные руки красногубого чудища терзают тела. Я видела такую картинку. Книжка была про индийцев. Индийцы бедные и смуглые, у них ещё есть проказа, проказа – когда тело чернеет и разваливается по кускам, а человек живёт. И пахнет лианами. Прокажённые прикрываются лианами. Бабочки, индийские бабочки-махаоны? Нет, фараоны, они же царственные, индийские. Бабочки-фараоны садятся на умирающих прокажённых.

Какое счастье, что у нас ни жары, ни проказы, ни бабочек. Зато у нас есть болота. Над ними можно летать. На болотах нет умирающих прокажённых.

Даша, соседка моя по палате, сидит согнувшись, стесняется, кашу жуёт, рубашка у неё с одного плеча съехала.

Грустит. Глупая, чего грустить, у нас же нет ни бабочек-фараонов, ни проказы!

– Даша, а проказу-то победили. Раньше можно было ею заразиться от одного прикосновения. Не знаешь, что прокажённый, прикоснулся в толпе, ну в метро, например, – и скоро заживо сгниёшь.

Вздрагивает.

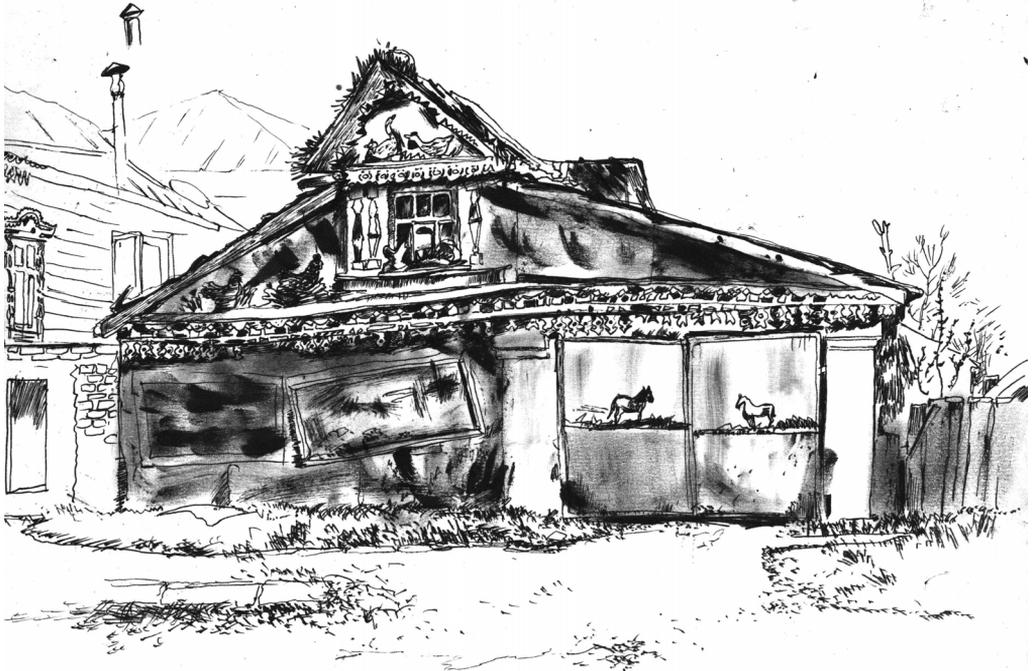
– Расскажи...

– Я расскажу, а ты расскажи, зачем засыпаешь так быстро?

– Не знаю, я... привыкла быстро. У меня брат двоюродный, мы когда на даче вместе, так он вообще... Не успеет до подушки голову донести – уже дрыхнет, и не добудишься. А что?

– Да так, не люблю одна засыпать.

– А мне... тут вроде и ничего, не страшно засыпать. Вот на даче было – дед Семён приезжал. А он вообще-то из другого города. мы с ним не общаемся. У



него зубы чёрные, и он смеётся страшно. А храпел так – не поверишь, его как режут, когда он храпит. Вот я боялась, что он захрапит, – и не спала полночи. А брату моему хоть бы хны. Спит и спит. А потом с этим дедом он ещё на рыбалку ходил. А на рыбалке кузнечики. Это он мне потом рассказал. Куст – и на каждом листе по кузнечику. А ты что красками будешь делать?

– Рисовать.

– А что?

– Я хочу Хозяйку Медной горы.

– А дашь посмотреть?

– Ну когда закончу.

Ночью мы, как и договорились, не спим. Свет зажигать нельзя. Даша заворачивается в одеяло.

– Расскажи мне что-нибудь, – просит.

– Хочешь, я тебе расскажу про Владимира Филипповича?

Звук его имени теперь словно из другого мира, не существующего.

– А кто это?

– Я его люблю больше всех.

– Ну расскажи, конечно!

Тут я с удивлением обнаруживаю, что слова закончились. Целый день мы с ней о чём только ни говорили – и вдруг сказать нечего, совершенно нечего. Голос мой – совсем не мой голос. Ну что говорить? Не могу же я ей сказать про болота, про два типа людей, про то, как от него пахнет пустыней и пылью и как я от него хочу летать.

– Ну что ты, я никому не скажу, правда, расскажи!

Я бессловесная. Мы все бессловесные. О самом важном говорить нельзя. Слов таких нет. Или нет, они есть. Они придут, если летать над болотами, они сами придут, подожгут огнём. Детство – бессловесно.

Я хочу из него вырваться, из детства. У меня будет взрослая одежда, я не буду болеть все зимы напролет, я не буду думать по ползанятия, что бы такое спросить у Владимира Филипповича. У меня будут слова, настоящие, взрослые. Настоящий муж, к которому можно в любой момент подойти, и повод придумать не нужно. Я научусь взрослым словам, я теперь уже учусь, я читаю взрослые книги.

Босиком иду по больничному коридору. Тапки не найти в темноте, а Даша просила проверить, нет ли у лестничного прохода чудовища. Я иду, обливаясь холодным потом, ноги липнут к линолеуму. Вид собственных босых ног вызывает у меня отвращение. Они думают, что я – это мои ноги. Так все думают.

меня нет цели писать именно о церкви, просто я слишком хорошо её знаю и чувствую, а я не могу писать о том, чего я НЕ знаю.

*В церкви мне интересны именно ЖИВЫЕ люди, человеческие судьбы, и мне интересна её РЕАЛЬНОСТЬ – не очернённая, но и не стилизованная. К сожалению, у нас сейчас очень много «верующих» с ледяным сердцем, которые сердцем ничего не выстрадали, да и неспособны. Среди писателей таких тоже много развелось. Кстати, очень мне близко правдоискательство девятнадцатого века. Там не было «формально» верующих или «формально» неверующих. Если говорить о моих рассказах, то меня очень обрадовал Ваш интерес именно к рассказу «Двери». Он для меня очень важен – по многим причинам, и мне кажется, он получился. Важен он для меня и в «жизненном», и в «литературном» плане. Я долго искала, где его опубликовать, но все отказывали. Почему-то его называли «фантастикой», чуть ли не «фэнтези». А какое там фэнтези? Там всё реально, более чем реально. И город был – совершенно конкретный город, и ни один образ не был «выдуман», и ни одно чувство... И именно невозможность опубликовать ЭТОТ рассказ (многие другие – ладно) я тяжело переживала. С уважением,
Катя*

Они не знают, что мне снятся болота. Я им не расскажу. Они всё равно мне сейчас не поверят.

Я расскажу им потом, когда у меня будет новое – взрослое – тело, настоящие женские ноги и взрослые слова, которым они верят. Взрослые верят только взрослым словам.

На другой день Даша смотрит на мои краски. Мы полночи не спали. То по очереди проверяли, нет ли чудовищ, то я пыталась ей рассказать про Владимира Филипповича, но меня каждый раз оставляли слова, когда я подступала к самому главному.

– А какой твой любимый цвет?

– Изумрудный.

– Почему?

– Ну ясно, почему, Хозяйка-то Медной горы была изумрудная.

Я мечтаю, чтобы у меня была только изумрудная одежда, чтобы стены всюду перекрасили в изумрудный цвет.

Мне обидно, что Степан не женился на Хозяйке. Почему чудеса всегда случаются с теми, кто их недостоин?

Я ненавижу Степанову жену, потому что он не женился на Хозяйке.

Подумаешь, что в Хозяйке не было ничего человеческого.

Во мне тоже нет ничего человеческого, я люблю болота и краски и мечтаю о дьявольских горах в вечных снегах Антарктиды – запретные горы, не означенные ни на каких картах, люди сговорились, чтобы не говорить и не думать о них, но Владимир Филиппович взял и нарисовал.

У Хозяйки были изумрудные косы, а Степан стоял и думал про свою глупую слезливую невесту.

Это самая грустная и несправедливая сказка, какую я только знаю.

Я хотела бы, чтобы на месте Степана была я. Я бы не испугалась, встретившись с Хозяйкой. Хозяйка была бы счастлива. Мы бы летали над болотами, спускались бы в самые мрачные пещеры зловещих гор – таких, куда никто не смеет ходить, а мы бы посмели.

Цвета не слушаются меня. Изумрудный цвет гаснет, не сияя. Пещеры мне только снятся. И ещё мне снятся кусты.

У меня нет ни слов, ни красок.

Нищее, убогое детство, жизнь от болезни к болезни.

Детство – когда ничего нельзя выразить.

Нет, никогда. Никогда не кончится боль, никогда не кончится детство. Моё детство не кончится никогда. Оно будет длиться вечно, я удержу его, я буду изо всех сил держать.

Я хочу в Царство. Я хотела бы встретиться там с ним. У меня будут новые сияющие цвета, новый голос. Там будут долины и горы. И кусты, которые мне только снятся смутно, распустятся там в полную мощь.

Детство – время кустов.

Мое детство никогда не закончится.



Двери

Двери были распахнуты, но в них никогда никто не входил. Они скрипели на ветру душераздирающе и протяжно.

«Двери, это всего лишь скрип Дверей», – убеждали себя люди, но это не помогало.

Душа всё равно рвалась на части от этого скрипа.

Дня не проходило без того, чтобы в магазине или на остановке кто-нибудь да не сорвался:

– Послушайте, но в этом городе нельзя же, нельзя жить!

Приступ проходил быстро, и через две-три минуты человек уже сам забывал о своей нечаянной слабости. На подобные восклицания в нашем городе уже давным-давно не обращали внимания...

Каких только способов борьбы с тоской мы не перепробовали.

Когда-то наши сограждане даже устраивали собрания, на которых решалась судьба Дверей.

– Уничтожить их – да и дело с концом.

Пытались уже. Пытались. Да только поняли, что это бесполезно.

Не мы решали судьбу Дверей, а Двери – нашу судьбу.

Когда все это наконец-то поняли, стало настолько страшно, что о Дверях вообще перестали говорить.

Как будто их нет.

Это был единственный способ... хоть как-то противостоять ужасу.

Все наши сограждане с тех пор свято чтили этот неписанный закон и не говорили о Дверях.

Взрослые чтили. Но ведь в нашем городе рождались дети...

И тогда начиналось:

– Мама, а почему нельзя входить в Двери?

– Это очень страшно, это ни за что нельзя, да и нету никаких Дверей, что ты выдумываешь!

– Как же это я выдумываю, когда ты сама говоришь, что в них нельзя входить? Значит, они есть.

– Как раз наоборот, их нет, и поэтому входить в них нельзя, это же просто невозможно, сам посуди! Как можно войти в Двери, которых нет?!

Мама сама начинает верить своей логике...

– Но, мама, почему тогда все только о них думают, как бы это было возможно, если б их не было?

– Ничего никто не думает! Я вот возьму и не буду думать про Двери! Я не думаю! Папа не думает. Сам посуди, разве мы когда-нибудь говорим о них дома?

– Вы потому и не говорите, что думаете. Страшно говорить о том, о чём и так всё время думаешь.

– Что за глупости! Это ты один думаешь! Только ты. Посмотри на других.

– Вы просто все сговорились...

У мамы опускаются руки.

– Когда ты вырастешь, сам все поймёшь.

– Я никогда не буду таким, как вы! Никогда! Нельзя уходить от того, что самое главное!

Мама молчит.



Такие сцены повторяются в нашем городе в каждой семье, где есть дети.

Дети...

Каждый из них уверен, что ни за что не будет таким, как взрослые, а потом вырастает и молча принимает главный закон нашего города.

Дети не входят в Двери, потому что родители им не разрешают, а взрослые – потому что они взрослые, а значит, живут по закону города.

Так продолжается веками, но в нашей памяти, в наших старинных сказаниях ещё живы предания о тех, кто однажды вошёл в Двери.

Да, такое случалось изредка – много-много лет назад, пока ещё не приняли закон.

И об этом все помнят, хотя и не говорят.

Не говорить – ведь это не значит не помнить...

Конечно, редко кто входил в Двери от радости, Двери были уделом изгоев, потерявших себя, опустившихся, а то и вовсе слабоумных.

Все помнят, что давным-давно, когда наш городок ещё был деревней, в доме на берегу реки, от которого теперь осталось лишь несколько прогнивших бревен, жили пастухи-пропойцы, муж и жена. Лица у обоих были совершенно звериные, и если кто встречал их на улице, сразу же отворачивался. У них родилась дочка-дурочка, она ходила по деревне оборванная, и слепой дед Семен изредка кормил её хлебом с маслом. Больше никто ей ничем не помогал, хоть она и попрошайничала: все брезговали. Руки у неё были жёлтые, совсем не девичьи и все в каких-то цыпках. Почему-то она всегда напевала что-то себе под нос, когда ходила по деревне, тоненько-тоненько, и никто почему-то не мог вынести этого пения, может быть, людям становилось стыдно за то, что они сторонятся. А может быть... Нет, пожалуй, тут и не стыд вовсе был, а какая-то гадливость, непреодолимая гадливость. Окна даже закрывали, когда она мимо проходила.

Пастухи-нелюди до того опустили, что и имя-то своей дочке дали не человеческое, а как у коров – Зоря. Записывать её не хотели под таким именем, но пришлось – родительская воля.

Так она и жила. Вроде среди людей, а по-звериному.

В детстве, ходили слухи, пастухи её кормить забывали, а собакам полные миски накладывали, так она с собаками и питалась.

И пела, пела всегда. А что пела – никто понять не мог.

И всё на Двери заглядывалась.

Ещё бы.

Таких отверженных неодолимо к ним тянет.

И любила она ещё в дождливые дни в поле ходить. А зачем – неизвестно. Ничего ведь в поле нет, бурьян да ковыль. И дождь поливает. И облака серые. И Двери.

С темнотою в дождливые осенние ночи начинается скрип Дверей. Отдалённый протяжный скрип, приглушённый шумом дождя... Самый ужас в том, что скрип этот – еле уловимый, далёкий. Потому его хочется слушать и слушать.

Кажется, если б впивался он в самое ухо, не так было бы страшно. Привыкли бы. Может, и слышать бы перестали.

Но так – совсем невозможно. Издалека... Вот, кажется, не выдержишь, возьмёшь и бросишь всё, и побежишь... И ветер будет свистеть, и дождь лить. И добежишь до них, себя не помня... И войдёшь.

Все издавна мучаются скрипом в тёмные осенние ночи, но тогда к этому скрипу присоединилось ещё пение Зори. Тоже – еле уловимое. Может, оно просто мерещилось жителям деревни?

Как можно услышать, лежа в своей постели, чьё-то пение дождливой осенней ночью?

Да, наверняка это были кошмары, у наших сограждан исстари распатанная психика. Так повелось веками.

Чего только ни послышится тёмной дождливой ночью.

Но дыму без огня не бывает.

Все чувствовали, что Зорю тянет к Дверям.

И однажды она в них вошла.

А что было потом...

А никто не знает, что было потом.

Потому что Зоря пропала.

И всё как-то изменилось.

Стало другое.

Когда кто-то входит в Двери, всё становится иным.

Что стало с нею – трудно предположить. С нею ведь никто не знался и до того, как она вошла в Двери.

Может, она понимала, что её присутствия в деревне не потерпят после того, как она побывала Там. Может, она вовсе и не пропала, а сама ушла.

Кто знает?

Кто знает, какие мысли роились в её голове? Были ли там вообще мысли?

Да, наверняка её бы убили, если б она осталась в деревне.

Ведь подобное уже случалось с некоторыми её предшественниками...

Вран. Его называли Враном, потому что он был весь чёрный. А как его на самом деле звали, теперь уже никто не помнит. Он приехал к нам из какой-то южной гористой страны. Это было до Зори...

Настоящее его имя забылось, потому что его никто не мог выговорить. Скоро и пытаться перестали. Вран и Вран.

Он рассказывал, что в той стране, откуда он родом, петь умели все от мала до велика и пели по любому поводу.

Там слагали песни на смерть человека и на его рождение, и бесчисленное число песен было посвящено любви.

Но мы попросили его не петь, чтобы не бередить наши и без того слабые, измененные скрипом сердца.

Он же учудил неслыханную вещь. Когда ему рассказали про Двери (тогда о них ещё можно было говорить вслух), он ничуть не удивился и не испугался, а только развел руками и спросил без всякого страха:

– А чего вы боитесь? Не понимаю вас! Неужели вам даже из любопытства не хочется зайти?

– А как же жизнь? Вы что же, не боитесь поломать себе жизнь?

– Жизнь... А что жизнь? Жизнь – она же как песня. Главное, чтобы красиво спеть.

Такими странными словами он вконец озадачил наших сограждан (тогда ещё односельчан).

С тех пор взрослые боялись с ним знаться, говорили, что пришелец насылает тяжёлые сны и головную боль.

– Так нам тихо жилось. От него теперь одни беды.

Какая-то молодая женщина ни с того ни с сего заболела и умерла. Говорили – с тоски. И муж у неё был, и хозяйство, не с чего тосковать.

Выходит, пришелец навёл на неё порчу.

Так порешили.

Что-то изменилось с приходом Врана.

Наши односельчане стали слишком громко смеяться и плакать.

А вскоре ещё одна – самая необыкновенная девушка, красавица, лучшая невеста – вдруг бросила всё и стала ходить за ним.

– Совсем потеряла стыд, – судачили наши женщины, но сами не могли пройти мимо Врана, не изменившись в лице. Да, все менялись в лице при встрече с ним, даже его злейшие враги глуповато улыбались неизвестно чему и отводили глаза.

А бедная девушка похорошела ещё во сто раз, но вела себя как безумная, то смеялась, то плакала, ходила всюду за ним – благо он не прогонял никого из своих почитателей. Когда он что-нибудь рассказывал, – а он мастер был рассказывать! – она садилась по возможности ближе к нему и закидывала высоко голову, и так проходили вечера.

– Быть беде... – шептались старухи.

А его ничем было не пронять. И совести у него не было. Просили его, упрашивали не развращать хоть наших детишек (им же не объяснить, почему нельзя с чужаком знаться, да и чужак такой интересный: волосы точно смоль, разговор как песня, как сладкое вино: попробуешь один раз – не оторвёшься).

И стали наши дети бегать тайком к его хате.

И просиживали у него дотемна.

И никакими наказаниями и угрозами их не удержать было.

Про свою страну он им рассказывал, про горы и солнце – у нас-то его редко когда увидишь, – про чернобровых красавиц.

И, думается, не сдержал своего обещания и пел им тайком от взрослых...

Дети его любили. А для взрослых он был – чужак.

Всё-то у него не как у людей.

Огород все картошкой засаживают, а у него цветы!

– Есть-то чего зимой будешь?

– Ничего! Придет зима – образуется.

И точно: образовывалось!

И хлеб он сам пёк, да такой, что дети, отведав, рассказывали, что во сне потом этот хлеб видят.

Не к добру дело шло.

И точно.

Тёмной осенней ночью запер он хату и пошел к Дверям.

С утра все сразу всё поняли...

Сунулся к нему кто-то, а у него замок.

Утро раннее было, а рано Вран никогда не вставал.

И пришёл он Оттуда – другой...

И по глазам его все уж наверняка узнали прежде лишь заподозренное.

И начался ветер...

Река вышла из берегов, и одно дерево ветер выкорчевал с корнями.

А дети! Дети совсем отбились от рук, перестали спать и говорили только о Вране.

И вздумали идти к нему...

Но тут уж взрослые навалились всем селом.

И пришли к нему с ружьями и камнями.

– Ты нарушил закон нашего села. Разве тебе неизвестно, что Двери приносят несчастья?

Но он был спокоен и ясен духом и ничего не ответил.

– Вы боитесь себя, – только и сказал он. – Страх сделал вас бесплодными, и вы разучились радоваться и петь. Только Двери приносят настоящее счастье.

Тогда они поняли, что он вконец обезумел, и кто-то выстрелил ему в грудь из ружья.

– За наших детей, – сказал убийца.

* * *

С тех пор прошло несколько веков. Село превратилось в город, серый завод распластался гнилым грибом над рекой, повыврубали деревья, выкрасили в кислотные цвета мосты. Только река гонит волны по-прежнему бурно. И сверху хлещет то дождь, то метель. И поскрипывают на ветру Двери.

Только говорить о них теперь нельзя.

Поутру наши сограждане сбиваются толпою на остановке, ждут автобус на город N. В городе N. есть работа, и нарядные вывески, и новенькие дома, и детские площадки, и беспечные люди.

А в нашем городке – только ветер с реки, остановившийся завод, неубранный мусор и пропойцы. Они ходят ночью по дорогам оравами, и от их пьяных воплей не уснуть рабочим людям.

Но в нашем городке трудно не запить. И некому убирать мусор. И тем более некому построить детские площадки.

У наших детей особые игры... Они тоже сбиваются оравами – как и пьяницы. И преследуют того, кто избран в качестве жертвы.

В лесочке на берегу реки стоят разломанные качели. Кому-то когда-то пришло в голову, что наши дети качаются на качелях. Какое безумие!

Дома в нашем городе красят в рыжий цвет. Почему в рыжий? Никто не знает. Никто не отдает себе в этом отчёта.

Зимой дома заносит снегом. Чёрные заборы, чёрные крыши и белый снег. И каждую ночь метель.

Никто никогда не покидал своего жилища ночью в нашем городе...

Никто попросту не решился бы на такое.

Поутру наши сограждане всегда нервные: за ночь они вконец измучены скрипом дверей.

В город N. мы едем каждое утро с моей дочерью Марией: я отвожу её в школу. Сам я из числа тех немногих, кто работает в нашем городке. У меня особые обстоятельства. На работу в город N. меня просто никто бы не взял. Я почти не слышу, и моё зрение не поддается восстановлению. Я не пригоден ни к какой ответственной работе, потому что у меня пропала способность концентрироваться. Это произошло после аварии.

Когда-то, много лет назад, я был молодым подающим надежды врачом, и у меня даже была учёная степень.

Меня отправили на ликвидацию последствий взрыва на атомной станции.

Я всё потерял в один день.

Дочь Мария родилась уже после этого.

Она родилась болезненной и необычной девочкой.

Мария – не такая, как все.

Скоро вы поймёте, почему... А пока просто поверьте мне.

Мы сидим с нею рядом на пыльном сидении пригородного автобуса, и я смотрю на её лебединую шею.

Ни один человек не хватится за эту хрупкую шею, пока я жив.

А когда я умру...

Будьте покойны, даже тогда я сумею её защитить.

Я не боюсь смерти, она ничего не меняет.

Я ведь однажды уже умирал.

Я потерял всё.



И потом у меня родилась дочь.

Кажется, я повторяюсь.

Автобус едет слишком быстро, и, по-моему, водитель подвыпивши.

Как я мог не уследить?

– Вы не могли бы ехать поаккуратней?! – не выдерживаю и ору я.

– Да пошел ты! – доносится мне в ответ.

У меня начинают дрожать руки.

После аварии я совершенно потерял способность владеть собой. А ведь в юности мало кто мог сравниться со мною в выдержке.

– Эй ты, со мной моя дочь!

Что я несу...

Автобус дружно смеётся, глядя на меня: на мои безумные, почти слепые глаза и на дрожащие руки. Вместе с красавицей Марией мы, должно быть, представляем комичнейшее зрелище. Почти что театр абсурда.

Я чувствую, что сейчас не сдержусь и начнётся перепалка.

Мне хочется убить водителя.

– Маша, Маш, давай выйдем...

– Пап, да ты что? Смотри, там метель! Прямо посреди дороги! Никто не останавливается!

– Мы не доедем живыми, ты должна жить...

Она не очень-то удивляется моим безумным идеям.

Она привыкла.

– Ну же, выйдем!

Я приказываю водителю остановиться. Тут уж он мне не вправе перечить.

У нас свободная страна, и человек в ней наделён массой прав.

Можно выскочить из стоматологического кресла, когда врач уже занёс над тобою щипцы.

Можно даже выскочить из операционной, если только достанет силы подняться.

Можно выйти из автобуса – и никто не вправе тебя задержать.

Мы выходим и сразу же попадаем в метель. Ничего нельзя разглядеть.

Впереди насыпь и какие-то дорожные указатели.

Я начинаю голосовать, но нас никто не замечает: в этой части дороги не бывает прохожих.

– Что же мы будем делать? – спрашивает Маша. – Мне холодно.

Сегодня какая-то особенная метель. Она и под нами, и в небе, наверное, она достигает звёзд и центра земли. Не видно ни изб, ни развилок.

– Пойдём к лесу, – говорит Маша. – Там теплее. Что бы мне сказать в школе, почему я не пришла на урок?

– Не волнуйся. Я напишу записку, и никто тебя не тронет.

– О, ты не знаешь нашу географичку!

Маша удивительна. Она способна думать о таких обыденных человеческих вещах, как школа, в такой фантастической ситуации.

Мы стоим посреди метели...

– Интересно, а где у метели сердце? Она ведь где-нибудь начинается, – говорит Маша.

– Каждый человек – это тоже метель, – отзываюсь я. – Он только снаружи кажется понятным и ограниченным.

– Не каждый. Витя Семечкин – не метель. И Даша Глебова – не метель.

– Почему?

– Они злые. Они смеялись над Лидой...

У Лиды горб, и проблемы те же, что и у меня: из-за нарушений нервной системы ей сложно контролировать свои эмоции. Если она смеётся, то слишком громко, если волнуется, то это всем видно. Получается, что человек вынужден жить без маски: сразу видно, что он из себя представляет. Лиде уже почти тридцать лет, но она выглядит ребёнком. Её знает весь наш город. Каждый день она выходит гулять со своими костылями и идёт всегда одним и тем же маршрутом: до моста, потом к реке, по берегу и обратно.

В нашем городе рождается много больных людей. И многие становятся больными без всяких видимых причин. Наверное, всё дело в Дверях.

Лиду тоже тянет к Дверям: поэтому над ней в последнее время начали издеваться.

– Я видел, как вы с Лидой разговаривали, – говорю я Маше. – О чём?

– Мы похожи.

– Вы не такие как все.

– Мы немножко по-другому чувствуем. Для здорового лес – это просто лес. И дорога – просто дорога. И даже метель... Но мы ведь знаем, что это вовсе не так.

Ветер уносит её слова, хотя она стоит совсем близко.

Её лицо я тоже не могу увидеть, потому что ветер не дает мне повернуться.

– Скорее пойдём к лесу!

– Что ты говоришь?!

– Пойдём укроемся в лесу от ветра!

– Нет, нет, сейчас мы остановим попугая!

– Но ведь у тебя нету денег.

– Сегодня я захватил немного.

Мы ждём долго, Мария дрожит от холода.

Я пытаюсь закусать её в свою телогрейку.

– Зимой не верится, что наступит весна! – кричит Маша.

– Так и с человеком. Никогда нельзя предсказать, чем он станет.

* * *

Иногда мне кажется, что в жизни я сменил несколько душ. По крайней мере две, но, возможно, и больше. До аварии у меня определённо была другая душа, не та, что теперь.

Я пытаюсь порой, когда засыпаю, на тонкой границе между сном и явью встретиться с собой – прежним. Но нет человека более чуждого мне, чем тот, прежний, я.

Я – он! – кажется, был хорош собой и удачлив.

После института я ни с того ни с сего получил приглашение в аспирантуру, не имея никаких особенных заслуг.

Я привык к тому, что я самый лучший.

Жена моя была настоящей красавицей. Я женился на своей сокурснице, армянке Сусанне с бездонными глазами и широкой, как море, душой.

Она с трудом привыкала к жизни в нашем городке, но я успокаивал её тем, что мы в нём в сущности не живём, а только ночуем.

– Посмотри, на нас ведь никак не отражается здешнее настроение. Мы, в отличие от остальных, жизнерадостны и удачливы. У нас прекрасная работа в городе N., и даже на выходные мы не остаемся здесь, а уезжаем гулять в неизвестные места.

– Здесь живут злые люди... И потом, река. Очень холодный ветер, и метели зимой.

– Значит, мы жарче затопим печь.

Сусанна даже не ходила в магазин в нашем городе, почти всегда таскала продукты из города N.

– Давай обменяемся. Так нельзя.

Она начала страдать бессонницей.

– Давай уедем ко мне на родину. Там очень ценят врачей.

– Ну что ты говоришь!

Почему-то я вдруг понял, что, несмотря на невыносимость здешней жизни, я никогда не смогу покинуть нашего города. Я сросся душой с ним, моя душа не может без скрипа Дверей.

Вечерами после ужина мы с Сусанной иногда сидели и смотрели молча друг на друга.

Её взгляд становился всё пытливей.

Но мы оба знали, что нельзя нарушать закон города, если его хоть раз нарушить, произойдет что-то страшное и непредвиденное.

Сусанне было тяжелее, чем мне, смириться с законом: она ведь была пришлая.

Её тянуло взбунтоваться, но она боялась последствий.

Послеужинная тишина накалялась до предела.

– Послушай, а... Впрочем, это неважно.

Она отворачивалась и подолгу слушала ветер, который дует с реки, и беснуется во всех трубах, и терзает провода.

– Не переживай. Будет воскресенье, поедем кататься на лыжах, на лыжный курорт.

– Но это ужасно дорого!

– Брось, мы пока можем себе позволить.

Так мы спасались от преследования Дверей: то лыжами, то заливом, то какой-нибудь выставкой.

Наверное, так поступал каждый, кто жил в нашем городе и при этом не хотел озлобиться или опуститься.

Но у каждого своя тактика борьбы, наши сограждане никогда не делились ею друг с другом.

Наши сограждане вообще очень скрытные люди.

Можно понять, почему.

Мне было жалко Сусанну, я видел, как со временем изменилось выражение её лица. Беззаботности как не бывало. Пропала мягкость движений. Она вздрагивала от резких звуков, дергалась во сне.

В конце каждого нашего разговора она поджимала губы и хмурилась – оттого, что о главном, о том, что не дает покоя, всё равно ведь нельзя было говорить.

Я чувствовал, что в этих терзаниях когда-нибудь прогорит наша любовь. Мы изменимся настолько, что не будет уже ничего общего между тем, чем мы станем, и тем, чем мы были, когда только встретились и полюбили друг друга.

На работе Сусанна, прежде слывшая перспективным молодым врачом, стала рассеянна, и ей уже не доверяли сложные случаи.

– Смотри, куда поворачивается моя жизнь, – вздыхала она.

– А что такое жизнь?

– Раньше мне казалось, что я понимаю. Но теперь, в этом городе, я всё столько раз передумала. Я не узнаю себя.

– Брось, ты всё та же!

Я хватал её на руки и начинал без устали шутить, как в студенческие годы. Она отвечала мне таким же искренним смехом, как и прежде.

Один вечер бывал спасён. Только один.

Ещё краткую передышку давал отпуск. Мы с нею брали отпуск в одно время. Она каждый раз уговаривала меня ехать на её родину, к тётке (родителей у Сусанны не было в живых).

Я соглашался, но с трудом.

Я чувствовал, что мне всё трудней и трудней расставаться с городом, со скрипом Дверей.

Уезжая, я чувствовал почти физическую боль, но потом, к счастью, быстро переключался.

У неё на родине мы вдоволь лазали по горам и ели тёплый душистый хлеб.

К ней как будто даже возвращалась прежняя беззаботность.

Я почти забывал о Дверях.

Почти... Я никогда не забывал о них до конца.

Сусанна была неумоима, мы ездили смотреть всякие древности, выстаивали бесчисленное число экскурсий.

Мне запомнился один эпизод.

Солнечный день в горах, небо совсем близко, и его невероятно много, мы идём смотреть развалины государства Урарту. Гид рассказывает:

– Здесь ведутся археологические работы. Теперь и вы можете прикоснуться к древности. Здесь было святилище. Видите жертвенник?

– Да, да! – прыгает в восторге громкоголосая и немного вульгарная тётенька.

Я морщусь. Камням подобает молчание.

Я отбиваюсь от группы, незаметно для гида, и останавливаюсь у какой-то стены грубой каменной кладки.

Небо совсем близко.

Я прикасаюсь рукой к камню, и мне кажется, что я слышу, как он поёт.

Но о чём поют камни?..

Постойте.

Это не пение, это еле слышный, протяжный скрип.

Это Двери.

Я стою, поражённый своей собственной догадкой.

Утёс вдалеке молчит и вглядывается в меня.

– Что с тобой?

Сусанна еле нашла меня.

– Что ты здесь стоишь, я уже начала волноваться! Группа уходит. Ты фотографируешь? Но, по-моему, вид отсюда не очень интересный. Что с тобой?

Она заглядывает мне в глаза.

Может быть, она понимает, а может быть, нет.

Интересно, мы расстанемся когда-нибудь или будем всегда вместе?

Нет, отпуск был вовсе не окончательным освобождением, а только временной передышкой.

Мы всё время помнили о том, что рано или поздно придёт время возвращаться в город.

Осень наступала сразу и неожиданно, а вместе с нею приходили тёмные ночи и холодные ветры.

Сусанна куталась в плащ и гуляла по берегу реки.

– Что ты там ищешь? Такой холод!

– Я пытаюсь понять...

Мы оба знали, что впереди что-то великое, а может быть, и страшное.

Мы чувствовали, что над нашим браком тяготеет какой-то рок.

Проблема была во мне.

Я чувствовал, что не выдержу.

Да, уже несколько веков никто не решался входить в Двери, но всё же...

Тяга стала такой сильной, что её больше невозможно было терпеть.

Почему я?

Почему я был избран?

Именно я, когда уже несколько веков никто?..

Я, наверное, чувствовал с самого рождения, что так, именно так всё и будет.

Значит, это зависело не от меня.

Это было предопределение.

А может, я приготовил его своей собственной жизнью?

Как бы то ни было...

Я задаюсь этими вопросами всю жизнь, хотя давно понял, что найти на них ответ невозможно.

Это случилось осенним вечером.

Поздняя осень – самое невыносимое время, да ещё и в нашем невыносимом городе.

С деревьев облетали последние листья, они с трудом расставались с ветвями, отрывались медленно и кружились, еле слышно шелестя.

И набирала силу река. Почти каждый день лил дождь.

Я шёл через размокшее поле, земля хлопала под ногами, и кричали вороны.

Я вышел из дому уже в сумерках, хотя знал, что темнеет поздней осенью в нашем городе стремительно, а в темноте у нас никто не дерзает гулять...

Я дошёл до Дверей.

Они были, как всегда, широко распахнуты и поскрипывали на ветру.

Высокие Двери, сколоченные из широких досок, – как заброшенный сарай.

Но они не гнили.

Им были нипочём и дождь, и метель.

Я заглянул внутрь, не решаясь войти, но не смог ничего разглядеть внутри, там был какой-то туман.

Я смотрел, смотрел, мне показалось, что я что-то вижу, но тут же понял, что это только мое видение.

«Я должен решиться и войти».

Эта была странная мысль, словно бы не моя.

Разве я решился бы когда-нибудь подумать такое?

Я должен решиться...

Либо по эту, либо по ту сторону.

Сухие листья изредка залетали в Двери. Если бы они могли рассказать мне тайну Дверей, прежде чем я сам...

Только сам, никто не сделает за меня выбор.

Тогда я вошёл в Двери.

Ничего страшного не случилось.

Я вошёл в какой-то плотный упругий свет, впереди он ещё сильнее сгустился, но я боялся идти вперёд, я прошёл всего несколько шагов.

Здесь было тепло, ветер не свистел, терзания прекратились.

В конце концов, я уже сделал выбор.

Кажется, я забылся коротким сном и не хотел уходить.

Я чувствовал, что Двери – это только начало пути, но идти далеко вперед я боялся.

Я ни о чем не думал.

Мысли перестали мучить меня.

...Когда я вышел, было уже темно. Ветер превратился в настоящий ураган.

– Я вернусь, – почему-то умильно прошептал я, обернувшись в последний раз на Двери.

И тут я понял, что всё стало другим.

Воздух, земля, город, душа.

Я смотрел на свою жизнь с высоты птичьего полета, как на что-то давно минувшее.

Я ощупывал свои руки и ноги, не узнавая их.

В таком состоянии я вернулся домой.

Жена выскочила мне навстречу, у неё было заплаканное лицо.

– Как, что ты?! Я тебя искала везде! Кому я только не звонила!

Мы вошли в комнату.

Она посмотрела на меня.

– Ты... Как... ты был Там?

Всю ночь мы просидели, молча глядя друг на друга, и не ложились спать.

* * *

После той ночи мы никогда не разговаривали об этом, но всё время думали. Мы ждали, когда же наша новая жизнь покажет своё лицо, мы оба чувствовали, что это случится очень скоро.

Конечно, мы думали и о том, знают ли люди или нет, но всё же первая проблема волновала нас в гораздо большей степени, чем вторая.

Важнее всего было понять, *что же* теперь изменилось, а не как это что-то со стороны.

Я знал, что моя жена не осуждает меня. Мы ведь жили вместе уже давно, она стала немного мною, а я – ею, и значит, она чувствовала, что именно так должно было случиться.

Вопросы «зачем?» и «почему?» она, быть может, и задавала, но не мне и не себе, а кому-то третьему.

Примерно через полгода случился взрыв на атомной станции, очень далеко, но оказалось, что врачей на место катастрофы будут посылать в том числе и из города N. Из всей нашей больницы почему-то выбрали именно меня. И почему-то я не отказался (наверное, если бы я наотрез отказался ехать, то я бы и не поехал).

Я рассуждал примерно так. *Кто-то* ведь всё равно должен ехать. Почему этим «кто-то» не могу быть я?

– Подумай, что будет с нашей жизнью, – сказала Сусанна.

– А что такое жизнь?..

Я чувствовал, что когда-нибудь пойму это...

Пока ехал на место аварии, я, конечно же, по мере возможности рисовал себе, *что* я там увижу. Но то, что я увидел, было невозможно представить заранее.

Я видел людей с полностью сожжённой кожей. Они умирали, чувствуя только боль и ничего кроме боли, умирали в полном сознании.

Рядом с одним из таких умирающих стоял на тумбочке сок манго, и жена иногда поила его этим соком.

Жёны умирающих рабочих смотрели на меня с ненавистью: я ведь оставался жить.

Если бы они знали...

Дальнейшее вам известно.

Я тоже умер – но заживо.

Я потерял всё.

И у меня родилась дочь.

Мы с Сусанной решили не заводить детей после катастрофы, но совершенно неожиданно она забеременела.

Врачи назначили ей аборт.

– Убийство по медицинским показаниям, – прошептала она.

– Вы понимаете, чем это может быть чревато?! – кричала бойкая докторша климактерического возраста, трясая искусственными кудряшками.

– А вы понимаете, что мы с мужем уже и так потеряли всё, вы хотите лишить нас права на продолжение жизни?

– Вы не осознаёте последствий! Ведь это мы будем отвечать! Все всегда обвиняют нас! Продолжение жизни! Да вы только подумайте! Даун, идиот, трехрукый – вот кто у вас может родиться! Вы отдаёте себе в этом отчёт?

– Вы не врач, а преступница, – сказала Сусанна и ушла.

У нас ведь свободная страна.

Никто не может заставить другого убить своего ребёнка, может только настойчиво посоветовать.

Докторша сердилась. Видимо, это правило её не устраивало.

Так родилась Мария...

* * *

Укутанная в пуховый шарф, с ресницами, тронутыми инеем, Мария похожа на инопланетянку. Летом, с открытыми, не по-детски округлыми и уже загорелыми плечами она похожа на восточную царевну. Волосы у моей дочери чёрные и блестящие, как воронье крыло. А глаза странные – взгляд так и проникает в сердце.

Это очень необычный взгляд. Когда я ещё был врачом, мне волей-неволей приходилось каждый день видеть лица, искажённые болью.

Взгляд Марии всегда выражает боль. С самого рождения. Даже когда ей радостно, когда она веселится, – а моя дочь, наполовину южанка, умеет веселиться, уж поверьте мне! – так вот, даже в такие минуты жизни выражение боли никуда не уходит с её лица.

Она родилась с ним.

Я чувствую, что она приняла в себя всё, что мне довелось пережить.

Я не знаю, справедливо ли это – когда дочери передаётся боль отца, но не мне судить.

Сама Мария убеждена, что во всем есть какой-то смысл, она родилась с этим чувством смысла, так же как и с болью. А может, только боль и позволяет почувствовать смысл... Не знаю.

Марии передалась красота Сусанны, но красота Марии изысканней, сокровенней – как мерцание драгоценного камня.

Несмотря на то, что Мария похожа на мать, мне почему-то всегда казалось, что она в большей степени моя дочь, чем её, не знаю, как это объяснить, но ведь мы с ней связаны не только кровью, но и болью.

Мария – единственное, что у меня осталось. Точнее, она – это и есть весь я, ведь мою жизнь у меня отняли после аварии, а взамен себя прежнего я обрел её.

Я думаю, что душа у нас с ней одна, так бывает очень редко у людей, а особенно редко – у детей с родителями.

Душа – это совсем не то же самое, что сходство или единомыслие.

Душа – это дыхание, а точнее, это ветер, или нет, это скрип, скрип раскачивающихся на ветру Дверей...

Да, душа Марии родилась, когда я вошёл в Двери.

Мы должны были остаться вдвоём, так тоже было predetermined.

С Сусанной мы расстались.

Я стал другим человеком после аварии, жена любила меня прежнего.

– Я не выношу, когда ты вот так сидишь и смотришь в окно, я тебе не нужна, тебя тянет Туда...

Так заканчивался каждый наш вечер.

Она по-прежнему работала в городе N. врачом, а я продавал цветы и надгробные венки у кладбищенской ограды. В нашем городе есть огромное старое кладбище, и летом приезжает множество родственников покойных.

За глаза про меня говорили: был врачом, а стал гробовщиком.

В общем, закономерный процесс.

В конце концов, каждый врач в какой-то мере гробовщик.

Мне иногда вспоминались слова античных мудрецов о том, что тело – темница души, сумрачный погреб. Значит, врач подправляет, подколачивает эту темницу... Этот гроб.

Тем не менее летом на кладбище чудесный воздух, и родственники покойных приезжают на кладбище в чудесном настроении – если, конечно, они не идут на поклон к свежей могиле.

– Почём бархотки? Ужас как дорого! Вы не могли бы уступить?

– Дайте два горшочка анютиных...

На меня никто не смотрит – только на цветы. Я могу спокойно предаваться своим мыслям, не боясь быть потревоженным.

После такого рабочего дня я покупал пива и шёл к реке.

Жена не могла не поморщиться, когда я возвращался домой.

– Неужели ты не можешь сдержаться? Хотя бы ради дочери.

Разве она не знает, что у нас с дочерью одна душа и нам всё нипочём?

– Давай расстанемся.

Мы решили это спокойно, мы уже давно жили каждый своей жизнью.

– Как я любила тебя – прежнего... – прошептала Сусанна.

Я пожал плечами. Я ничего не чувствовал.

– Я останусь с папой, – сказала Мария.

Я знал, что она это скажет. Это был словно наш тайный заговор.

Я знаю, что и когда скажет и сделает Мария. Я – ведь это и есть она.

Сусанна уехала из нашего города и скоро стала вновь такой же цветущей, как в юности, и вышла замуж. Следы бед и тревог разгладились на её лице и, пожалуй, она тоже получила новую душу – вместе с новой жизнью.

Мы остались вдвоём с Марией.



* * *

Примерно через полчаса ожидания в метели нас соглашается подвезти водитель грузовика.

– Залезайте! Как вас сюда занесло?

Наши губы окоченели, водитель не понимает, что мы ему отвечаем, и смеётся.

Перевал, лес, река. Позёмка стелется по льду, выделяет на ветру фантастические трюки. Грузовик с грохотом проезжает железный мост, и вот мы уже в городе.

– Ну, будьте здоровы!

– Сейчас согреемся, – шепчу я Марии.

Ни одного человека в целом городе.

Дома – как изношенные седла. Окна зияют чёрными дырами. Лида обычно отправляется на прогулку со своими костылями как раз в этот час, когда всё рабочее население города уже начинает трудовой день. Но сегодня её наверняка не увидеть: такое бездорожье.

Кое-как мы доползаем до дома, Мария разматывает платок и ставит чайник. Замёрзшие руки плохо слушаются.

Скоро мне самому, кстати, уже пора на работу. Зимой я, понятно, не продаю цветы. Хотя моя зимняя работа также связана с кладбищем – как и летняя. Зимой я дежурю на телефоне в похоронном бюро: устройство похорон, заказы на изготовление гробов – что придётся. Такой уж у нас город: работать здесь можно либо при кладбище, либо в доме хроников, либо в школе. Больше в нашем городе ничего и нет. В школу меня работать никто не возьмёт, с моей-то медкартой. В дом хроников я работать сам не пойду – сразу же стану ощущать хроником себя. Остаётся кладбище.

Работа не трудная: прихожу поздно, ухожу рано. За целый день отвечаю на три-

четыре звонка. Зарплата, понятно, тоже никакая, но с голоду мы с дочерью всё же не умираем: есть какое-никакое пособие по инвалидности.

– Знаешь, может, оно и к лучшему, что я сегодня прогуляла школу, – замечает Мария, пока мы пьем чай.

– Почему это?

Моё сердце сжимает дурное предчувствие.

– Меня как раз сегодня хотели тестировать.

– Как это? Кто?

– Ты знаешь, в моём поведении давно замечают странности, и в моих сочинениях... они говорят, что там есть навязчивые идеи и что вообще у меня развитие не по возрасту.

– Естественно, не по возрасту. Когда ты родилась, ты уже успела пережить всё то, что пережил я. Мы ведь оба это знаем.

– Дети почти не знают со мной.

– Я думал, что дети города N...

– Они такие же злые, как и здешние дети. И они бы тоже издевались над Лидой...

– Почему они такие?

– Они не знают, что такое боль. Видишь чайник? Что будет, если прикоснуться рукой к раскалённому металлу? Ты понимаешь? А сердце? Оно устроено так же.

Это были мои воспоминания – они прорастали в её душе. Это были воспоминания о людях с полностью сожжённой кожей.

– А что ты пишешь в сочинениях, Маша?

– Я пишу про боль... Потому что она сильнее всего. И ещё я пишу о... Недавно нам задали написать рассказ на свободную тему, и я написала о том, каким должен быть самый добрый человек на земле.

– И каким же он должен быть? Разве есть самый добрый человек?..

– Думаю, есть. Но если с ним встретиться, сердце разрушится, как сожжённая рука. У него должны быть глаза как будто двухслойные. Первый слой – обычный взгляд доброго человека, а второй слой... Его-то и невозможно вынести, дно его глаз как дверь, как Двери, ты понимаешь? Внутренней стороной взгляда он соединяется с...

– Я понял. Неужели обо всем этом ты написала в сочинении?

– А разве об этом нельзя писать? О Дверях запрещено говорить только в нашем городе, разве нет?

– Думаю... нет. Думаю, о них вообще запрещено говорить.

– Но... как же тогда?

– Вот что. Вот что мы придумаем...

Я нервничал и терялся в догадках.

– Что это за тестирование всё-таки? Ты не знаешь?

– Когда они поняли, что я не соответствую... Они решили провести тестирование. Оно должно было быть сегодня.

– Маша, не ходи в школу.

Меня терзало предчувствие.

– Что ты такое говоришь! Почему?!

– Не ходи, мы проживём вдвоём, пускай не богато, но ведь тебе всего хватает...

Или нет? Маша, скажи, чего ты хочешь, я постараюсь...

– Конечно же, мне всего хватает! Но почему не ходить в школу?!

– Я думаю, они хотят... разлучить нас.

В тот день я не пошел на работу, мы с Марией сидели дома и пили чай, много-много очень горячего чая. О чём только мы ни говорили в тот день.

* * *

На другой день небо разгладилось, и я с удивлением обнаружил, что наступила весна. А ведь даже февраль ещё не перевалил за середину!

Но это была весна, её ни с чем не спутаешь. И она всегда приходит вот так внезапно – когда не остаётся уже никакой надежды.

Снегу намело видимо-невидимо, и теперь он сверкал всеми оттенками голубого и синего, и мосты сверкали, и крыши.

Мария убежала гулять: я уговорил её ещё хотя бы один раз не идти в школу, ради меня, ради того, что у нас с ней одна душа. У меня оставалась робкая надежда, что они как-нибудь забудут про это тестирование, и всё обойдётся.

Прибежала Мария, вся красная, но такая красивая, что даже я удивился – а уж мне ли привыкать к её красоте!

– Я видела его! Видела!

– Кого?

– Я рассказывала тебе! О нём было в моём сочинении! – Мария размотала платок и повалилась на наш диван столетней давности.

– Да кто же это?

Я даже опешил: кажется, никогда в жизни я не видел её такой счастливой.

– Ну, я же тебе говорила! Самый добрый человек! У которого глаза двухслойные, и на дне их свет. Он приходит *с другой стороны Дверей!*

– Скажешь, у них есть какая-то внутренняя сторона?

– Конечно, есть! Только она бездонная...

Он был точно не из нашего города. Я не могу даже предположить, как он здесь оказался. Приходится волей-неволей принять версию Марии. Он стоял и вместе со всеми ждал автобуса в город N. Куртка у него была расстёгнута, волосы развевались по ветру, ботинки запылились. В автобусе никто не мог оторвать от него взгляд, но он не обращал на это внимания, он как будто давно привык, что все только на него и смотрят. Я сел рядом с ним и, пока мы ехали, сочинял, что бы такое у него спросить, – мне хотелось разгадать его тайну... особенно после того, что рассказала Мария, и после её сочинения. Что если он нам поможет и вопрос с тестированием как-нибудь разрешится? Но нет, это совершенно безумная идея, откуда ему знать...

Пока я терзался всеми этими мыслями, он как ни в чем не бывало смотрел в окно. А может, он смотрел в себя, ведь его взгляд не был направлен ни на какой конкретный предмет. А может быть, он смотрел... И тут-то я понял, что глаза у него двухслойные – именно такие, как описала Мария! И взгляда у него тоже два: первый – как у многих людей, обычный открытый взгляд благодушного человека, а вот второй взгляд...

Вопрос возник сам собою.

– Извините, что-то я не припомню вашего лица, вы работаете в городе N.?

– Нет, я живу в городе N., а работаю в вашем городе... где вы, наверное, живете. Только я у вас совсем недавно.

– Как, вы... специально приезжаете на работу в нашу дыру?! Но, помилуйте, где у нас можно работать, разве что в доме хроников или на кладбище!

Почему-то я ничуть не боялся так разговаривать с ним. Мне казалось, я знаю

этого человека уже много лет, может, с тех самых пор, как... Мне казалось, что и он знает меня. Сейчас все прояснится...

Он посмотрел на меня в упор.

– Я работаю смотрителем Дверей.

* * *

Я проснулся с мыслью о Сусанне. Нет, это была не мысль, а боль, как при начинающемся гриппе, болело всё, что только могло болеть, и как же мне хотелось её увидеть, увидеть. Как мы могли расстаться?! Я вспоминал, нет, я не вспоминал, а отчетливо видел, как она ходит по комнате, стройная и с чуть согнутыми плечами. И она носила длинные плащи. Нет, это невозможно было вынести. Длинные плащи и чуть согнутые плечи, сколько мы пережили вместе, и где же теперь все эти годы? Где?! Я был зол, не на неё и не на себя, а на кого-то третьего, я хотел спросить: почему вот так незаметно, капля по капле, у нас отнимается жизнь?

Я налил себе чаю, но болели руки, болело горло, чай оказался слишком горячим, а на дворе было слишком холодно.

Я ходил по комнате, сначала медленно, потом как зверь в клетке. Нет, так невозможно, нужно что-то придумать.

Сусанна.

Почему мою жену звали Сусанна?

А как она стала моей женой?

Всё получилось само собой, как взрыв на атомной станции, разве его возможно было предупредить?

Этот невыносимый сон, один и тот же сон на разные лады. Мы только недавно поженились, я прихожу домой вечером, а она – ты! – мне:

– Здравствуй, как ты живёшь? А это мой новый муж.

Не может быть, не было этого ничего.

Не было наших ссор и расставания нашего. Ничего нельзя разорвать, всё связано навек, как, ты не согласна? Ты хочешь сказать, жизнь состоит из одних потерь и расставаний? А может, наоборот? Я очень мучился, скучал по тебе, мне пришлось в голову: а будь оно проклято, время, его, может, и нет вовсе, а мы – пляши под его дудку. Как так нет? А вот так, видишь ли, всё сжимается, ну, представь себе, как этот Большой Взрыв – но в обратную сторону, и тогда получается, что мы с тобой и не расставались никогда.

Но неужели ты кончилась во мне? Оборванная во мне вечность?

– Здравствуй, ну как ты теперь? А это мой новый муж.

Оборванная во мне вечность.

И снова эти плащи, почему ты была именно такая, а не другая, почему тебя звали Сусанна и тебе нравились длинные плащи?

Ты говоришь, мы расстанемся? Откуда такие странные мысли? Это другие расстаются, а мы, мы – ветер, попробуй-ка отдери от меня этот ветер и этот город. Скажешь, я ещё не стал ими? А ты, душа моя, ветер мой, отрежь-ка для начала у меня ногу, потренируйся.

Плащ, ты говоришь? А я и не заметил, что новый. Идёт, тебе очень идёт, он подчёркивает...

Ты прости, не могу о тебе «она» писать, у вечности – один, звательный падеж, что за грамматическая, в самом деле, мистика, вот хочу «она», и всё равно – ты!

Ты меня – слышишь ли?..

* * *

Я выскочил из дому, я не знал, куда идти, везде был ветер, я укрылся от ветра на автобусной остановке.

Женщина. Слишком высокая и к тому же на высоких каблуках, ей, должно быть, неудобно ходить.

– Автобус что-то опаздывает... – Она в тревоге посмотрела на часы, потом на меня.

И тут я понял, что думал вовсе не о Сусанне, я думал о времени.

Время и Двери, это было как-то связано.

Вид у женщины был расстроенный.

– Вы не знаете, почему автобус опаздывает, может, снежные заносы?

Губы у неё были слишком тонкие и накрашены слишком ярко, тем более что щёки от холода стали совсем белые.

– Вы не знаете, что такое время?

Мой голос дрожал, но я не мог не спросить, я бы умер, если бы не спросил.

Женщина покачала головой.

– Давайте подумаем вместе, может, у нас получится понять? – предложила она.

– Да, да... Ну же, идёмте!

Мы стали спускаться к реке, в самое сердце урагана, она еле шла на своих высокоченных каблуках.

Для кого в нашем городе можно наряжаться?

Она была вообще-то интересная женщина, но какая-то нескладная.

Наверное, плохое питание и тоска.

И всё-таки, для кого она красилась?

– Вы одна живёте?

Она кивнула.

Ветер стал нестерпимым.

– Вам нужно было в город N., вы там работаете?

Она покачала головой.

– На что я там схожусь, я ничего не умею.

– Так как же вы живёте?

– Я пою.

– Что?!

Я остановился и резко на неё посмотрел.

– Чего тут удивительного, я учительница пения в музыкальной школе.

– Никогда бы не подумал, что в нашем городе есть музыкальная школа.

Я посмотрел на её руки.

Она была без перчаток, её пальцы окоченели, но лицо оставалось непроницаемым, она не смотрела ни вперёд, ни на меня.

Мы дошли до реки.

И тут я всё понял. Каблуки, помада и пение – она что-то скрывает.

Почему она не удивилась моему вопросу, когда я сказал про время?

– Зачем вы их учите пению?! Подумайте, что с ними будет! Кто они, ваши ученики?!

– Мальчики, обычные дворовые мальчики, у меня получается ставить им голос...

Сквозь завывания ветра был отчетливо слышен глухой отдалённый стук.

Двери распахивались и захлопывались на ветру...

– Дворовые мальчики! Подумать только, дворовые мальчики! И что будет дальше?!

– Разве вы ещё не поняли, что задавать этот вопрос бесполезно?

Она оставалась невозмутимой.

– Как вас зовут?

– Юлия.

Голос у неё был очень тонкий и словно прозрачный. Неужели бывают такие голоса?..

– Вы ведь были Там?

Она кивнула.

Казалось, она бережёт голос и поэтому чаще отвечает жестами, чем словами.

Я подумал, что она могла бы жить с нами, они с Марией легко бы подружились, а так у моей дочери совсем нет друзей.

– Это с вами случилось давно? – полюбопытствовал я.

И снова она кивнула.

– Мой дом, – сказала – нет, прошептала – она. – Зайдём погреться?

Мы остановились у провалившегося в сугроб забора. Дом её выглядел как нежилой, брёвна были черны от времени.

– Я сегодня хорошо протопила.

Мы вошли, она скинула пальто и шаль.

У неё оказались стриженные рыжеватые волосы.

– Давайте подумаем, – предложил я. – Может, вместе мы как-нибудь справимся с Ними.

– Не знаю, как вам, мне становится легче, когда я пою, особенно те песни, которые я сама сочинила. Я всегда мечтала написать песню про наш город, про ветер, про всё это, вы понимаете?..

Мне захотелось плакать.

Юлия села за пианино ко мне спиной.

– Хотите послушать?

Пока она играла, я смотрел на выстроенные в рядок её туфли – все на высоких каблуках.

– Вы видели его? – спросила она, закончив играть.

Теперь уже я кивнул, у меня не было сил говорить.

– Я не могу вынести его взгляд, это выше человеческих сил, вы должны понять, вы понимаете?

Я вновь кивнул.

– И как же нам теперь жить?

Она развела руками.

– Помните... – я придвинулся к ней, – помните, что говорил Вран?

– Жизнь – она же как песня, – прошептала Юлия. – Главное – чтобы красиво спеть. А пойдёмте к нему на могилу!

Она сказала «к нему на могилу», как «к нему в гости», получилось очень естественно.

– Что вы говорите! Холод такой!

– Пойдёмте, иначе я не выдержу!

До кладбища мы шли долго-долго, приходилось переживать порывы ветра.

Вран. Надгробье без надписи. Но кто знал, тот никогда не забывал.

Юлия опустила на снег.

– Отголоски песен своих верни нам. Научи нас входить Туда смеясь, как ты, а не плача. Лёгкостью своей раствори нашу тяжесть безмерную. Не прогоняй нас, как не прогонял никого во дни славной жизни твоей, что процвела цветом нездешним

на земле бесплодной. Лёгкости, лёгкости дай нам займы, теплотой своей родины дальней раствори снега нашего города. Не звуков песен твоих прошу – отголосков, не сердца твоего прошу займы – лишь дыхания...

– И что же... он помогает вам? – прошептал я.

– Вы знаете, да. Когда уже не остаётся никакой надежды. Ни голоса нет, ни полёта, ничего нет. И лица у них совсем дикие. Я же вам говорю... обычные дворцовые мальчики, никакого отбора. И тут вдруг – верите ли? – прорезается голос, дивный, мощный, неизвестно откуда. У этих дворцовых, которые час назад по помойкам лазали... Я так чувствую, что это мы *ему* подпеваем. И такая вдруг лёгкость, от меня её не может быть, во мне её вообще нет, во мне – только тяжесть. Лёгкостью раствори нашу тяжесть безмерную...

Она была, как струна натянутая. Да ещё и на этих каблуках. Длинная, нескладная. Вдруг поднялась с колен и пошла легко. И два раза подпрыгнула. Она и не помнила уже, что я следом иду.

– Лёгкостью своей раствори нашу тяжесть безмерную!

* * *

Тестирование Марии состоялось на другой день. У неё нашли отклонения в психическом развитии и разорванность мышления. Ей рекомендовали пройти обследование у психиатра. Школьный психолог заметила:

– Подумай, от этого зависит твоё будущее, если ты не сумеешь отказаться от навязанного тебе сценария, твоя жизнь будет невыносимой.

– А кто сказал, что нужно обязательно быть счастливой?

– В тебе говорит твой сценарий. Это образ твоего отца-неудачника.

После этого разговора Мария взяла в библиотеке книгу «Дети неполных семей», и оттуда выходило, что у неё нет никаких, решительно никаких шансов на нормальную жизнь.

Обследование состоялось в самом скором времени – о том, как это происходило, Мария сама мне потом рассказала.

Сначала были многочисленные тесты и разговоры о жизни. Психиатр был, несомненно, умный человек. После долгих разговоров он заключил:

– Двери – это архетипический образ.

– Но ведь они существуют.

– Разумеется, образ может быть реальнее действительной жизни.

– Они существуют, как бы людям ни хотелось их не замечать.

– Наши фантазии могут быть гораздо ярче обыденности...

– Вы ведь тоже знаете, что они существуют, почему вы делаете вид, что их нет?

– Я говорю, что они есть, но – в тебе.

– Они есть во мне, потому что они есть на самом деле, их скрип не даёт покоя нашим согражданам, вот уже несколько веков как люди условились не говорить о Дверях, но всему виной страх, они не умеют жить из-за страха...

– Что они делают?

– Они преследуют друг друга, спиваются, сходят с ума, их дети не качаются на качелях и не играют, они думают о Дверях день и ночь, но никто не решается войти, только мой отец...

– Образ деспотического отца, – пробормотал психиатр словно бы не Марии, а самому себе.

– Мой отец вовсе не деспот! Я сама захотела остаться с ним! Так получилось, что у нас одна душа, как бы вам объяснить...



– Деформация личности. Навязчивость. Начало шизофрении. Вы видели эти самые Двери? Вы их видели – своими собственными глазами?

– Разумеется, видела! Я входила в них! Вы слышите?! Поезжайте в наш город! Кто угодно докажет вам...

– Вы должны постараться поменьше общаться с вашим отцом. Стройте свою жизнь, а не решайте его проблемы.

Мария подивилась тому, как неожиданно психиатр перешел с «ты» на «вы», как будто бы она для него сложившийся человек, а не какая-нибудь девчонка.

– Но у нас с отцом одна душа.

– Еще одна фантазия... Каждый человек имеет свою собственную душу и сам отвечает за свою судьбу.

– Нет, жизнь имеет смысл, только когда ты чувствуешь чью-то боль как свою.

– При чём тут боль?

– Вы когда-нибудь видели людей с полностью содранной кожей?

– Разорванность мышления... – раздумчиво проговорил психиатр себе под нос.

Почему-то его взгляд, прежде врачебно бесстрастный, теперь выражал с трудом подавляемую враждебность.

– Озеро, – прошептала Мария. – Тёмная, пронзительно весенняя ночь, и рыбки посреди тихого озера. Вдруг они слышат далекий взрыв... Сердце на миг сжимается, но потом всё опять спокойно. Они больше не разговаривают, они ждут. Минута, другая, минуты слипаются во время. Неизвестно, сколько прошло минут, прежде чем один из рыбаков почувствовал себя дурно. Душно в груди. Воздух, такой чистый весенний воздух. Кто мог отравить весенний воздух? Время слиплось. Липкое время, которое теперь не отодать от жизни. Небо, небо горит.

Психиатру стало почему-то душно, а на тумбочке как раз оставался недопитый сок. Неприлично пить во время приёма пациентов, но просто невыносимо душно. Липкий, тёплый, сладковатый сок. Что за вкус? Манго...

– Он сгорал изнутри. Когда кожи у него уже не было, он всё ещё был в полном сознании, и ему только мучительно хотелось пить... Пить, пить, огонь – это была его последняя, самая долгая мысль. Почему сок такой тёплый? Как вы думаете, в чём истина? – спросила Мария словно бы ни с того ни с сего.

– Что? А... Что? – Психиатр замешкался с ответом.

– Истина, – она придвинулась к нему, – она пронзает до самых костей, всё, всё будет новое, душа и кожа.

Она схватила его руку.

– Нет! Нет! – воскликнул несчастный психиатр, отдёргивая руку как от огня.

– Не бойтесь. Входить или не входить в Двери – это ваш выбор.

– Что... что вы такое говорите? Какие странные галлюцинации...

Она улыбнулась: чуть вздёрнутая верхняя губа, и раскосые восточные глаза, и навеки запечатлевшееся выражение боли.

Он не мог вынести её взгляд, его рука опять машинально потянулась за соком...

Так моей дочери диагностировали шизофрению.

* * *

Мария перестала ходить в школу и почти не разговаривала со мной. Казалось, теперь каждое слово даётся ей с огромным трудом. Опять началась метель, река набухла, как больная вена, и обещали ужасное наводнение.

– Что они сказали тебе?! Что они могли сделать?! – допытывался я от неё, но безуспешно.

Придя в себя, Мария понемногу рассказала мне всё от начала до конца.

– Что они посоветовали тебе? – решил я наконец спросить.

– Расстаться с тобой и жить своей жизнью. Если возможно, уехать к матери.

– Но... ты ведь не сделаешь, не сделаешь этого?! Ты ведь не уйдёшь?!

Я чувствовал себя так, как будто из моего живого тела вынимали душу.

– Ты ведь не уйдёшь, мы не расстанемся?!

– Как ты мог такое подумать?! Мы ведь оба знаем, что нам нет пути назад... Разве ты не знаешь, что тот, кто однажды вошел в Двери... у того уже нет пути назад?

Я похолодел во второй раз.

– Ты что же... входила в них? Этого не может быть, я не мог этого допустить, посмотри, что случилось с моей жизнью, ты должна была быть счастливой...

– Я и буду. Но – по-другому.

– Нет, ты должна была быть... как все люди, никто не имел права...

– Не ты ли всегда повторял, что я не такая, как все?

– Да, но когда... когда ты это сделала?

– Это сделал ты. Когда ты вошел в Двери осенней ночью, мой путь уже был предопределён.

– Значит...

Меня озарила ужасная догадка.

– Тот, кто входит в Двери, тянет за собой и своих близких.

– Но это... это несправедливо.

– Тебе ли не знать, что настоящая справедливость может расходиться с нашими представлениями о ней?

Я сидел пораженный. Я всегда знал, что моя дочь гораздо мужественнее меня.

* * *

Взгляд его невозможно было вынести, как невозможно выносить скрип Дверей тёмной осенней ночью.

– Вы хотите чаю?

Мария совсем не стеснялась гостя, хотя ещё даже не знала его имени. Она откинула назад чёрные волосы и улыбалась ему так, словно они всю жизнь были знакомы.

– Да, пожалуй, – ответил гость, и всем сразу стало легко. Да нет, пожалуй, всем и было легко, то есть нам с Марией было легко с ним, хотя мы даже не знали его имени.

– Мы случайно познакомились в автобусе пару дней назад, – пробормотал я, пока Мария разливала чай. – Я подумал, что он... То есть, простите, я подумал, что вы могли бы нам помочь в сложившейся ситуации... Простите, я ведь даже не знаю вашего имени, и сам ещё не представился... Меня зовут Василий, а это Мария, моя дочь.

– А я – Александр, – представился гость.

Мы сидели втроём и пили чай.

– Рассказывайте, – сказал гость как бы между делом – так, как будто в нашем чаепитии и нашем разговоре не было ничего необычного.

– Нас хотят разлучить, – начал я, недолго думая. – Вы не могли бы нам помочь?

Гость посмотрел так, как будто бы заранее знал, о чём пойдет речь, и спрашивал только из вежливости.

– Я понимаю, – сразу же заметил он, – они не могут вам простить. Ведь уже много лет никто...

– Ну да, Вран одним из последних нарушил закон, и все мы помним, как он кончил...

– А вы знаете, что было время, когда в Двери никто не боялся входить, и о них не только можно было свободно говорить, но даже петь песни и писать книги?.. Когда-то вся жизнь людей была сосредоточена вокруг Дверей, и все свободно ходили туда и обратно.

– Неужели так было?! – воскликнула Мария. – Как бы я хотела жить в то далёкое время!

– Так было, пока страх не сковал волю людей, – продолжал гость. – Теперь страху уже подчинено всё, вы ведь знаете, что и Врана убили из страха, и вас хотят разлучить – тоже из страха. Они хотят жить так, словно Дверей нет и не было никогда.

– Что нам делать? – спросила Мария совершенно спокойным голосом, словно продумывая военную стратегию.

– Не соглашайтесь на лечение. Ни за что не соглашайтесь. Они предложат вам средство, чтобы вы забыли о Дверях раз навсегда.

– Но о них невозможно забыть, у них ничего не получится! – воскликнула Мария.

– Забыть невозможно, это правда. Но можно вытеснить образ на самое дно сознания... Внешне вы тогда будете такой, как они хотят. Но изнутри они никогда не смогут вас изменить, как бы ни старались, здесь вы совершенно правы.

– Они смогут разлучить нас с отцом?

– Этого никто не может сделать, даже если один из вас умрёт, вы будете неразлучны, у вас ведь одна душа.

Я видел, как жадно Мария вглядывается в лицо нашего гостя.

Что это было за лицо...

Главное – как ей удавалось вынести его взгляд?

Я всё время отводил глаза, у меня не было столько сил, чтобы смотреть на него.

– Откуда вам всё это известно? – спросила Мария после минутного молчания.

– Я работаю смотрителем Дверей.

Она просияла и, кажется, еле-еле удержалась, чтобы не вскочить со стула.

Она смотрела на него не отрываясь и щурила свои восточные глаза.

Мария вообще часто щурится – как будто от боли или от слишком яркого света.

– Значит, вы должны знать... Вы ведь знаете, – обратилась она к нему. – Почему должно быть столько боли?

– Вы ведь тоже это знаете, – ответил он. – Только так можно научиться чувствовать.

Мне казалось, я слышу, как бьётся её сердце. Она держала стакан с горячим чаем, и я видел, как он дрожит в её руке.

– Вы ведь любите крепкий чай? Я правильно угадала?

Гость кивнул.

– Можно, я налью вам ещё чаю?

Он опять кивнул.

Разговор продолжался.

– Почему вас прислали? – спросила Мария. – Почему именно теперь?

– Ситуация стала критической.

– Но мы ведь знаем, что Двери нельзя уничтожить.

– Двери – нельзя, но люди могут запросто расправиться с теми, кто в них входил.

– Нам угрожает опасность?

– Уже нет. Я вас предупредил. И к тому же я всегда буду рядом. Всё должно закончиться хорошо.

Сидели молча несколько минут, Мария не отводила от него глаз.

– Теперь я поняла, – прошептала она. – Теперь я поняла, для чего нужно, чтобы было столько много боли. Если бы я не чувствовала боль всю мою жизнь, я не смогла бы теперь так чувствовать счастье.

Наверное, Мария могла бы так просидеть вечность, не двигаясь, но есть нечто, что сильнее боли и важнее счастья – это чувство такта.

У гостя могли быть впереди важные дела, и, в конце концов, он занимает такую важную должность.

– Давайте пойдём к Дверям. Можно нам проводить вас? – попросила Мария.

* * *

Мы шли сугробами, по колено в снегу, но идти было весело – мы думали только о Дверях. Мария умудрялась даже подпрыгивать на ходу, а я улыбался. Наверное, это была очень глупая улыбка, но мне некого было стесняться.

– Дочка гробовщика! Гробовщикова дочка! – смеялась Мария.

– Что это вы? – спросил смотритель Дверей.

– Так меня зовут местные дети.

– Ну так это почётно. Подумайте, много ли теперь гробовщиков?

– Не сомневаюсь!

Я чувствовал, как она счастлива. Я ведь всегда чувствую то же, что и Мария.

Если ей с кем-нибудь хорошо, то хорошо и мне.

Для нее всё прояснилось в один день – смысл жизни, смысл боли, смысл собственного рождения.

Я подумал уже тогда, на остановке, что встреча с ним перевернёт жизнь моей дочери.

– До чего непредсказуема жизнь! – воскликнула она, вне себя от счастья.

– Жизнь – одно сплошное приключение, – отозвался смотритель.

Наконец мы пришли.

Двери были распахнуты, как всегда, они никогда не закрывались.

Деревянные, сколоченные из грубых досок, как стены старого сарая.

Но они не гнили, им были нипочем и дождь, и метель.

Я всегда думал, что помню их до последней доски, но только сегодня я заметил сверху на Дверях почти стёртую, но всё же различимую надпись:

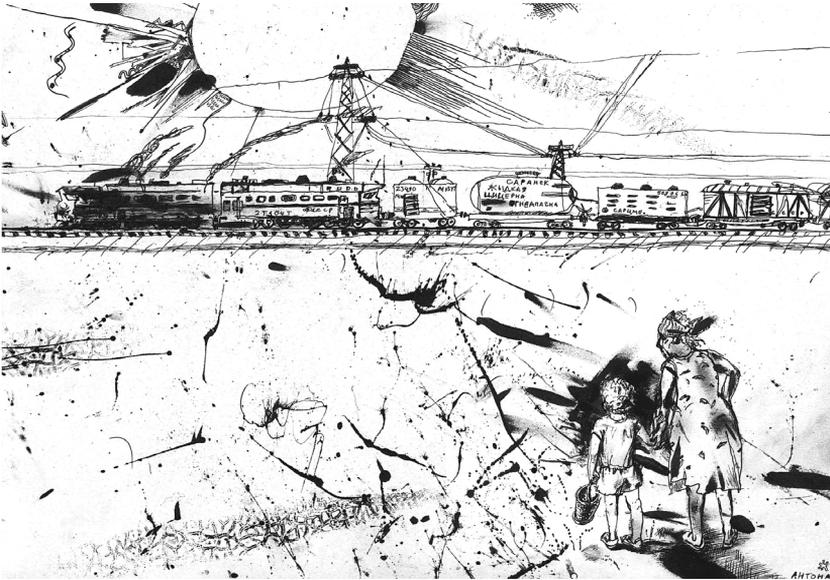
«Если вы войдёте, Я сделаю вас совершенными».

Мария поняла, что я вижу надпись впервые, и отозвалась на мои мысли:

– Уж поверь мне, Он выполнит своё обещание.

– Чего бы это ни стоило нам, – вздохнул я.

– И чего бы это ни стоило Ему, – добавил смотритель.



Лоскуров

Владимир Яковлев

М Е С Я Ц В Д Е Р Е В Н Е

1977 г.

Владимир Ананьевич Яковлев (13.09.1936 – 22.09.2006) – самый старший из трёх старших моих братьев. Выпускник Московского инженерно-физического института, работал на атомной станции в Мелекессе. После аспирантуры на физфаке Московского университета стал кандидатом физико-математических наук, доцентом, преподавал в вузах разных городов, дольше всего – в Вологде. Незадолго до смерти выпустил книгу, ставшую итогом труда всей жизни (Яковлев В.А. Физика: новый взгляд на старое. – М.: Логос, 2005), открывающую новые научные горизонты и остающуюся, к сожалению, практически незамеченной. Однако главным его даром было особенное, одновременно страстное и целомудренное, праведное отношение к миру и ко всей многообразной жизни вокруг. Среди людей, живых и давно ушедших, у которых я учился и на кого хотел быть похожим, он с раннего моего детства был и донныне остается на первом месте. Ничья другая жизнь не оставила во мне таких глубоких впечатлений; потеря его сравнима с потерей большей и лучшей части самого себя. Поведать о такой жизни трудно, почти невозможно, для этого понадобятся многие годы и сотни, если не тысячи, исписанных страниц, – а и тогда результат непредсказуем. Но в нашем семейном Литературном Ежегоднике (об этом «самиздате» шла речь в предыдущем номере журнала) сохранились его собственные заметки – в них глубина и чистота говорят за себя.

Сергей Яковлев

Ненужные фантазии.

Яркая весна, солнце слепит глаза, куда бы ни взглянул. Оно сияет снизу из луж среди чистого тающего снега – в детстве все чистое, даже лежащие в кармане пальто, набранные в разных местах железки и камни, – блестит на мокрых деревянных тротуарах. Я сижу перед воротами на приступке деревянного крыльца, выходящего прямо на тротуар. Приходит на обед отец и тут же, на улице, дает мне только что купленный букварь. Я раскрываю его и вижу на внутреннем развороте обложки ночной лес. Обе страницы темные: зеленое небо и на фоне его темно-зеленые силуэты елей и птиц. Я узнал филина. "А это какая птица?" – спросил я. "Это самая маленькая птичка наших лесов – пеночка", – ответил отец.

С этого случая я стал относиться к лесу, говоря моим теперешним языком, сознательно. Лес стал одной из целей жизни, а проще говоря – непосредственной и ближайшей потребностью.

В поздние школьные годы на меня одно из самых возвышенных впечатлений производила дорога, и даже не сама она, а больше ожидание ее и самое начало пути. Может быть, вызвано это рождением и жизнью в одиноком городке, "медвежьем углу", где далекие поездки были сравнительной редкостью. Сейчас мне непонятен тот вызванный даже простой поездкой за дровами на Сидориху наплыв чувств, когда я сел в кабину к шоферу Николаю Васильевичу, и машина двинулась. Щетки стекла, плавная тряска, идущие навстречу дома – все это я воспринял так, как будто сейчас наступит поворот в судьбе...

Что говорить, теперь нет этого у меня. Но иногда /очень редко/ возникает слабое подобие того состояния.

В ту осень меня послали в колхоз с группой студентов...

Воскресенье

Хозяева.

Студенты поселились в большом пятистенке - все двадцать человек, и было довольно просторно. К нему примыкал двор, где жили корова с годовалым телком, овца с ягнятами и огромный поросенок /о нем хозяйка сказала как-то: "Беспокоюсь, куда в этом году девать мясо, уж болно большой поросенок," - как бы сожалея о его величине. Она, как во многих деревнях средней полосы, мягкое "л" произносила как твердое, а буква "ч" явно сбивалась на "ц", что сразу мне напомнило солигаличских толшмяков, хотя и было выражено гораздо слабее. Видимо, это характерно для большой округи на стыке Костромской и Вологодской областей/. Из сеней пятистенка верхом двора можно было пройти в сени второй избы, пристроенной с другого его конца - там жили хозяева. Дому, как они мне сказали, больше ста лет. Хозяин Степан Павлович, лет 55или больше, был слеп с войны /"наскочил на мину", - объяснила его жена/. Она - того же возраста и только что ушла на пенсию после работы дояркой. Характер у нее - прямой и грубоватый, ни с кем особенно не церемонилась и никого "из начальства" не боялась; это было вызвано отчасти тем, что муж поневоле делал только домашние дела, и во внешней сфере она была вместо него, имела дело с мужиками, а они, по ее выражению - "такие волки!" В деревне администрация почти никогда не жалуется руководителю на студентов и ведет себя по отношению к нему в этом смысле в духе либерального гуманизма научных воспитателей Московского университета, но зато хозяева и

соседи - верный барометр студенческого поведения, и я был всегда уверен, что сегодня происшествий нет, если хозяйка не говорила на эту тему. Но так было вовсе не каждый день. Смотришь, вроде - все в порядке: работали хорошо, устали, не шумят, в палисаднике чисто, дежурные на месте - в отдельной крошечной избушке-кухне готовят ужин, или колют дрова; но нет.

- А почему это они бересту в палисаде обдирают? Я уж им говорила, что выгону из дому!

Думаешь: не может быть! Живем уже десять дней, и ничего не было такого. Идешь - и верно: отодрано с одной старинной березы, хорошо еще, что немного.

А то, подавая мне на стол обед, она сказала:

- Ведь удумали что: сломали забор и устроили стирку в пруду! Мы из него скотину поим, он чистый. Я так и председателю скажу: не буду больше никого держать!

Она всегда заявляла так решительно, считая, что я оттого буду лучше бороться с недостатками.

- Иду, а она штаны полощет! Ну, что делать?!

Мне тоже было жалко пруда /его у них в семье еще звали "львой" - солигаличское словечко/. Он находился в огороде и был размером не больше десяти метров. Травянистые берега круто уходили в черную на вид воду, сквозь которую у берегов видна была тонкая болотная травешка. Огород отделялся от палисадника длинным редким забором, а калитку туда в первый же день хозяин на ощупь, как он все делал, завинтил крепкой стальной проволокой. И все это видели, но вот проходят дни, и они почему-то вдруг решают туда наведаться и устроить стирку рабочей одежды, сбив для этого несколько заборных досок.

- Хоть бы что другое, плат или что, - сокрушалась Анна Александровна, - все бы мне не так думалось, а то - штаны!™

Студенты работали в разных местах, а девчонки - даже в ноч-

ную смену /на току/, но хозяйка все о всех знала.

- Приходил Федор с тока, жаловался на девчонок; плохо сегодня, стояли - и все, а то уходили в избу, одна только и работала, которая в пальте.

/Большинство носили куртки и свитера - одевались по-спортивному, а одна студентка была одета в обычное демисезонное пальто/.

- Нужно будет сказать им, - говорю.

- Вот! Одна, мол, и работала, в пальте.

Друг к другу хозяева относились грубовато. В моем присутствии по хозяйственным мелким вопросам спорили редко, но иногда почему-то поругивали друг друга без видимой причины. Сидим, например, вечером втроем за столом, пьем чай, у них хорошее настроение. Степан Павлович говорит: "Тут она?" - нащупывает кружку с молоком и поворачивает ее, ища ручку; жену это почему-то раздражает: "У, сволочь, так бы и дала!" В этом был какой-то оттенок шутки, вроде бы сказано для забавы, хотя и с сердцем. Как-то он приколачивал на улице ставню /решили они в эту осень сделать ставни/, а хозяйка кормила меня обедом.

- Не успокойся, черт, теперь, будет стучать, - сказала, хотя это делалось, я знал, по ее плану.

Степан Павлович, худой, низкого роста, с бледным лицом, говорил во дворе мало. В первые дни я имел дело исключительно с его женой. Смягчился он после того, как стал свидетелем моего вступления на первом собрании в палисаднике по вопросу о дисциплине.

- Хорошо ты их пробирал, - спокойно и задумчиво сказал он, имея в виду, наверно, не вполне общепринятые в обиходе слова, которые я употребил в своей речи, говоря о случае, когда дежурные взяли березовые дрова из хозяйской поленницы вместо привезенных для нас сосновых.

Начальство.

Первым после кладовщика официальным лицом, с которым я имел дело, оказался парторг колхоза - пожилой черный человек. Он сводил меня к пилораме показать, какие дрова можно нам брать, сказал, где достать лошадь, потом пригласил к себе выпить чаю, за что я был ему очень благодарен: день был солнечный, и беготни много, а после первого ночлега на новом месте нельзя никогда сказать, где и когда будешь пить чай. Изба его оказалась старой - он был не здешний и купил ее, переехав из Костромской области/. Войдя, мы увидели его жену, вытиравшую мьельные после стирки руки; она тихо /но хорошо слышно было/ произнесла что-то вроде: "Самое время выберет", - из чего я, и не зная, заключил бы, что она нездешняя. Но на стол она поставила много: не только чай, но и суп с грибами, яичницу и жареные грибы. Выпил я стакана четыре и попрощался, сам он вышел тоже со мной, в контору. В этот день парторг уезжал в отпуск в Москву к дочери, так что я увидел его только за 4 дня до нашего отъезда. Так же аккуратно он проводил нас, оформив билеты на самолет.

Председатель колхоза - довольно молодой и коренастый, румяный, в очках, спокойный человек. Он беспрерывно ездил на мотоцикле из одной бригады в другую, по этому поводу говорили, что он "все сам", или: "думает, что углядит!" Работу председателя постороннему человеку оценить трудно, и тут нужно полагаться на оценки местных людей. Отзывы были хорошие. Хозяева мои сказали, что он "работает", и жена у него - на ферме, "не как у других", "тут ничего не скажешь". Но как-то за ужином Степан Павлович стал его ругать. Я напомнил, что раньше он хвалил председателя.

- Так ведь нельзя народ распускать! Я ему как-то говорю:

"Накажи его!" /речь шла о трактористе/. - И, передразнивая председателя, очень низким/голосом сам себе ответил. - "А-а ка-ак я его накажу-у? - он уйдет!" Да куда он уйдет, есть-то ему надо! Взаяся руководить - так руководи, мать!

Подобные присказки были у него часты; в некоторое оправдание можно заметить, что край здесь все-таки был необычный. Недалеко /едуци сюда/ я видел в лесу поставленный зачем-то навес на столбах, означающий, по-видимому, автобусную остановку /но что за автобус ходит?/; и весь навес, сделанный из свежих досок, по фронту и с боков был исписан крупными черными словами, да так, как будто за это заплатили деньги. В другом месте эта будка не продержалась бы и суток, а здесь она будет стоять, пока не сгниет. И еще вспоминаю двух молодых парней-трактористов: один слез с трактора и кинул вслед уезжавшему его напарнику картошину, а тот, держа руль одной рукой, обернулся и бросил тоже, да так, что попал! "Ой, Леша,ть!" - произнес первый нетромо, и, клянусь, эти слова не выражали ничего другого, кроме хорошего настроения и любования своим товарищем.

Один раз хозяйка сказала утром:

- Ваши вчера поздно легли? Пошумели они ночью, даже Король жаловался, сказал, что выходил ночью из дому.

Король - это председатель сельсовета, полный высокий человек в шляпе, но не городского вида. Когда я выяснял, почему у него такая фамилия, хозяйка объяснила:

- Да не фамилия, а зовут так, ругают так.

Она, видимо, решила, что слово "кличка" мне будет непонятно.

Бригадиром был добродушный на вид человек лет пятидесяти, по имени Бронислав Федорович /"Бронька", - говорила хозяйка за глаза/. Ругаться он не умел, говорил так: "Сегодня, понимаешь, нужно двоих, возить на лошадях цемент." Было странно для меня

смотреть, как он мирно разговаривал с конюхом, который, по рассказам, выбил ему гаечным ключом передние зубы. Здесь все про всех знали, будучи знакомы с детства; конюх же был, видно, самый неважный человек: он стрелял раз из дробовика в Степана Павловича и совершил еще одно преступление из категории особо опасных. Дом его был расположен рядом.

После обеда я обычно заходил в контору колхоза читать газеты. В первые дни меня туда привлекал и чай, которым угощали девчонки-служанки /у них был кипяtilьник в виде трубки, свернутой в двухвитковую спираль, и чайник./ Иногда я покупал пряников или конфет. В конторе в это время начальства не было, и председателя в эти часы я застал раза два. В первый они с каким-то парнем выясняли, где трактор.

- В Пустоше, - говорил парень.

- Трактор в Пустоше? - повторил председатель /речь шла о соседней деревне Пустошь/.

В другой раз председатель пришел довольный чем-то и присел за стол. Девчонки разгадывали газетный кроссворд, и он тоже изредка давал предложения.

- Может быть, Гомер? - сказал он раз.

Все это мне запомнилось, но если вдуматься - как это бессмысленно, что такие пустяки режут слух, и от них зависит впечатление о человеке. Как бы заговорил я, пожив здесь? - да я уверен, что, скажи "в Пустоши", все окружающие обернулись бы на меня. И сколько - не председателей, учителей! - говорят гораздо более сильные вещи на уроках! И я совсем не уверен, что Древние греки произносили имя Гомера на французский манер /и никто в этом не может быть уверен/, но - вот, сложился стереотип и попробуй отступи от него.

При расчете в конце работы, когда я пришел в контору со своей записной книжкой и подводил итоги с экономистом, предсе-

Воскресенье

датель подошел сам узнать, сколько нам начислили.

- Добавить надо ребятам, - сказал он, - накиньте за раскатку. - Он имел в виду тех, кто работал на лесу и возил сосну для мощения деревенской улицы, но "накидка", конечно, касалась всех.

Студенты.

После десяти лет работы в институте у меня до сих пор нет линии поведения по отношению к студентам, в правильности которой я был бы убежден. Были у меня /правда, единицы/ среди них почти друзья, но чаще их отношение к учебе и работе, их поведение толкали меня руководствоваться пословицей "Каши маслом не испортишь"; в результате, однако, всегда появлялась мысль: "А зря я, пожалуй."

На этот раз мне, похоже, повезло. Спокойствие жизни зависит в такой ситуации от двух вещей: как они работают, и не намечается ли схватки с деревенскими в нерабочее время. Работали хорошо, и это было для меня неожиданным. С местными парнями тоже установились ровные отношения.

Особенно работящими были человека два-три. Один из них, бывший шофер из В.Устюга, в свободное время жонглировал специально привезенными цирковыми палками и кольцами - я впервые видел /не считая цирка/ человека, жонглирующего тремя предметами. Он же читал по вечерам вузовские учебники по математике и физике, что было еще более необычным. Второй парнишка запомнился мне тем, что колол дрова топором не хуже меня /особенность заключается в том, что тут нужно наносить косой удар/. Мы все пробовали, как колются привезенные нам сосновые дрова, и среди 12 студентов таких больше не оказалось, хотя многие были из деревень и даже хорошо скакали на неоседланных местных лошадях. Лошадей этих в "Восходе" было штук двадцать, и все они паслись

за околицей и уходили довольно далеко в лес. Людям они плохо давались, и даже конюх иногда приходил обратно один после "ловли"; в конюшне же обычно стояли 2-3 самые смиренные и пожилые, которые и "отдувались" за всех. Особенно досталось в сентябре одной вороной. Почему-то в этом году все решили перепахать свои картофельные участки после копки; как можно догадаться, сделай это хотя бы один - и после все не отстанут от бригадира: "Дай лошадь!" Хозяйка, запрягая, говорила с ней ласково, но на работе спуску не дала, хотя та была буквально измучена. Когда вороную отвели в середине дня на конюшню, там уже ждал /именно ее!/ один из соседей, уродливо-маленький человек /ростом не больше метра двадцати/ в кожаном блестящем картузе на большой голове. О нем потом хозяйка сказала: "Он не смотри, что маленький"; действительно, я видел сквозь плетень, проходя мимо, как он здорово управлялся с плугом, не давая лошади остановиться грозными возгласами одного и того же содержания через каждые пять метров борозды.

Со студентами в первые дни пришлось сильно поругаться по известным причинам: то долго гуляли вечером, то кто-то начал было покупать водку, то один-два человека болтались в палисаде в рабочее время вместе с дежурными. Продащицу местного магазина так и не удалось примитрунить, она мне отвечала: "А как им не дашь, они взрослые и деньги приносят." /В этом магазине студентам открыли кредит на крупу, хлеб и т.п., и она не могла упустить возможность получить деньги хоть за это/. Впрочем, особой проблемы не возникало, и я не настаивал до такой степени, чтобы обращаться к начальству и т.п. - случаи выпивок были редки. Что сильно удивляло и мешало - так это отношение их к хозяйскому двору и дому. Казалось, будучи сами из деревни, они должны бы ценить и уважать каждую мелочь; было же наоборот, и их отношение к хозяевам напомнило мне одного гоголевского чиновника,

считавшего, что начальству, как вражескому лагерю, надо досаждать всеми возможными средствами. Я уже упоминал их проделки. Самое плохое, что они были всегда неожиданны, без малейших советов или просьб. На что я ни упираю, чего ни говорил — все было почти бесполезно. Думая об этом, я даже предположил, что именно со стороны бывших деревенских парней это могло быть проявлением вековой вражды бедняков к зажиточным домам. Надо же как-то объяснять себе!

Жил я с ними. Моя раскладушка стояла у входа из сеней, где часть большой комнаты была отделена переборкой; здесь помещалась еще только лавка. Частых явных нарушений установленного режима не было. Одно из них связано с ночным костром. Я знал о приготовлениях и подумал, что хоть раз-то они имеют право на это. Хотел даже сам сходить, попробовать печеной картошки /как ни странно, на картошке мы работали за месяц всего полдня, и то не все/, но к полуночи, читая книгу, сильно захотел спать, к тому же подумал, что им будет неприятно мое неожиданное появление.

Наутро хозяйка доложила, где они жгли костер, кто был из деревенских с ними и у кого /назвала имя/ украли с поля картошку.

Дни.

Я вставал обычно около половины седьмого, иногда колол и пилил дрова для студенческой кухни, а чаще сразу шел на реку умываться. В семь-полвосьмого входил в избу хозяев завтракать. Так повелось, что завтракать и обедать я заходил без приглашения, а ужинать — ждал, сидя с книгой у себя на лавке, когда хозяйка откроет дверь к нам и, просунув в щель голову, скажет как будто сердито: "Иди!" — с сильным ударением на последнем

"и".

Утром говорили мало, так же и в обед, так как я сидел за столом один. Раз я поинтересовался, ходят ли за реку за грибами, или берут на этой стороне.

- Везде ходят, да я теперь не хожу - реку перебрехать надо. Как перебредешь - в прошлый раз воду в сапоги набрала.

Я вспомнил чистую воду и мелкие камни ближней к деревне излучины и подумал: неужели для пожилых и это - проблема? Накануне я наметил отправиться в это утро за реку и попросил у нее корзинку. Пройдя ближний лесок и спустившись к речке, стал переходить ее в сапогах /хотя день был солнечный, и я всегда купался в этой воде, раздеваться и потом сушиться на том берегу не захотел/. Действительно, на самой быстрине пришлось выбирать каждый шаг. На том берегу прошел на солнце несколько сот метров вглубь леса, и грибы стали попадаться: были даже белые грузди, росшие по 3-4 штуки на одном месте. Часов в 12 вернулся домой, поставил корзину на крыльце хозяйской половины /крыльца было два - одно наше/ и ушел к студентам - они еще работали. Через час вернулся с ними и увидел на крыльце красивую черноволосую женщину лет 25, оказавшуюся дочерью хозяев, приехавшую на несколько дней в гости из Тихвина. Она довольно сурово обошлась с моими грибами, которые чистила: на траве валялось несколько желтых /лиловеющих/ груздей, виноватых только в том, что они немного "изрослись". Тут же бегала ее пятилетняя Наташа.

У хозяев в деревне была еще дочь, старше приехавшей года на два; она работала в деревенском медпункте. Муж ее, побывавший на воинской службе в Германии, работал дежурным на маленькой электрической подстанции за ручьем, там же стоял их ведомственный дом. Как я понял, эта семья была причиной постоянных волнений моих хозяев.

- Ведь работа у него, смотри! - позвонить по телефону, если

Воскресенье

нет электричества, - объяснял мне Степан Павлович. - И дом, и все, а он - ах он

- Ведь что выкинул недавно! - вмешалась Анна Александровна. - Уехал в командировку в Бабушкин /райцентр/, вдруг у их дома садится вертолет, и летчик ей: собирай вещи, полетим; муж, мол, прислал, нашел новую работу!

По их рассказам, он часто ходил на охоту, и его пяти-шестилетние сыновья Толя и Саша /"только что не ночуют у нас", как сказала Анна Александровна; впрочем, несколько раз при мне они и ночевали/ часто мне сообщали:

-- -А папа вчера принес рябку.

Оба они были широколобые, здоровые и несколько стеснительные и угрюмые, часто при мне тихо ссорились и начинали потасовку с ревом. Я раз дал им принесенные с реки кремешки и показал, что при ударе их друг о друга виден огонек, так они несколько дней этим занимались и, видя меня, протягивали два камня, не удовлетворяясь своими ударами. Новая работа, которую находил зять, всегда была связана с переездом в другое место, с разъездами, с техникой. Судя по разговорам, его знали в райкоме и считали "перспективным".

Копали вчетвером хозяйскую картошку. Степан Павлович вел свой рядок, сидя на земле, а мы отдельно. Хозяйка очень ловко разводила для внуков костер, пекли картошку. Мойй помощью, конечно, были довольны, я слышал поощрительные реплики вроде: "бог да добрые люди", "он, вишь, по-нашему копает" и т.п. Закончили за три дня, всего вошло больше 40 мешков, из них большую часть зарыли в яму, бывшую тут же на участке. Старшая дочь показывалась на поле несколько раз, была она в модных туфлях и к картошке так и не притронулась. Удивительно, насколько они были разные: почти ровесницы, обе окончили Вологодское медучилище, но младшая была гораздо умней /да и в школе она была от-

личницей/ и серьезней.

В очередную субботу хозяева топили баню /я вымылся раньше со студентами в колхозной бане/. Мылись все, взрослые и дети. Вечером, получив приглашение на ужин, я застал за столом большое общество, и зять, предлагая мне выпить, сказал: "Все мы русские люди." Пить я не стал, но сидел за столом больше часа.

Вскоре Наташа с матерью уехали в Тихвин.

Во второй половине месяца хозяйка стала по вечерам варить картошку. Кормила она меня хорошо /супы всегда с мясом, творог, каша, даже были блины и оладьи, соленые грибы двух-трех сортов и другое/, но вечернюю картошку я ждал с особым удовольствием. Стояли заморозки с 16-го сентября, даже выпал тонкий слой снега, и было очень приятно, пройдя в темноте по холоду от крыльца к крыльцу, войти в теплую кухню, где уже был собран стол, а недалеко от стола стояла кирпичная печка-подтопок, соединенная у потолка длинной круглой железной трубой с русской печью. Степан Павлович, сидя за столом, ощупывал печку ладонью и говорил: "Хорошо натоплено". Картошка дымилась на блюде, тут же были и грибы, и буханки две-три черного и белого хлеба, и уже готовый чай. /Хозяйка всегда, даже угощая меня одного, подавала хлеб нерезанным - буханку и нож/. И начинались разговоры. Темы их были самые разные.

- Куда ты, Владимир, деньги деваешь, - говорил Степан Павлович, заведя речь о моей зарплате. Хозяйка с интересом слушала.

- Как куда? - уходят. Домой вот часто езжу.

- Ну-у, домой, - резонно возражал он. - Копишь, наверное. Смотри, не отобьешься.

Спрашивали, почему я не женился. Кажется, были удовлетворены моим шутливым ответом, что, мол, некогда было, двадцать

лет учился, и хрзяйка даже сказала, что приезжал к ним в деревню другой преподаватель, тоже холостой, так и впрямь - когда ему было жениться? столько, как он сказал, учился. Но, по моему, до конца так и не поверили, что я не женат. Очень уж подробно в спросили меня о телеграмме, посланной 19 сентября ко дню рождения /оказалось, что почтальон - подружка хозяйки, и они тотчас были проинформированы/.

Но такие разговоры были редки. Чаше же говорили без всякого направления, обо всем, как в своей семье.

- Знаешь станцию под Вологдой? /хозяин ее назвал/. Так ее /жену/ вместе с другими бабами гоняли туда, за двести верст - пешком, зимой! В войну было, мобилизовали на работы.

- Шли-то семь дней, милиционеры вели, а в деревнях-то на ночлег не пускают! А лапти-то мокрые, ну уж...! А в Вологде на вокзале одних бросили, милиционеры-то - вишь, потом узнали - наши карточки украли и бросили нас. Ну, мне все обратно! Да, поверишь ли, за три дня домой вернулись!

- А через несколько дней - их опять, - говорит Степан Павлович.

В другой раз он спросил:

- Далеко ли по реке-то ходил?

Я ответил.

- Ну, ты тогда "белую глину" видел, она тут сразу вправо, как к реке выйдешь.

Оказалось, что я ее пропустил, срезав одну излучину по коровьей тропе, а нужно было идти по самому обрыву.

- Это место так и зовут, "белая глина". И брали раньше эту глину. А ручей видел? Нет, не который по деревне течет, а из лесу - сразу в реку? Так там мельница была. Да, где в реку впадает, там и была.

Он подробно рассказывал о грибах и спросил, как я шел к

Груздям.

- Да, да, есть там изгородь гнилая, прямо в лесу, - закивал. - А дорогу видел? По ней еще раньше лес возили? Я туда дочерей водил, когда в школе учились. Сяду на дороге и кричу им, а они в это время в лесу берут ягоды. Чтобы не страшно было им. -

- А летом много у вас приезжих? Все ягоды есть, и самолет летает.

- Ездят. И за рыбой, и за грибами. А что места, так есть и лучше, недалеко совсем. Не был в Пустоши? А старая дорога - где отворотка в Юркино? - там мы всегда косили, вот только в этом году дали в другом месте. А она /кивнул на жену/ родилась в другой деревне, в Бачериках; там места... Недалеко отсюда, километра четыре, но там сейчас ничего нет, косят только. Что там? - высокое место, деревья...

- Побывал бы там, - говорит хозяйка, - так бы и сказал: ну, больше ничего не надо!

Стараясь запомнить. Да разве все обойдешь!

- Кто это у них в избе сегодня был? - спрашивает Степан Павлович.

- Да Леня, - отвечает она, произнося "ё" как "е". - Гитару брал у этого - который у вас постарше остальных, из армии, что ли? - пробовал играть.

Леня - Леонид Петрович, мужик лет сорока пяти, ездил с пятеркой студентов валить лес. Он был немного балагур, и когда все, включая и меня /я на это время бросал бруснику и подходил к ним/, кидали обработанные бревна на тракторные сани, он всегда произносил необходимое заклинание. Помню, я навестил эту "лесную" бригаду, когда они чинили мостик через ручей по дороге в Юркино. Бревна уже были привезены накануне, и теперь их "око-

ривали" перед укладкой в настил. Я тоже обтесал полбревна его топором /топоры у таких людей всегда как бритва/, пока он разговаривал с проходившим мужиком. Захотев пить, Леонид Петрович снял кепку, нагнулся прямо с мостика и, разогнав медленно пльвшие по воде желтые листья, зачерпнул. Я подумал: вот, вырос человек здесь, верит в чистоту этого ручья с детства /ручей, действительно, был чистый/, даже не размышляет, а я уже так не могу, даже из их реки пьешь и думаешь... А ведь в студенческие годы /тоже, помню, шил как-то из кепки во время летних работ и совсем не понял замечания своего товарища о том, что она "пропотела" /мы с ним перед этим спорили по другому поводу, и я подумал, что он мне просто хочет досадить/. Вспоминаю, как эффектно, "ладно" выглядел этот мужик на лесной делянке в армейской шапке и короткой бубайке, ширрой в плечах и туго перехваченной у самых пол широким ремнем со звездой. Смотрел он всегда весело и как-то насмешливо.

- Ты бы послушал, - говорит хозяйка, - как он на балалайке играет! Ну, заслушаешься. А молодой он какой был веселый! А на гитаре не умеет.

- С нами ездит в лес иногда еще один, Николай Сергеевич. Тоже нравится мне.

- А, ну - этот такой: если сказал..... - заметил Степан Павлович.

- Да, - говорит хозяйка. - А это - Леня был. Леня, Леня, на гитаре-то не умеет играть.

Я просиживал на этих вечерах часа по три. Все было спокойно, внуки провожены домой, дела переделаны. Ярko светила лампочка в теплой кухне, ставни окна были плотно закрыты снаружи.

Но было у меня тогда, и сейчас при воспоминании появляется, наряду с хорошим, какое-то неприятно-тревожное чувство. Я опять

сталкивался с "укладом", который безвозвратно ушел уже давно, о котором сожалел еще Успенский. Да, прав он был, возражая тем, кто спрашивал: какой смысл в крестьянской жизни, изза чего "бьется" крестьянин над своей сохой, если проходят поколения, а все остается по-старому? Но разве плохо, что для каждого нового человека повторяется полнота и гармония этой жизни? Нет, сейчас нужен "прогресс", непременно, хотя от него почти никто не выигрывает, хотя он создает то, что называется "экологической проблемой". А разве окрестности старых деревень загрязнялись, даже за сотни лет? Невольно думаешь, не правы ли были средневековые европейские монахи, безуспешно пытаясь сжечь всех ученых еретиков.

Я, помню, предложил приехавшей дочери хозяев помочь нанести воды для бани. "Нет, это только для дома, — ответила она, — а в баню мы берем из лывы, там мягкая." Наотрез отказалась, и мне вдруг представилось все множество известных ей с детства семейных привычек и обычаев этого дома и двора со всеми его заборчиками, загонами и клетушками. Но слишком хорошо знаем мы примеры угасания и запустения таких гнезд, когда постепенно, из года в год, уменьшается число фыркающих, жующих, бьющих копытом о настил, сверкающих в полутьме глазами обитателей двора, когда уже не видно в скобленных добела досок пола в сенях и в предбаннике, а стареющие хозяева уже не обращают внимания на то, что кучки разного барахла и сора появляются там, где их никогда раньше не было. И вот уже крытый двор пустой и выглядит, особенно ночью, грязным, жутким и бессмысленным, а жизнь едва теплится только в избе.

МНОГОГОЛОСИЕ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

Жизнь можно унижить, искалечить, исказить, в конце концов отнять, но пока она есть, даже в самом последнем углу, на исчезающе малом пространстве последней свободы, она полна собой: своей мыслью, любовью, надеждой, своей единственностью, своим цветом.

И.А. Дедков

Русская общественная мысль, о которой иногда говорят почему-то в прошедшем времени, не отошла в прошлое. На деле это живой непре-секающийся процесс, выдвигающий вперед всё новые идеи и фигуры. Общественную мысль в России невозможно подменить партийными программами или популярными нынче “технологиями”, имеющими дело с обезличенными массами людей. Она традиционно обращена к человеку, его внутреннему миру, возможностям его самосовершенствования и связывает воедино вещи, казалось бы, несоединимые: политику и нравственность, быт и эстетику, экономику и народные идеалы.

На огромных просторах России течёт своя жизнь, далёкая от столичной, идёт напряжённая и вполне оригинальная мыслительная и творческая работа. Об этой работе мало что известно. Важно знать историю идей, произраставших на отечественной почве. Но не менее важно знать, над какими «проклятыми вопросами» бьются сегодняшние наследники русской общественной мысли, наши с вами современники. Видеть их лица.

ИМЕННО ЭТОМУ СЛУЖИТ НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ «ПИСЬМА ИЗ РОССИИ».

Ещё одна задача журнала – положить начало литературной летописи народной жизни последнего двадцатилетия, времени радикальных переворотов и катастрофических сломов, горестными масштабами сравнимых только с революционными десятилетиями начала XX века. С каждым днём уходят подробности. Важно зафиксировать жизнь в её сегодняшней и недавней подлинности, не пропустив ни одну человеческую трагедию.

ПО ЗАЯВКАМ БИБЛИОТЕК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

(Доставка – за счет получателя.)

Шлите нам статьи, очерки или эссе, стихи, рассказы, повести, просто письма. Наиболее интересные произведения и мысли появятся на страницах очередного номера.

Рассматриваются произведения любых жанров объёмом не более 4 авторских листов (1 авт. л. = 40 тыс. знаков). Рукопись должна быть набрана на компьютере и прислана по электронной почте (sayakovlev@yandex.ru). Принимаются иллюстрации (рисунки, графика) и документы, представляющие художественную ценность либо имеющие общественное значение.

**ДОСТОИНСТВО РОССИИ, ОСМЫСЛЕННОСТЬ РУССКОЙ ЖИЗНИ –
ДЕЛО ВАШИХ УМОВ И ТАЛАНТОВ!**

